АНДРЕЙ

ПЛАТОНОВ

Город Градов
и другие повести



РУССКАЯ КЛАССИКА

Город Градов и другие повести
Андрей Платонович Платонов

Аннотация
Андрей Платонов. Город Градов и другие повести
Город Градов
Епифанские шлюзы
Ямская слобода
Впрок. (Бедняцкая хроника)
Счастливая Москва
Фро
Такыр
Возвращение
Одухотворенные люди. Рассказ о небольшом сражении под Севастополем
Неодушевленный враг
Афродита

Аннотация

Советский управленец Иван Федорович Шмаков отправляется в губернский город Градов в пятистах верстах от Москвы, чтобы «врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом», но погрязший в бессмысленном бюрократизме местный чиновничий аппарат не горит желанием что-либо менять.

В данное издание вошли также и другие произведения автора, в том числе незаконченный роман «Счастливая Москва», известные повести «Впрок» и «Епифанские шлюзы», а также шедевры военной прозы – рассказы «Возвращение», «Одухотворенные люди» и «Неодушевленный враг».

Андрей Платонов
Город Градов и другие повести

Серия «Русская классика»



© ООО «Издательство АСТ», 2026

Город Градов

Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.
Ив. Шаронов, писатель конца XIX века

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, — все эти князья Енгалычевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древлевотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий — ветхопещерник, Петр — женоненавистник и Прохор — византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой

и две лежащие старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые — все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое — пока им должностей не выходило — занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год — на Троицу, в Николин день и на Крещенье — между

городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: всё будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он, город, и есть! — ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки.

На доме том висит вывеска:

«Градовский уисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов, — говорил председатель Градовского губисполкома, — а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление,

укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным, — чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехни-

ческие работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестливостью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел укромкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крыльями, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика:

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек, — говорил старик, — мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет — когда его русский к себе в гости позовет. Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот прихо-

дит в хату…

— К русскому?

— К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» — спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду», — говорит русский. «Почет, значит?» — «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей», — говорит. Мордвин ухватился, думал — влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя», — говорит. «Пей, — говорит русский, — не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный, — пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь, — говорит, — угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» — спрашивает мордвина жена. «Хорошо, — говорит мордвин, — спасибо, что вода была, а от водки я бы помер — три ведра выпил…»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвен-

ное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему! — говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников. — Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла — очень просто…

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист, — робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал, — ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень. — Все равно — что печка, что солнце…

— И на лежанке можно? — хитрил неизвест-

ный человек.

— Ясно, можно! — подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист, — хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню, — правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело! — дал свое заключение о Днепрострое козловский человек. — Только воду в Днепре не удержать!

— Это почему ж такое? — вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

— А потому, — сказал он, — что вода — дело тяжкое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! — подумал Шмаков. — У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачественности жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными

тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — Газета им требовалась на цигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клок дорог.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор. — Насорили, идолы, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение», — подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океа-

на, — никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

3

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел вырабатывать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», — написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», — подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч — ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородним человеком; хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это

новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

— Гады! — заорал кто-то у окна. — Испотрошу всяку сволочь, всяку баптистскую ересь...

И вдруг голос смилостивился и зазвучал милосердно:

— Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колоту-

шечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе предуика и исправника. Затем он подумал о

воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии, — думал Шмаков, — это природа. Всегда в ней что-нибудь случается…

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!

Не согласятся, — вздохнул Шмаков, — беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим — и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая беспланова логика, в толчее

и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послу-

шав старуху. — Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некоей Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов Поценского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, — читал в деле Шмаков, — по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую

докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушка, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попалось заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предположено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов, — обратился Шмаков, — у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять

два раза в месяц оказиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов, — повторил Иван Федотыч, — у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом…

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в ремесленную управу, — сказал Бормотов человеку. — Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня, — сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам. — Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч! — ответила Соня. — Это операционный план? Ах нет, не переписала!

— Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то — переписала!

— Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть

оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там! — ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? — Хорошо! Прочно? — Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, и не чаще! Что теперь мне скажешь? — Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем — неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то

комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну почему песок? — пытал его тощий.

— А потому, что сыплется, — резонно говорил тот, что поспокойнее. — Потому, что мукой пылит. Ты дунь!

Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил утлый человек.

— Что — ну? — сказал плотный. — Сыплется, — значит, песок!

— А ты плюнь, — догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий. — Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

— Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику управления — «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как

узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо — профсоюз не позволит самодурствовать.

— А чего ж они будут делать? — спросил Шмаков, — им дела у нас нет!

— А пускай копаются, — сказал профсоюзник, — дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

— А зачем их листовать? — допытывался Шмаков.

— А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! — пояснил профработник.

— Верно ведь! — согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

— Эх ты, жамка! — сказал впоследствии Шмакову его начальник, — профтрепача послушал, — ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

— Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук — градовского производства.

Под названием «Красный Инок», — вот на мундштучке значится — инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и пошептал вопрос:

— Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Нюжли верно?

— Нет, Гаврил Гаврилович, — успокоил его Шмаков, — должно быть, меньше. Маца не питательна — еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказанье ест.

— Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

— Кто не верит?

— Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч — никто не верит!

4

А меж тем сквозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они

чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке, — эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неудостоверенном мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца — в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода — был уже декабрь — и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советитизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благонравен, — что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

«А все-таки он не спит, — с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч, — значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!»

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел

первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

— Марфуша, — обратился он к Жамовой, — ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

— Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы проходите — я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

— Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! — И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости.

Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе — гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома — и в голове говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать

циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало — не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова.

— Город не пролетарский, — говорят, — на черт он нам сдался!

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

— Не республика мне была нужна, — объяснял Бормотов, — я не нацменьшой, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в

родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что-то, что течет, потечет-потечет и — остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не желали, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане, — сказал счетовод Смачнев, — я откровенно скажу, что одно у меня угощенье — водка!.. Ничто меня не берет — ни музыка, ни пение, ни вера, — а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет… Ничего духовного я не признаю, то — буржуазный обман…

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в об-

щем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправления. Одних управделами ГИКа при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений, — как их личных секретарей, председателей, — целых тридцать штук прошло… Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает… Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий всё автомобили покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того — ремесленная управа, то есть

губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался — иначе и быть не могло! Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

— А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

— Ваня! — обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой. — Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется… Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь — это архиерей, а губком — епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание — ко всенощной — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будет, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату — РКИ,

скажем, или казначейство — губфо наше — на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А кто всякие карточки, НОТы и прочую антисанитарию истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

— Без Бормотова, друзья, — сказал Степан Ермилович со слезами на глазах, — не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи.

Бормотов умиленно подождал и закончил веско:

— Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, в круговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песню о диком кургане. Счетоводство — нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы, какой — никто не понял. Десущий славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рванников. — Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормотов — слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии! И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет

рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

— Граждане советские служащие! — проревел в заключение Рванников. — Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал — этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолюбие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека»:

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказало коллективно собрание. — Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане, — обнаглел Шмаков, — сейчас

идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы Советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью… Кроме того… — (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась — куда что девалось?) — Кроме того, дорогие соратники…

— Мы не ратники, — прогудел кто-то, — мы рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил лозунг Шмаков. — Я вам сейчас открою тайну нашего века!

— Ну-ну! — одобрило собрание. — Открой его, черта!

— А вот сейчас, — обрадовался Шмаков. — Кто мы такие? Мы за-ме-ст-и-те-л-и пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ

есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его зало; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП; но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1:8.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то. — Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом. Налицо — наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком — епархия, что губпрофсовет — ремесленная управа и так далее. Что это такое? Это перегиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым

предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. — Закон-с! Уничтожьте бюрократизм — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ? — мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушка».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев? — спросил Бормотов. — Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? — обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в земуправлении.

— Нет, Степан Ермилыч, — я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала, — ответила хмельная, блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев, — мудро и спокойно улыбнулся Бормотов. — Нет документа, и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гепею или рекаю!

Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых, а во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной, — попытаю я вас? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет… Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием… Десущий, крякни что-нибудь подушевней.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать,

насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

5

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлебы.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои беспрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый. В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета — кандидат

Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд. — отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня…»

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора, — штраф, см. постановление ГИК».

«Собрание жилтоварищества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена, — в случае чего стать как один под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота — открыто заявить столоначальнику, что иду ко всенощной, в Бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства — осталось 2 дня».

Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается — она заменилась государственной и общеполезной деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с двадцать штук мясохладобоен и пятнадцать фабрик валяной обуви… А сверх того водяной канал в земле до Каспийского моря рыть

будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

— Вон оно как! — дал заключение Шмаков. — Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество, — сообщил Чалый второстепенным тоном. — Того не менее, как миллиарда три, сиречь — по триста миллионов в год.

— Ого, — сказал Шмаков, — сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

— Главное — план! — ответил Чалый. — А уж по плану деньги дадут…

— Это верно! — согласился Шмаков.

Вопрос получил надлежащее уточнение.

6

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни — «Записки государственного человека» — подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по Республике, над Градовом но-

чью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«…Стоит ли, — читал он середину, — измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы «Ройяль», то есть король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прок? — Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит, — глядь, время уже истекло, и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища

и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение…

Да и то видно, как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался.

Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в

сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пищит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«…Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что, значит, дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов…»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

«Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?»

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро.

В Градове топились печки, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

7

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет… На собранья я не хожу и ничего не член!

— Ну, будя, будя тебе, Захарий, — говорила ему жена. — Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже, член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обуже восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут… Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут… Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

— А по мне, — говорит Захар, — бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное, — говорит Захар. —

Да уж дюже землю назлили, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь, — опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого — плетень, а житель — курица.

8

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампред губплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала,

начав его в лопухах слободы Моршевки из усадьбы гражданина Моева.

Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

— Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то — почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспримерная война служащих. Соседние города — претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раздоказал свою мысль Бормотов товари-

щу Сысоеву, председателю ГИК. Тот подумал и сказал:

— Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо тоже! — и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии[1].

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

---

[1] Примечания: 1

Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим — неинтересно.

Наконец, через три года после начала областной войны, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло, — только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим — тем са-

мым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

Епифанские шлюзы

М. А. Кашиниевой

1

«Сколь разумны чудеса натуры, дорогой брат мой Бертран! Сколь обильна сокровенность пространств, то непостижно даже самому могучему разумению и нечувственно самому благородному сердцу! Зришь ли ты, хотя бы умозрительно, местожительство своего брата в глубине Азийского континента? Ведомо мне, того ты не умопостигаешь. Ведомо мне, что твои взоры очарованы многошумной Еуропой и многолюдством родного моего Ньюкестля, где мореплавателей всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору.

Тем усерднее средоточится скорбь во мне по родине, тем явственней свербит во мне тоска пустынножительства.

Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах, но дики и мрачны в невежестве своем. Уста мои срослись от безмолвия просвещенной речи. Токмо условные сигналы

десятским я подаю на сооружениях своих, а они команду рабочим громко говорят.

Натура в сих местах обильна: корабельные леса все реки в уют одели, да и равнины почитай ими сплошь укрыты. Алчный зверь наравне с человеком себе жизнь промышляет, и сельские россы великое беспокойство от них держат.

Однако зерна и говядины здесь вдосталь, и обильное питание утучнение мне учинило, несмотря на мою душевную скорбь об Ньюкестле.

Это письмо не столь подробно, как предыдущее. Купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, уже починили свои корабли и готовятся к отлучке. С ними я и посылаю эту графическую посылку, дабы она скорее достала Ньюкестля. А негоцианты спешат, ибо Танаид[2] может усохнуть и тогда не поднимет грузные корабли. А просьба моя невелика, и тебя с такого дела станет.

Царь Петер весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране: потаенно обильностью, но дико лесной и зверной очевидностью.

---

[2] Примечания: 2
Дон.

Однако к иноземным корабельщикам он целокупно благосклонен и яростен на щедрость им.

На устье реки Воронеж построен мной двухкамерный шлюз с перемычкой, что дало помогу починкам кораблей на суше, не причиняя им большой ломки. Устроил я также большую перемычку и шлюз с воротами, придав ему размеры, достаточные для пропуска воды. Потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли так, что их можно бы запирать во всякое время в пространстве, огражденном перемычкою, и спускать из него воду, когда корабли войдут в него.

И в той работе прошло шестнадцать месяцев. А с тем пришла другая работа. Царь Петер остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз, выше, дабы сделать реку Воронеж судоходною до самого города для кораблей в восемьдесят пушек. И эту тягость я снес в десять месяцев, и ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит. Хотя и слаб грунт в месте шлюза и били могучие ключи. Немецкие помпы стали слабосильны от ключей, и шесть недель стояла работа от обильности тех ключей. Тогда мы изготовили машину, коя двенадцать бочек воды в минуту истребляла и работала без

утиха восемь месяцев, и тогда мы посуху в глубь котлована пошли.

После столь понудных трудов Петер поцеловал меня и вручил тысячу рублей серебром, что немаловажные деньги. Еще сказал мне царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше.

А сурьезность моей мысли в том, что я хочу тебя, любимый мой Бертран, позвать в Россию. Здесь весьма к инженерам щедры, а Петер большой затейщик на инженерные дела. Самолично я услышал от него, что есть нужда в устройстве канала меж Доном и Окою, могучими туземными реками.

Царь желает создать сплошной водный тракт меж Балтикой и Черным и Каспийским морями, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в Средиземные царства и в Еуропу. Сие зело задумано царем. А догадку к тому подает торговля и купецкое сословие, кое все почитай промышляет в Москве и смежных городах; да и богатства страны расположение имеют в глубине континента, откель нету выхода, кроме как сплотить каналами великие реки и плавать по ним сплошь от персов до Санкт-Петербурга и от Афин до Москвы, а также под Урал, на Ладогу,

в калмыцкие степи и далее.

Но туго царю Петеру надобны инженеры для столького дела. Ведь канал меж Доном и Окой немалое дело, и тут потребно усердие большое и пуще знание.

Вот я и обещал Петеру-царю, что позову из Ньюкестля брата Бертрана, а сам устал, да и невесту я люблю и соскучился. Четыре года в дикарях живу, и сердце ссохлось, и разум тухнет.

Напиши против сего писания твое решение по такому случаю, а я даю тебе совет, чтоб ехать. Трудно тебе будет, но через пять лет поедешь в Ньюкестль в избытке и кончишь жизнь на родине в покое и достатке. Для сего не скорбно потрудиться.

Передай мою любовь и тоску невесте моей Анне, а через малую длительность я вернусь. Скажи ей, что я уже питаюсь только кровоточием своего сердца по ней, и пускай она дождется меня. А затем прощай меня и глянь ласково на милое море, на веселый Ньюкестль и на всю родимую Англию.

Твой брат и друг, инженер Вильям Перри, 1708 лета,

осьмого аугуста».

2

Весною 1709 года в первую навигацию в Санкт-Петербург приплыл Бертран Перри.

Путешествие из Ньюкестля он совершил на старом судне «Мери», много раз видавшем и австралийские и южноафриканские порты.

Капитан Сутерлэнд пожал Перри руку и пожелал доброго пути в страшную страну и скорого возвращения к родному очагу. Бертран его поблагодарил и ступил на землю — в чуждый город, в обширную страну, где его ожидала трудная работа, одиночество и, быть может, ранняя гибель.

Бертрану шел тридцать четвертый год, но угрюмое, скорбное лицо и седые виски делали его сорокапятилетним.

В порту Бертрана встретили посол русского государя и резидент[3] английского короля.

Сказав друг другу скучные слова, они расстались: государев посланец пошел домой есть гречневую кашу, английский резидент — к себе в бюро, а Бертран — в отведенный ему покой близ морского цейхгауза.

В покоях было чисто, пусто, укромно, но тоск-

---

[3] Примечания: 3
Консул.

ливо от тишины и уютности. В венецианское окно бился пустынный морской ветер, и прохлада от окна еще пуще говорила Бертрану об одиночестве.

На прочном и низком столе лежал пакет за печатями.

Бертран вскрыл его и прочитал:

«По повелению государя и самодержца всероссийского, Наук-Коллегия любезно просит аглицкого морского инженера Бертрана Рамсея Перри пожаловать в Наук-Коллегию — в водно-канальное установление, что по Обводному прошпекту помещение особое имеет.

Государь имеет самоличное наблюдение за движением прожекта по коммутации рек Дона с Окою — через Иван-озеро, реку Шать и реку Упу — посему надлежит в прожекторском труде поспешать.

А с тем и Вам следовает быть в Наук-Коллегии наспех, однако допустив себе отдых после морского перехода, сколь с чувствами и всей телесной физикой мирно станется.

По приказу Президента

Главный Уставщик и Юриспрудент Наук-Коллегии —

Генрих Вортман».

Бертран лег с письмом на широкий немецкий диван и нечаянно заснул.

Проснулся он от бури, тревожно гремевшей в окне. На улице, в мраке и безлюдье, беспокойно падал влажный густой снег. Бертран зажег лампу и сел к столу насупротив жуткого окна. Но делать было нечего, и он задумался.

Прошло длинное время, и земля давно встретила медленную ночь. Иногда Бертран забывался и, резко оборачиваясь, ожидал встретить родную комнату в Ньюкестле, а за окном — ландшафт теплой, людной гавани и смутную полоску Европы на горизонте.

Но ветер, ночь и снег на улице, молчание и прохлада в покоях указывали Бертрану на иную широту положения его жилища.

И то, от чего он так долго отнекивался в своем сознании, вмиг застлало его фантазию.

Мери Карборунд, его двадцатилетняя невеста, сейчас, наверно, ходит по зеленым улицам Ньюкестля и носит в своей блузе сиреневую ветку. Быть может, другой ее водит под руку и шепчет убедительно про лживую любовь — то останется Бертрану навеки неизвестным. Он две недели плыл сюда, а что случиться может в этот срок в фантастическом, безумном сердце Мери?

И разве может женщина ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к невидимому образу? Едва ли так. Тогда давно весь мир уже был бы благороден.

А ежели б в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть на луну!

Бертран насыпал трубку индийским табаком.

«Однако Мери была права! На что ей нужен муж-негоциант или простой моряк? Она любезна мне и умница большая…»

Мысли Бертрана шли стремительно, но чередуясь и соблюдая ясный такт.

«Неукоснимо ты права, маленькая Мери… Я помню даже то, как ты травою пахла. Я помню, ты сказала: мне нужен муж, как странник Искандер, как мчащийся Тамерлан или неукротимый Аттила. А если и моряк, то как Америго Веспуччи… Ты знаешь много и мудрица, Мери!.. Ты истинно права: если муж тебе дороже жизни, то пускай он будет интересней и редкостней ее! Иначе ты заскучаешь, и несчастие тебя погубит».

Бертран неистово сплюнул табачную жвачку и сказал:

— Да, Мери, слишком ты остра на ранний разум! И я, пожалуй, сам такой жены не стою. Зато как хорошо ласкать такую резвую головку! То

мне отрада, что под косой жены живет горячий мозг!.. Но еще посмотрим!.. Затем я и приехал в сию грустнейшую Пальмиру! Послание Вильяма не причастно к такой судьбе, но оно сердечному решенью помогло…

Бертран окоченел и стал собираться спать. Пока он воображал Мери и умственно беседовал с ней, над Санкт-Петербургом успела рассвирепеть вьюга, и, окорачиваясь у зданий, она студила покои.

Завернувшись в одеяло, укрывшись сверху морской шинелью из чертового вечного сукна, Бертран дремал, и тонкая живая печаль, не переставая, не слушаясь разума, струилась по всему его сухому сильному телу.

На улице раздался странный резкий звук, будто корабль треснул по всей обшивке от удара льда; Бертран открыл глаза, прислушался, но мысль его отвлеклась от страдания, и он уснул, не опомнившись.

3

На другой день в Наук-Коллегии Бертран знакомился с замыслом Петра. Прожект был только начат.

Задание царя сводилось к тому, чтобы создать сплошной судовой ход меж Доном и Окою, а

через то — всего придонского края с Москвою и волжскими провинциями. Для сего требовалось произвести большие шлюзовые и канальные работы, к прожектерству которых и был призван Бертран из Британии.

Следующая неделя ушла у Бертрана на знакомство с изыскательскими документами, по которым следовало прожектировать работы. Документы оказались добропорядочными и составлены знающими людьми: французским инженером генерал-майором Трузсоном и польским техником капитаном Цицкевским.

Бертран был доволен, ибо добрые изыскания делали способным скорое начатие строительных работ. Тайная дума Бертрана хоронилась в том предмете, что он очаровался Петром, еще будучи в Ньюкестле, и хотел стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны. А тогда бы и Мери восхотела его мужем своим иметь.

Искандер завоевывал, Веспуччи открывал, а теперь наступил век построек — окровавленного воина и усталого путешественника сменил умный инженер.

Трудился Бертран тяжко, но счастливо — горе его разлуки с невестой в работе припотухало.

Жил он в тех же покоях; адмиралтейских и штатских ассамблей не посещал и знакомств с дамами и их мужьями чуждался, хотя некоторые светские женщины и искали сообщества с одиноким англичанином. Бертран вел работу, как корабль, — осторожно, здравомысленно и скоро, избегая феоретических мелей и перекатов в своих планшетах.

К началу июля прожект был исполнен и планы начисто переписаны. Все документы были доложены царю, который их одобрил, а Бертрану приказал выдать награду в тысячу пятьсот рублей серебром и впредь жалованье учредить по тысяче рублей в каждый месяц и назначить главным мастером и строителем всех шлюзов и каналов, что Дон с Окой соединить должны.

В тот же час Петр отдал приказы наместникам и воеводам, по провинциям которых шлюзы и каналы строиться будут, дабы они оказали полное воспособление главному инженеру — всем, чего он ни потребует. Бертрану же были даны права генерала, и соподчинение он имел только царю и главнокомандующему.

После официальной беседы Петр встал и имел к Бертрану речь:

— Мастер Перри! Я знаю твоего брата Вильяма,

тот завидный речной корабельщик и на славу водяную силу братать может искусными устройствами. А тебе, не в пример ему, поручается зело умный труд, коим мы навеки удумали главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с Древлеазийскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой, поелику возможно, обручить. Да и самим через ту всесветную торговлишку малость попитаться, а на иноземном мастерстве руку народа набить.

Через то я поручаю тебе к работам приступить немедля — судовому ходу тому быть!

А что сопротивленье тебе будут чинить, про то доноси мне гонцами — на живую и скорую расправу. Вот моя рука — тебе порука! Держи начало крепко, труд веди мудро — благодарить я могу, умею и сечь нерадетелей государева добра и супротивщиков царской воли!

Тут Петр с быстротой, незаконной в его массивном теле, подошел к Бертрану и тряхнул его руку.

Затем Петр повернулся и ушел в свои покои, прохаркиваясь и тяжко дыша на ходу.

Речь царя Бертрану перевели, и она ему понравилась.

Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях: построить тридцать три шлюза из дикого и известкового камня; прорыть соединительный канал от деревни Любовки на реке Шати до деревни Бобриков на Дону длиною двадцать три версты; реку Дон прочистить и углубить для судового хода от деревни Бобриков по деревни Гай, по длине в сто десять верст; кроме того, Иван-озеро, откуда Дон течет, а также весь канал — валом и земляными дамбами окружить и заулючить.

Всего, стало быть, требовалось устроить двести двадцать пять верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся стадесятиверстным каналом в Дон. Ширину каналу следовало придать двенадцать сажен, а глубину — два аршина.

Строительное управление предусматривалось Бертраном в городе Епифани, в Тульской провинции, ибо в том городе сходилась середина будущих работ.

Вместе с Бертраном должны были ехать еще пять немецких инженеров и десять писцов из Административного приказа.

День отбытия пал на 18 июля. В тот день к деся-

ти часам утра к покоям Бертрана должны подать дорожные кареты для следования в глухой и терпеливый путь, держа маршрут на неприметный пункт — Епифань.

4

Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует.

Собравшись для изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись зарядиться пищей на сутки.

И действительно, животы они набили круто, готовясь для долгого созерцания тогдашних немощных русских пространств.

Уже Перри в дорожный рундучок пачки с табаком укладывал — последнее дело его перед всякой дорогой. Уже немцы письма своим семьям кончали, и младший из них, Карл Берген, вдруг разрыдался от жмущей сердце, неудержимой тоски по молодой, любимой еще жене.

И тут затряслась дверь от резкого стука казенной руки: так мог стучать посланный либо арестовать, либо известить о милости бешеного царя.

Но то был гонец из Почт-приказа.

Он попросил указать ему Бертрана Перри, аглицкого капитан-инженера. И пять немецких

рук, в родинках и веснушках, указали ему на англичанина.

Гонец нелепо выбросил вперед ногу и почтительно подал Перри некий пакет за пятью печатями.

— Сударь, соизвольте приять посыл из аглицкой державы!

Перри отошел от немцев к окну и вскрыл пакет:

«Ньюкестль, июня 28.

Мой славный Бертран! Ты не ждешь этой вести. Мне трудно тебя огорчать; наверно, любовь к тебе меня еще не оставила. Но уже новое чувство жжет меня. И жалкий разум мой напряжен, чтобы поймать твой милый образ, который так скорбно обожало мое сердце.

Но ты наивен и жесток — ради наживы золота ты уплыл в дальнюю землю; ради дикой славы ты погубил мою любовь и мою ждущую нежности молодость. Я женщина, я слаба без тебя, как веточка, и отдала свою жизнь другому.

Ты помнишь ли, мой славный Берт, Томаса Рейса? Вот он стал моим мужем. Ты огорчен, но признайся, что он очень славный и такой преданный мне! Некогда я отказала ему и предпочла тебя. Но ты уехал, и он долго утешал меня в моем

ужасе и в моей тоскливой любви по тебе.

Не печалься, Берт! Мне так тебя жалко! Ты думал, и вправду мне нужен был мужем Александр Македонский? Нет, мне нужен верный и любимый, а там, пускай он хоть уголь грузит в порту или плавает простым матросом, но только поет всем океанам песни обо мне. Вот что нужно женщине, имей это в виду, глупый Бертран!

Две недели уже, как вышла наша свадьба с Томасом. Он весьма счастлив, и я тоже. Кажется, у меня ребенок тревожится под сердцем. Видишь, как скоро! Это потому, что Томас мой любимый и не оставит меня, а ты уехал колонии искать, — возьми их себе, а я взяла Томаса.

Прощай! Не печалься, а будешь в Ньюкестле — навести нас, мы будем рады. А умрешь — мы заплачем с Томасом.

Мери Карборунд-Рейс».

Перри, не помня рассудка, трижды кряду исчитал письмо. Потом взглянул в огромное окно: разбить его жалко — у немцев за золото куплено стекло. Стол проломить — тяжелой вещи в наличности нет. Немцу в физиономию дать — беззащитное существо, а один из них и так плакал. Пока свирепела ярость в Перри, а он колебался своим арифметическим рассудком, его

лютость сама нашла себе выход.

— Герр Перри, у вас рот не в порядке! — сказали ему немцы.

— А что такое? — уже обессилев и чуя грусть, спросил Перри.

— Вытрите рот, герр Перри!

Перри с трудом вырвал трубку из впившихся в нее зубов. А зубы, сжав трубку, так уперлись в свои гнезда, что порвали десны, и из них текла горькая кровь.

— Что случилось, герр? Несчастие дома?

— Нет. Кончено, друзья…

— Что кончилось, герр? Ну, пожалуйста, скажите!

— Кровь кончилась, а десны зарастут. Давайте ехать в Епифань!

5

Путешественники тянулись по Посольской дороге, что через Москву до Казани доходит, смыкаясь за Москвой с Калмиюсской Сакмой — татарской дорогой на Русь, по правой стороне Дона. На нее и следовало путникам сделать поворот, чтобы затем через Идовские и Ордобазарные большаки и малые столбы достигнуть Епифани — своего будущего местожительства.

Встречный ветер вместе с дыханием выдувал горе из груди Перри.

Он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую. Встречались земли — сплошные удобрительные туки, но на них росла непышная растительность: худая, изящная береза и скорбящая певучая осина.

Даже летом так гулко было пространство, как будто оно не живое тело, а отвлеченный дух.

Изредка в лесу обнажалась церковушка — деревянная, бедная, со знаками византийского стиля в своей архитектуре. Под самой Тверью Перри заметил даже дух готики на одном деревенском храме, при протестантском постном убожестве самого здания. И на Перри задышала теплота его родины — скупой практический разум веры его отцов, понявшей тщету всего неземного.

Огромные торфяники под лесом прельщали Перри, и он чувствовал на своих губах вкус неимоверного богатства, скрытого в этих темных почвах.

Немец Карл Берген — тот, что плакал в Санкт-Петербурге над письмом, — думал о том же. На воздухе он отживел, возбудился, забыл на время молодую жену и объяснил Перри, глотая слюну:

— Энглянд — это шахтмейстер[4]. Рюссланд — торфмейстер! Верно я говорю, герр Перри?

— Да, да, точно, — сказал Перри и отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом.

Изредка, но изрядно путешественники ели в попутных селениях. Перри пил целыми жбанами квашонку, в которой он нашел немалый вкус и способствование дорожному пищеварению.

Минувши Москву, инженеры долго помнили ее колокольную музыку и тишину пустых пыточных башен по углам Кремля. Особо восхитил Перри храм Василия Блаженного — это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость и — вместе — круглую пышность мира, данного человеку задаром.

Иногда перед ними расстилались пространные степи и ковыльные земли, на которых не было и следа дороги.

— А где же Посольский тракт? — спрашивали немцы ямщиков.

— А вот он самый, — указывали на круглое пространство ямщики.

---

[4] Примечания: 4
Горнорабочий.

— А сего незаметно! — восклицали немцы, вглядываясь в грунт.

— Так трахт одно направление, а трамбовки тут быть не должно! Он до самой Казани такой — все едино! — поясняли, поелику возможно, ямщики иноземцам.

— Ах, это знаменито! — смеялись немцы.

— А то как же! — всерьез подтверждали ямщики, — оно так видней и просторней! Степь в глаза — веселья слеза!

— Весьма примечательно! — дивились немцы.

— А то как же! — поддакивали ямщики, а сами ухмылялись в бороду, дабы никому оскорбительно не было.

За Рязанью — обиженным и неприютным городком — уже редко жили люди. Тут шла бережная и укромная жизнь. Еще от татар остался этот страх, испуганные очи ко всякому путнику, потаенность характера и заулюченные чуланчики, где таилось впрок небогатое добро.

С удивлением вглядывался Бертран Перри в редкие укрепления с храмишками посредине. Окрест таких самодельных кремлей жили местные люди в кучах избушек. И видно было, что это — новосельные люди. А раньше все хоронились в уюте земляных валов и деревянных стен, когда

татары по степному разнотравию достигали сих районов. Да и жил в тех крепостцах все более казенный народ, учиненный сюда князьями, а не полезные хлебопашцы. А теперь — разрастаются селитбища, а по осени и ярмарки гремят, даром что нынче царь то со шведами, то с турками воюет, и страна оттого ветшает.

Вскоре путешественники должны повернуть на Калмиюсскую Сакму — татарский ход по обочине Дона на Русь.

Однажды в полдень ямщик махнул кнутом без нужды и дико свистнул. Лошади взяли.

— Танаид! — крикнул Карл Берген, высунувшись из кареты.

Перри остановил экипаж и вышел. На дальнем горизонте, почти на небе, блестела серебряной фантазией резкая живая полоса, как снег на горе.

«Вот он, Танаид!» — подумал Перри и ужаснулся затее Петра: так велика оказалась земля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо устроить водяной ход кораблям. На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно.

Перри видел океаны, но столь же таинственны, великолепны и грандиозны возлежали пред ним

эти сухие, косные земли.

— На Сакму! — крикнул передовой ямщик. — Ухватывай ее в укос! Штоб к ночевке на Идовском большаке быть беспременно!

Овсяные кони схватили и понесли полной мочью, в соучастие нетерпеливым людям.

— Окоротись! — закричал вдруг передовой ямщик и для признака задним поднял кнутовище.

— Что вышло? — спохватились немцы.

— Стражника взять забыли, — сказал ямщик.

— Какой методой? — уже спокойно спросили немцы.

— За нуждой в отвершек на постое побежал, — глянул, а его нету на заднем причале!

— Эх ты, бурмистр бородатый! — резонно выразился второй ямщик.

— Да вон он лупит степью, плешивый чин, за ширинку держится! — успокоился виноватый ямщик.

И странствие тронулось, держа курс на полдень — на Идовские и Ордобазарные большаки, а оттуда — на малые епифанские столбы.

6

Работа на Епифани взялась сразу.

Малоизвестный язык, странный народ и сер-

дечное отчаяние низложили Перри в трюм одиночества.

И лишь на работе исходила вся энергия его души, и он свирепел иногда без причины, так что сподручные прозвали его каторжным командиром.

Епифанский воевода занарядил всех мужиков воеводства: кто камень ломал и к шлюзам подвозил, кто на канале землю рыл, кто реку Шать чистил по живот в воде.

— Что ж, Мери! — бормотал Бертран, бродя ночью по своему епифанскому покою, — таким горем меня не взять! Покуда есть влага в сердце — спасусь! Построю канал, царь денег много даст и — в Индию… Ах, как жаль мне тебя, Мери!..

И, путаясь в страдании, тяжких мыслях и в избыточных силах своего тела, Перри грузно и безумно засыпал, тоскуя и взывая во сне, как маленький.

Около осени приехал в Епифань Петр. Он остался недоволен работами.

— Скорбь в рундуке разводите, а не тщитесь пользу отечеству ускорить, — сказал царь.

Действительно, медленно шли работы, как ни ожесточался Перри. Мужики укрывались от повинности, а лихие головы сбегали в безвестные

места.

Охальные местные люди вручили Петру челобитные, в коих велся учет злому начальству. Петр приказал повести дознание, откуда выяснилось, что воевода Протасьев за большие поборы освобождал слободских мужиков от повинностей, а поверх всего миллион рублей себе нажил на всяких начетах и требовательных ведомостях с казны.

Петр приказал Протасьева бить кнутом, а потом сослал его на Москву для дополнительного следствия, но он там досрочно с печали и стыда умер.

По отъезде Петра, когда срамота еще не забылась, другая беда нашла на епифанские работы.

Карл Берген ведал работами на Иван-озере, — валом земляным его огораживал, чтобы воду в нем поднять до нужной судоходной глубины.

В сентябре Перри получил от него рапорт, где указывалось:

«Пришлые люди, особливо московские чиновники и балтийские мастера, волею божьею чуть не все лежат больны. Великий им упадок живет, а болят и умирают больше лихорадкою и пухнут. Простолюдин же местный терпит, но при всякой тяжести и спехе работы в болотной воде, коя про-

хладна стала близу осени, бунт норовит учинить. Заключу сие тем, что, тако и далее пойдет, без начальников и мастеров мы очутиться можем. А затем жду спешных приказов главного инженера-строителя».

Перри уже знал, что балтийские мастера и техники немцы не только болеют и умирают в болотах Шати и Упы-реки, но также и бегут по тайным дорогам на родину, ухватывая великие деньги.

Перри боялся весеннего половодья, которое грозило разрушить начатые и беспомощные сооружения. Он хотел довести их до безопасного состояния, чтобы полые воды особого вреда им не причинили.

Однако того достигнуть было трудно, — технические чиновники умирали и сбегали, а мужики того пуще мутились и целыми слободами не выезжали на работу. Одному же Бергену не управиться с такими злодеяниями и болотную мороку не залечить.

Тогда Перри, чтобы хоть одно зло усечь, издал по работам и всем окружным воеводствам приказ: под смертною казнью, чтобы иноземцев — канальных и шлюзных мастеров — нигде не пропущали, и в подводы под них никто не на-

ряжался, и лошадей бы не продавали, и в ссуды не давали.

А под приказом Перри поставил подпись Петра — для устрашения и исполнения: пускай потом царь поругает, нельзя же ехать к нему в Воронеж, где он флот на Азов снаряжал, чтобы подпись его получить, и два месяца времени упустить.

Но и так пристрожить мастеровых людей не удалось.

Тогда Перри увидел, что зря таким штурмом он работы повел и столь многочисленных работных, служилых и мастеровых людей в них сразу втравил. Следовало бы начать работы спрохвала, чтобы дать народу и мастеровым к труду такому притерпеться и очухаться.

В октябре работы стали вконец. Немцы-инженеры клали все силы на то, чтобы людской охраной сооружения и заготовленные материалы снабдить, но и то не удавалось. Через это немцы слали с каждой оказией Перри рапорты, чтобы их он уволил с работ, ибо их царь запороть может, когда приедет, а они неповинны.

Однажды епифанский воевода пришел к Перри в воскресенье.

— Бердан Рамзеич! Каку штуку я тебе принес! Непостижное охальство!

— Что такое? — спросил Перри.

— А ты погляди, Бердан Рамзеич! Да ты вдумайся в документ втихомолку, а я так посижу… Штой-то дюже бездомовно у тебя, Бердан Рамзеич! Да што сказать — жен у нас по тебе нету. То я вижу и тому сочувствую…

Перри развернул грамотку:

«Петру Первому Алексеичу,
Русскому Самодержцу и Государю.

Мы, холопы твои и крестьянишки наши, в той год у твоего, Великий Государь, канавного и слюзного дела приставлены неотлучно были, во время пахотное, и жатвенное, и сенокосное в домишках своих не были и ныне по работе ж и за тою работою озимого хлеба не сбирали, а ярового не усеяли, и сеять некому и нечем, и за безлошадьем ехать не на чем, а который у нашей братьи и крестьянишек наших старого припасу молоченой и немолоченой хлеб был, и тот хлеб служилые и работные люди, идучи на твою, Великого Государя, службу и на Епифань на работу, много брали безденежно, а остальной волею божьей от мышей поеден без остатку, и многое нам и крестьянишкам нашим такие служилые и работные люди обиды и разоренье чинят и девок до времени всех почитай оскоромили».

— Чуешь, Бердан Рамзеич? — спросил воевода.

— Как это попало к вам? — удивился Перри.

— А так — дуриком: у писаря моего две недели каки-то холуи чернил допытывались аль состав просили сказать за окорок ветчинный. Токмо писарь мой жох и сам вотчинник — чернила дай, а сам в слежку, да так и дознался и грамотку проведал… Ведь, окромя воеводского приказу, в Епифани чернилов нету и составные краски никому не ведомы!..

— Неужели мы так народ и вправду умучили? — спросил Перри.

— Да што ты, Бердан Рамзеич! Эт у нас народ такой охальник и ослушник! Ему хоть ты што — он все челобитные пишет да жалобы егозит, даром што грамоте не учен и чернильного состава не знает… Вот погоди, я их умещу в тесное место! Я им покажу супротивщину чинить и царю без угомону писать… Ведь это наказанье господне! И зачем их слова обучали говорить? Раз грамоты не разумеют, и от устных слов надобно отучить!..

— А вы имеете донесения, воевода, с Иван-озера? Целы там те колонны пеших рабочих и подводы, коих вы из Епифани со стражниками погнали?

— Каки колонны? Это што я на Спас послал?

Куды тебе, Бердан Рамзеич! Стражник один, — тому десять ден, — прискакал оттыльча, сказывал, что пешие все на Яик и Хопер убегли, а семьи их, истинно, по Епифани с голоду маются. Отдыху от баб не вижу, а окромя — всяка стервь доносом норовит меня унять… — Воевода вынул тряпицу и обтер свое пожилое лицо. — Стерегусь государя, Бердан Рамзеич! Нагрянет — порке без оглядки предаст. Уж ты заступись, Бердан Рамзеич, аглицким богом тебя прошу!..

— Хорошо, заступлюсь, — сказал Перри. — Ну а конные подводы работают на Иване?..

— Што ты, Бердан Рамзеич! Кони пеших упредили: все по степям и неприметным хуторам разбеглись и утаились. Да разве сыщешь? Только то не к добру — лошади извелись на работах и к пахоте боле не пригожи, а многие пали кончиной в степи… Тах-то, Бердан Рамзеич!

— Да! — воскликнул Перри и сжал руками свою твердую, худую голову, в которой сейчас не было никакого утешения.

— Так что ж ты думаешь делать, воевода? — спросил Перри. — Ведь мне рабочие нужны! Как хочешь делай — давай пеших и конных, а то шлюзы весной смоет, а царь мне не спустит!

— Как хошь, Бердан Рамзеич! Голову мою бе-

ри, — в Епифани одни бабы остались, а в остальной воеводской земле — разбой свищет. В свое воеводство показаться не могу, — куды там рабочих сыскать! Мне одна тропка: от народа голову сберег — царь снесет!

— Это меня не касается! Вот тебе наряд, воевода, на неделю: на Иван-озеро поставить пятьсот пеших, сто конных; на шлюз, что при деревне Сторожевой Дубровке, тысячу пятьсот пеших и четыреста конных; на Нюховской шлюз две тысячи пеших и семьсот конных; еще на Любовской канал, между Шатью и Доном, четыре тысячи пеших и полторы тысячи конных да на Гаевской шлюз конных сто и пеших шестьсот. Вот, бери наряд, воевода! Чтоб вся эта рабочая сила была поставлена в одну неделю! Не сделаешь — отправлю рапорт царю!..

— Слухай меня, Бердан Рамзеич!..

Перри перебил:

— Больше не слушаю. Нечего тебе мне страдать и песни петь — я не невеста! Чтоб были рабочие, а жалобы мне не нужны! Ступай в воеводство и делай мне живых людей!

— Слухаю, Бердан Рамзеич, слухаю, сударь! Токмо ни хрена не выйдет, вот тебе покойница мать…

— Ступай в свое воеводство! — раздраженно сказал Перри.

— Дозволь тогда, Бердан Рамзеич, хучь камень дикий возкой до весны оставить. Он и пужает мужиков — дюже тяжесть агромадна, да и ломка на Люторце не способна…

— Дозволяю, — ответил Перри, догадавшись, что сейчас ему не до новых работ, впору сделанное от разлива уберечь. — Только ты ступай, воевода! Очень ты речист, а на дело хитер без смысла!

— Благодарим за камень! Прощевайте, Бердан Рамзеич!..

Воевода негромко выговорил еще несколько слов и удалился.

Последние слова он сказал на местном языке, по-епифански, поэтому Перри ничего в них не понял. А если б и понял, то добра бы в них себе не увидел.

7

На зиму все пять немцев-инженеров тоже приехали в Епифань. Они обросли бородами, постарели за полгода и явно одичали.

Карла Бергена грызла жестокая скорбь по своей германке-жене, но он подписал договор с царем

на год, а ранее уехать было нельзя: в ту пору лиха была русская расправа. Поэтому молодой немец дрожал от ужаса и семейной тоски, и работа у него валилась из рук.

Остальные немцы тоже заплошали и жалели, что приехали в Россию за длинными рублями.

Один Перри не сдавался, и сердечная печаль по Мери находила себе исход в его лютой энергии.

На техническом совете с немцами Перри выяснил, что положение с недоделанными шлюзами грозное. Весенние воды могут начисто снести сооружения, особенно же Люторецкой и Муровлянской шлюзы, откуда еще в августе сбежали все рабочие.

По последнему наряду Перри епифанский воевода ничего не поставил: то ли злая воля в том его была, то ли правда — рабочих согнать нельзя было.

Обсудив работы, инженеры не выдумали, как уберечь шлюзы от весны. Перри знал, что царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду сто либо более рублей, смотря по емкости

судна, и личными руками снимал с инженера смертный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще пуще того — тонул у берега, царь предавал таких корабельщиков на скорую казнь — на снос головы.

Перри не боялся утраты своей головы, однако допускал ее, но немцам ничего не говорил.

Потянулась великорусская зима. Епифань засыпалась снегом, окрестности окончательно замолчали. Казалось, что люди здесь живут с великою скорбию и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились.

Загнанный скукой и одиночеством, один из немцев — Петер Форх — женился Рождеством на епифанской боярышне — Ксении Тарасовне Родионовой, дочери богатого торговца солью. Отец ее имел свой обоз в сорок подвод, который странствовал меж Астраханью и Москвой с двадцатью чумаками, снабжая солью полночные провинции. А в молодости Тарас Захарович Родионов и сам чумачил. Петер Форх переселился к тестю и вскоре пополнел от мирной жизни и заботливого питания.

Все инженеры, под началом Перри, до самого нового европейского года усердно занимались составлением исполнительных чертежей, смет на израсходованные материалы и рабочие руки, а также прожектировали всякие способы безопасного пропуска весенних вод.

Перри написал царю рапорт, где изложил всю историю работ, указал на роковую нехватку рабочих и усумнился в конечном благополучии. В копии свой рапорт Перри направил аглицкому послу в Санкт-Петербург — на всякий случай.

В феврале в Епифань прибыл царский курьер с пакетом для Перри.

«Бертрану Перри,

Главному инженеру-строителю Епифанских шлюзов

и каналов меж Доном и Окой реками.

Слух о твоей неспособной работе дошел до меня допрежь твоей челобитной. Из сей незадачи я усматриваю, что тамошний епифанский народ — холуй и пользы своей не принимает, а сверх того и тебе следовает круче волю мою гнуть и утруждать сподручных втугачку, дабы никому не было под стать на ослушание решиться: будь то мастер иноземец или черный люд.

Обсудив круг мыслей, до Епифанских шлюзов

касающихся, я порешил упредительные меры на нонешнее лето.

Воеводу твово я прогнал и епитимью ему назначил — с Азова брандеры на Воронеж гнать по мелям великим. А новым воеводой посылаю тебе Гришку Салтыкова — человека твердого и ходовитого, мне известного и лихого на скорую расправу. Он тебе будет первый помощник по пешей и гужевой силе.

Кроме того, я объявляю епифанское воеводство на военном положении, а мужское население забираю в солдаты сплошь! Затем я шлю тебе поручиков и капитанов отборного свойства, кои с ротами епифанских рекрутов и ополченцев придут на твои работы, а ты считайся полным генералом, а помощникам и сподручным мастерам также раздай подобающие чины, коих с них станет.

В иных смежных воеводствах, кои работам твоим под стать, также я военное положение учредил…

Ежели и в нонешнем лете прогадаешь со шлюзами и каналами — тогда гляди сам. Что ты британец — отрадой тебе не станется».

Перри обрадовался такому ответу Петра. Успех работ после таких епифанских реформ был

теперь обнадежен. Лишь бы весна особо не нагадила и прошлогодний труд не пошел прахом и убытками.

В марте Перри получил из Ньюкестля письмо. Он прочел его, как весть с того света, до того заржавело его сердце к своей минувшей судьбе.

«Бертран!

В новогодний день умер мой первенец, мой сын. Все тело мое болит при воспоминании о нем. Ты прости, что я тебе пишу, чужому теперь человеку, но ты верил в мою искренность. Ты помнишь, я тебе говорила — кому первому отдаст женщина свой поцелуй, того она помнит всю жизнь. И я тебя помню и поэтому пишу о своем потеряном даре — маленьком сыне. Он был мне дороже мужа, дороже твоей памяти и дороже себя. О, во сколько раз дороже всех моих кровных драгоценностей! Не буду писать о нем тебе, а то заплачу и не кончу и второго письма. Первое я тебе послала месяц назад.

Муж мне стал совсем чужой. Он много работает, ходит по вечерам в морской клуб, а я одна, и мне так скучно! Единственное мое утешение — чтение книг и письма к тебе, которые я тебе буду писать часто, если ты не обидишься.

Прощай, дорогой Бертран! Ты мил мне как друг

и словно далекий родственник, в тебе мое чувство нежных воспоминаний. Пиши мне письма, я буду очень рада их получать. В жизни меня держит только любовь к моему мужу да память о тебе. Но мертвый мой мальчик в моих сновидениях зовет меня разделить с ним его мучения и его смерть.

А я все живу, бессовестная и трусливая мать.

Мери.

N.B. В Ньюкестле жаркая весна. По-прежнему в ясные дни виден берег Европы за проливом. Этот берег всегда мне напоминает тебя, и оттого мне еще тоскливее бывает.

Помнишь ли ты стихи, которые писал мне в своем письме когда-то?

> *…Возможность страсти горестной и трудной —*
>
> *Залог души, любимой божеством…*

Чьи это стихи? Помнишь ли ты свое первое письмо ко мне, где признался мне в любви, стыдясь сказать мне в лицо роковые слова. Я тогда поняла мужество и скромность твоей натуры, и ты мне понравился».

После письма Перри охватила человечность и нежное чувство покоя: быть может, он был доволен несчастьем Мери, — судьба обоих теперь

уравновесилась.

Не имея в Епифани близкого знакомого, он начал ходить в гости к Петеру Форху; пил там чай с вишневым вареньем и беседовал с женой Форха — Ксенией Тарасовной — о далеком Ньюкестле, теплом проливе и о европейском береге, который виден из Нюкестля в прозрачные дни. Только о Мери Бертран ни с кем не говорил, скрывая в ней источник своей человечности и общительности.

Шел март. Епифанцы постились; заунывно звонили в православных храмах, а на водоразделах уже почернели поля.

Хорошее душевное расположение Перри не проходило. Мери на письмо он не ответил ничего, да и мужу ее не понравятся его письма; писать же общие вежливые слова ему не хотелось.

Немецких инженеров Перри разослал по наиболее опасным шлюзам для руководства работами по пропуску вешних вод.

Мужики теперь ходили в солдатах. А новый воевода, Григорий Салтыков, лютовал по воеводству без спуску и милости; тюремные дома были туго населены непокорными мужиками, а особая воеводская расправа, порочная хата тож, действовала ежедневно, кнутом вбивая разум в задницу мужиков.

Рабочих, и пеших и конных, теперь было вдосталь, но Перри видел, сколь это непрочно: каждый час мог вспыхнуть бунт, и не только все побегут с работ, но и сооружения будут злостно разрушены вмах.

Но весна выдалась недружная: днем текло малыми порциями, а ночами прихватывало. Через шлюзы вода исходила, как сквозь худое ведро, поэтому немцы и дежурные рабочие успевали затыкать талой землей сочащиеся щели в водоспусках, и особых разрух не происходило.

Перри был весьма доволен и чаще навещал одинокую теперь супругу Форха, беседуя с ее отцом о чумаках-солевозах, татарских нашествиях и о сладких травах старых ковыльных степей.

Наконец разгорелась летним огнем провинциальная прелестная весна, а затем стихла молодость природы. Наступила зрелость и злоба лета, и вся жизнь по земле затревожилась.

Перри решил к осени все каналы и шлюзы закончить. Он соскучился по морю, по родине, по старику отцу, жившему в Лондоне.

Грусть отца по сыну измерялась пеплом из его трубки: от тоски по сыну отец неугомонно курил. Он так и сказал на прощанье:

— Берт! Сколько мне табаку сжечь придется,

пока я увижу тебя…

— Много, отец, много! — ответил Бертран.

— Да уж не берет меня никакой яд, сынок! Скоро, наверно, жевать табачный лист начну…

В начале лета работа пошла спешно. Напуганные царем мужики усердно трудились. Однако иные ветхопещерники бежали и укрывались в дальних скитах. А некоторые неуемные головы сшептывались меж собой и увлекали цельные роты на Урал и в калмыцкие степи. За ними учреждали угон, но толку от него никогда не случалось.

В июне Перри поехал по работам. Скорость их и успешность он нашел достаточными.

А Карл Берген совсем обрадовал его. На Иван-озере, на самом низком дне, он обнаружил бездонный колодезь-окно. Оттуда поступало в озеро столь много ключевой воды, что ее хватит на дополнительное питание каналов в мелководные сухие годы. Следует только на Иван-озере подсыпать прошлогодний земляной вал еще на сажень, чтобы собирать из колодца в озеро больше воды, а затем пускать эту воду в каналы по особому спуску, когда надобность в том явится.

Перри одобрил изобретение Бергена и приказал тот колодезь желонкой расчистить и опустить в

него большую железную трубку с сеткой, чтобы колодезь не заилился вновь. Воды тогда в озеро будет подтекать еще больше, и водный путь в засуху не обмелеет.

Страх и сомнение ужалили гордость Перри, когда он возвращался в Епифань. Петербургские прожекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами, которые в сих местах нередки. А выходило, что в сухое лето как раз каналам воды не хватит и водный путь обратится в песчаную сухопутную дорогу.

По приезде в Епифань Перри начал пересчитывать свои технические числа. И вышло еще хуже: прожект составлен был по местным данным от 1682 года, лето которого изобиловало влагой.

Поговорив с местными людьми и тестем Форха, Перри догадался, что и в средние по снегам и дождям годы каналы будут так маловодны, что по ним и лодка не пройдет. А про сухое лето и говорить нечего, — одна песчаная пыль поднимется на канальном русле.

«Тогда я отца-то, пожалуй, больше не увижу! — подумал Перри. — И в Ньюкестль я не поеду, и берега Европы не посмотрю!»

Единственная надежда осталась на ключ на дне

Иван-озера. Если он даст много воды, то ею можно будет прокормить каналы в суховейные годы.

Но это открытие Бергена все же не возвращало тихого покоя душе Бертрана, какой он имел после письма Мери. Втайне он не верил, чтобы колодезь Иван-озера способен был помочь обильной водой, но укрывал свое отчаяние за этой маленькой надеждой.

Сейчас на Иван-озере шла постройка особого плота, с которого подводный колодезь пробурят глубже и вставят в него широкую чугунную трубу.

8

В начале августа Перри получил от Карла Бергена служебный рапорт. Принес его воевода Салтыков:

— Вот, ваше превосходительство, тебе писуля пришла. Ребята мои сказывали, что мужицкая гнида вся с Татинского слюза анамеднись молчком ушла. Так я тебе спокой нащет слюза того даю: завтра баб тех, коих мужики убегай, всех сгоню на Татинку. А бегунов словлю и военно-полевому суду отдам. Снесу головы, тады поумнеют. Видно, тах-то!..

— Я с тобой согласен, Салтыков! — сказал по-

мертвевший от забот Перри.

— Так, стало, ты, ваше превосходительство, тады те смертные казни подпишешь? Упреждаю тебя, теперича ты тут всему делу голова.

— Ладно, подпишу… — ответил Перри.

— А еще, генерал, завтра у меня дочерины смотрины. Один ухажер московский, купецкий сын, мою Феклушу в дом себе примает на супружество. Так ты приходи потчеваться…

— Благодарю. Может, зайду. Спасибо, воевода.

Салтыков ушел; Перри разодрал пакет Бергена.

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!

Коллега Перри!

С 20 по 25 июля производилось бурение подводной скважины на Иван-озере — для углубления, уширения и прочистки ее. По вашей задаче следствием должен быть сильный приток подземных вод в Иван-озере.

Бурение остановлено на десятой сажени по причинам, сказуемым ниже.

В восемь часов вечера, 25 июля, желонка перестала таскать вязкую глину и вынималась с сухим мелким песком. При сей процедуре я присутствовал неотлучно.

Отчалив от бурильного плота, чтобы достиг-

нуть берега по случайной нужде, я обнаружил торчащую траву над горизонтом воды, которой раньше не замечал. Ступив на береговое сухопутье, я услышал, что завыла собака, по местному прозвищу Илюшка, что питается с солдатского котла. Это меня немало смутило, несмотря на мою веру в Бога.

Солдаты-рабочие доказали мне, что с полудня и до сей поры вода в озере убывает. Подводная трава оголилась, и показались два невеликих островка посредине воды.

Солдаты были в ужасном страхе и говорили, что мы озерное дно сквозь продолбили трубой и озеро теперь исчахнет.

Действительно, на берегу явно был заметен вчерашний урез воды, а также нонешний, и разница была на полсажени ниже.

Воротившись на борт плота, я приказал бурение кончить и немедля начать забивку скважины. Для сего мы опустили в подводный колодезь чугунную крышку аршин в поперечнике, но ее сразу утащило в подземную глубину, и она пропала. Тогда начали забивать в скважину обсадную трубу, набитую глиной. Но и ту трубу засосала скважина, и она утащилась туда. И сосание то длится посейчас, и вода из озера гнетется туда

безвозвратно.

Сему объяснение простое. Бурильной желонкой мастер пробил тот водоупорный глинистый пласт, на котором вода в Иван-озере и держалась.

А под тою глиной лежат сухие жадные пески, кои теперь и сосут воду из озера, а также железные предметы влекут.

И дальше не ведаю, что и делать, о чем и прошу ваших приказов».

Душа Перри, не боявшаяся никакой жути, теперь затряслась в трепете, как и подобает человеческой натуре. Бертран не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал, упершись лбом в стол.

Судьба его нагоняла всюду: он утратил родину, потом Мери, теперь случилась неполадка работ. Он знал, что не выберется живым из этих просторных суходолов и не увидит больше ни Ньюкестля, ни Европы на том берегу, ни отца с трубкой, ни Мери в последний раз.

Пустая, низкая комната звучала от неистового скрежета зубов и плача Перри. Он опрокинул стол и метался в тесноте, воя от хлынувшего страдания и потеряв всякий характер. Стихия горя свирепела в нем и запечатлевалась как попало и

без всякого надзора со стороны разума.

Смирившись затем, Бертран улыбнулся и устыдился такого бесстыдного отчаяния. Потом вынул книжку из чемодана и начал читать:

«АРТУР ЧЕМСФИЛЬД
ЛЮБОВЬ ЛЕДИ
БЕТТИ ХЬЮГ
РОМАН
В 3–Х ТОМАХ И 40 ЧАСТЯХ

Сударыня! Любвеобильное сердце мое, терзаясь и стеная, взывает к вам с ангельской мольбою: предпочтите меня всем светским мужчинам или возьмите из груди сердце сие и скушайте его, как жидкое яйцо!

Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа, и кровь пылает, как жидкая смола! Нюжли не приютишь, сударыня Бетти? Нюжли не боишься надгробной тоски над чужеродным тебе, но верным человеком?..

Мистрис Бетти, я знаю, что мистер Хьюг застрелит меня из старого ружья лежалым порохом, как только я приближусь к вашему дому. Пускай то случится! Пускай обличится роковая моя судьба!

Убийца я домашних очагов! Но сердце ищет милости под комбинезоном любимой, где бьется ее сердце под холмами наивных грудей!

Бродяга я неприютный! Но благосклонности прошу у вашего солидного супруга!

Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более субтильного существа — женщины…»

Перри замер в нечаянном, но глубоком и свежем сне, а книга свалилась — навсегда не прочитанной, но интересной.

Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба.

9

Прошел значительный год — долгая осень, длиннейшая зима и робкая, редкостная весна.

Наконец внезапно распустилась сирень — эта роза русской провинции, дар скромных палисадов и признак неизбежной деревенской мечты.

Вся группа работ, что именуется Государственным Доно-Окским Водным Ходом, была совершена.

Предстояло многолетнее плавание небольших и значительных судов, кои к лицу сухопутной стране.

Зной водворился с мая. Сначала поля заблаго-

ухали телами юных растений, а потом, в июне, оттуда понесло прахом вянущих листьев и остротой скисающих от жаркого моря цветов: не было дождя.

На испытание шлюзов и каналов государь прислал французского инженера генерала Трузсона, с особой коллегией при нем из трех адмиралов и одного инженера итальянца.

— Инженер Перри! — заявил Трузсон. — По приказанию государя императора предлагаю вам через неделю весь путь от Дона до Оки привести в судоходное состояние! Я имею полномочия его величества освидетельствовать все водные сооружения, дабы обнаружить и установить их добротность и целям государя соответствие.

— Слушаю! — ответил Перри. — Водный ход будет готов через четыре дня!

— О, это знаменито! — провозгласил довольно Трузсон. — Исполняйте, инженер, и не задерживайте наше отбытие в Санкт-Петербург!

Через четыре дня затворы водоспусков были опущены, и вода начала накопляться в шлюзовые плесы. Однако накоп был столь незначителен, что и в глубоких местах более аршина не получалось. Кроме того, когда вода, запертая шлюзами, чуть поднялась в реке, то подземные ключи пере-

стали биться. На них налег тяжелый пласт воды и задушил их.

На пятый день вода в междушлюзные пространства совсем перестала добавляться. К тому же был зной, бездождие, и из балок не было никакого подтока.

С Шати-реки от Муровлянского шлюза пущена была байдара, груженная лесом, с осадкой в пять четвертей аршина. Отплыв от шлюза на полверсты, она села на мель на самом фарватере.

Трузсон и его испытательная коллегия ездили на тройках по обочине водного пути.

Из крестьян, кроме нужных рабочих, никого не было на открытии водного хода. Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань, а по воде никто не собирался плавать; может, пьяный когда вброд перейдет эту воду поперек, и то изредка: кум от кума жил в те времена верст за двести, потому что сосед соседа в кумовья не брал, — бабы не дружили.

Трузсон ругался по-французски и по-английски, но то была немощная ругань. А по-русски он не умел. Поэтому даже рабочие на шлюзах не пугались генерала, — не понимали, чего кричал и брызгал ртом этот русский генерал из иноземцев.

А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать — к чему народ мучают — не осмеливались.

Только епифанские бабы жалели мрачного Перри:

— Удобен да статен, пралич, и не стар будто, а с бабами не жирует. Не то скорбь кака гложет, не то бабу свою схоронил, — кто ж его знает, не сказывает… А уж дюже горемычен на лицо — аж жутко…

На другой день нарядили сто мужиков мерщиками. Мужики пустились прямо вброд. Только у самых шлюзовых плотин они малость плыли, а то вброд всюду тянулись. В руках они несли шесты, и десятские зарубали на них глубины, а больше мерщики меряли голенями и потом отсчитывали четвертями, а в четверти у иных было пол-аршина. Пятипалая рука тогда имела мощный мах в пальцах и мерным работам не способствовала.

Через неделю все водные ходы были промерены, и Трузсон посчитал, что и лодка не везде пройти может, а в иных местах и плота вода не подымет.

А царь приказал глубину устроить, чтобы десятипушечным кораблям безопасно по ней плавать можно было.

Коллегия Трузсона составила испытательную ведомость и зачитала ее Перри и его сподручным — немцам.

В ведомости говорилось, что каналы, а равно и шлюзованные речки негожи для плавания и кораблевождения по причине малости вод. Затраты и труды надо почитать напрасными и никому не впрок. Далее того предлагалось распорядиться воле царя.

— Да, — сказал один адмирал из приспешников Трузсона, — учредили водяной ход! Вечное посмешище установили, великие тяготы народные расточили!.. Испозорили, изглумили государя вдрызг, — у меня и то изжога началась от таких делов!.. Ну, теперча гляди, немцы! И ты, англичанский чудотворец, теперь кнута жди — да это еще милость!.. Страхота сию ведомость царю доложить — морду хлобыстать почнет!..

Перри молчал. Он знал, что прожект был исполнен по изысканиям того же Трузсона, но все равно ему спасаться теперь ни к чему.

На другой день, на восходе солнца, Трузсон уехал со своими людьми.

Перри не знал, куда ему деть привычную работоспособность, и гулял в степях целыми днями, а вечерами читал английские романы, но другие, а не «Любовь Бетти Хьюг».

Немцы сгинули через десять дней после Трузсона. Воевода Салтыков снарядил за ними угон, но угонные стражники еще не вернулись.

В Епифани из немцев остался только женатый Форх, как любивший супругу человек.

Воевода Салтыков учредил за Перри и Форхом неявный надзор, но то было известно и Перри и Форху. Салтыков ждал каких-то приказов из Петербурга и на глаза Перри не показывался.

Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал. Начинать что-нибудь делать серьезное было ни к чему. Он знал, что его ждет расправа царя. Однако в кратком смысле он написал британскому посланнику в Петербург, прося его вызволить подданного британского короля. Но Перри чувствовал, что воевода не пошлет его письмо с очередной оказией или запакует его в казенную сумку и направит в Тайный Петербургский приказ.

Через два месяца Петр прислал нарочного с секретным пакетом. Царский курьер ехал в карете, за каретой мчались мальчишки, и пыль за ними

расцвечивалась радугой от вечернего солнца.

Перри стоял тот час у окна и видел весь этот скорый ход собственной судьбы. Он сразу догадался, с чем приехал посланец, и лег спать, чтобы скоротать ненужное время.

На другой день, на восходе солнца, к Перри постучали.

Вошел воевода Салтыков.

— Аглицкий подданный Бердан Рамзеич Перри, объявляю тебе волю его императорского величества: с сего часа ты не генерал, а штатский человек и сверх того преступник. На государеву расправу ты пешеходом гонишься в Москву со стражниками. Собирайся, Бердан Рамзеич, ослобождай казенное помещение!..

10

В полдень Перри шел по среднерусскому континенту и созерцал встречные травинки. За спиной его был мешок, а рядом стражники.

Дорога ожидала дальняя, и стражники были добры, чтобы не тратить зря душу на злобу.

Два стражника были родом из Епифани. Они сказали Перри, что завтра с утра начнут пороть в пыточной хате немца-остальца Форха. Царь будто другой никакой казни ему не назначил, а только

дать дюжую порку и выгнать в неметчину.

Дорога в Москву оказалась столь длинна, что Перри забыл, куда его ведут, и так устал, что хотел, чтоб его поскорее довели и убили.

В Рязани епифанские стражники переменились. Новые стражники сказали Перри, что как бы войны с аглицкой державой не было.

— А что так? — спросил Перри.

— Петр-государь, сказывают, пымал у царицы на спальных снастях полюбовника, а тот аглицким посланцем окажись! Петр-царь ему голову отруби да царице ее в шелковом чувале и пришли!..

— Неужели так? — спросил Перри.

— А ты думал? — сказал стражник. — Видал нашего царя? Громадный мужчина! Сказывают, он тому посланцу руками голову оторвал, будто куренку какому! Шуточное ли дело? Только я слыхал, из женчины царь народ на войну не тронет…

Под конец дороги Перри не чувствовал ног. Они у него распухли, и он шел как в валенках.

Один стражник-старик на последней ночевке ни с того ни с сего сказал Перри:

— И куцы мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь! Нонешний царь горазд на всякую

лютость… Я б убег на глазах! Пра! А ты идешь цыплаком! Кровя, брат, у тебя дохлые — я б залютовал во как и в порку не дался, тем более в казнь!..

11

Перри привели в Кремль и сдали в башенную тюрьму. Ничего ему не говорили, и Перри перестал пытать судьбу.

В узкое окно он всю ночь видел роскошь природы — звезды — и удивлялся этому живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззаконии.

Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засмеялся на низком глубоком полу высокому небу, счастливо царствовавшему в захватывающем дыханье пространстве.

Перри проснулся сразу, не помня, как он заснул. Проснулся он не сам по себе, а от людей, которые стояли перед ним и негромко говорили, не будя заключенного. Но он сам проснулся, почуяв их.

— Бертран Рамзей Перри, — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя, — по приказу его величества государя императора ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай. Царство тебе Божье. Все ж ты человек.

Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо двери, не сразу управившись с железом.

Остался другой человек — огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.

— Скидавай портки.

Перри начал снимать рубашку.

— Я тебе сказываю — портки прочь, вор!

У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.

— Где ж твой топор? — спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек.

— Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь!

Резким рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу.

И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее: он увидел кровь в своих онемелых, стывших глазах и свалился в объятия воющего палача. Через час в башне загремел железом дьяк.

— Готово, Игнатий? — крикнул он сквозь дверь, притулясь и прислушиваясь.

— Обожди, не лезь, гнида! — скрежеща и сопя, отвечал оттуда палач.

— Вот сатана! — бормотал дьяк. — Такого не

видал вовеки. Пока лютостью не изойдет — входить страховито!

Зазвонили к «Достойно» — отходила ранняя обедня.

Дьяк зашел в церковь, взял просфорочку — для первого завтрака, и запасся свечечкой — для вечернего одинокого чтения.

Епифанский воевода Салтыков получил в августе, на Яблошный Спас, духовитый пакет с марками иноземной державы. Написано на пакете было не по-нашему, но три слова — по-русски:

БЕРТРАНУ ПЕРРИ
ИНЖЕНЕРУ

Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим пакетом на имя мертвеца. А потом положил его от греха за божницу — на вечное поселение паукам.

Ямская слобода

1

Уже пятьдесят лет в слободе находилась Миллионная улица. На ней стоял дом с деревянными ветхими воротами. Ворота были сделаны не из двух половин, а из одного дощатого настила, торцом навешенного на пару крюков. Давно умершее дерево от времени и забвения стало как бы почвой и занялось тихим мхом. Ворота открывались только водовозу — раз в неделю, — и то очень бережно, чем руководил сам хозяин. На левом столбовом упоре ворот — три железных заржавленных документа, одинаково древних:

«З. В. АСТАХОВ. № 192».

А сверху фамилии нарисованы в виде герба вилы и ведро; это означало, что домохозяин должен тащить на чей-нибудь пожар эти инструменты против огня. Другой документ гласил просто: «Первое Российское Страховое Общество. 1827 г.». Это указывало, что дом застрахован. А третья железка приглашала покупателей: «Сей дом продается», — но ни один человек не заходил по этому делу к З. В. Астахову уже двадцать пятый

год; поэтому железо успело померкнуть, а домовладелец забыл, зачем повесил его.

Прадед Захара Васильевича Астахова был царским ямщиком. Тогда правила царица Екатерина Вторая, а степные места стояли пустыми и страшными. В поселенцы сюда шел с севера на все согласный, норовистый, натерпевшийся народ. Люди думали найти здесь вольный хлеб, а встречали нужду, крутой труд и быстро дичали в дальней заброшенности. Но царица таких поселенцев редко трогала, хотя и были среди них люди преступного почина, немало вчинившие беды своим помещикам на Северной родине. Царица рассматривала эту степную пустошь, залегшую меж южным морем и Москвой, как дорогу в теплую страну, которая ей зачем-то была необходима. Поэтому поселенцев она сочла дорожными жителями, нужными для прогона курьеров и чиновников по девственным степям. Редкий степной народ сразу приноровился к такой царской нужде — развел хороших худощавых лошадей, учредил кузницы и постоялые дворы, расставил по трактам трактиры — и начал возить всякую казенную службу.

Иные поселенцы, особо бедовые или богомольные, ушли глубже в степь, подальше от гонных

трактов, и не стали причастными к казенному заработку. Там такие выходцы занялись глухой жизнью и годами ели свой хлеб, не видя казенного человека. Их-то и обделила впоследствии царица.

А кто пожадней и пояростней на легкую, веселую жизнь, тот остался на новых степных трактах, сел на облучок тарантаса либо хлопотал в трактире и на постоялом дворе. А самые северные и западные уроженцы — из бесхлебных кустарных мест — устроили при дороге горн и наковальню и стали кузнецами. Иногда по степи неслись большие царские люди — тем было лестно угодить.

В старинной Ямской слободе, когда она была только придорожным хутором ямщиков, жили трое особых мужиков — предки Астахова, Теслина и Щепетильникова. Они отличались от прочих поселенцев неистовой ревнивой любовью к лошадям, бабьим сладострастием и угодливой завистью к проезжим генералам и чиновникам. Они уже думали о своих конных заводах, только удобного случая разбогатеть не выходило.

Когда им приходилось спешно мчать какого-нибудь посланца из Петербурга, то они выпарывали из лошадей всю мочь: знали, что царский человек

не обидит и даст ассигнаций на пару лошадей, когда одна упадет.

Купцы по этому направлению ездили редко — они больше почитали восточные или западные долгие реки: степную скачку они не уважали, а товары волокли навалом по дешевой воде.

Легкая жизнь шла недолго — года четыре. А потом чиновники сразу перестали густо платить. Если же даст, то такую малость, что на деготь не хватит.

— Мы, — говорят, — по казенной императорской цене вознаграждаем, а обиду императрице неси.

Ямщики притаили злобу и молчали. Вскоре же чиновники совсем перестали платить.

— На казенной земле, — говорят, — даром живете, — благодарите царицу, а то враз отсюда вон Потемкин погонит! Возить нас не труд, а развлечение и отечественная повинность! Поняли?

Ямщики понимали и уходили в темноту восточных степей — заниматься святым хлебопашеством. Так и погас степной ямщицкий промысел.

Но не все ямщики разбрелись — некоторые так втянулись в степную дорогу, что остались. Влекло их главным интересом то, что они надеялись на какую-нибудь награду от знатных ездоков и не

верили, что всегда будет даровая гонка. Кроме того, они налегли на дорожные трактиры и постоялые дворы, где драли заграничные цены, как определил один проезжий.

Когда стало совсем мало степных ямщиков, то с государственными делами на юге России пошла неуправка: нужные чиновники задерживались в степи и не могли приехать в срок. Царице доложили, что степняки — бедный и своевольный народ, лучше пока их расположить чем-нибудь, — степной путь велик, и никакой злостной суеты на нем быть не должно. Царица определила по куску степи на каждого усердного и особо исполнительного ямщика. А заботу по поименному названию таких ямщиков — для следующего награждения их землей — возложила на ученого академика Бергравена, как сподручное ему дело в его странствии по южнорусской степи: Бергравен как раз в тот срок выезжал из Петербурга с научными изысканиями в русскую равнину и неоднократно должен был пересечь ее во всех направлениях. Поэтому все ямщики ему будут налицо.

Бергравен был очень пожилой человек и весь расслабленный. Когда он попал к прадеду Астахова, то лег на полати и пролежал в полной

слабости две недели, а ямщику Астахову сказал:

— Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмотри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой, — вроде пуповины у тебя на животе; найдешь, тогда мне скажешь!

Сначала Астахов из страха ездил верхом по степи и искал земного пупка. Он даже удивлялся, почему раньше его не заметил. Но потом ездить перестал, а спал в дальней лощине целыми днями. Каждый вечер ученый его спрашивал:

— Ничего не обнаружил, дружок? Он ведь большой должен быть, вроде пня или кургана — весь в рубцах и расщелинах. А в щелях должна быть плутоническая твердая грязь! Ты не забудь пунктуально рассмотреть — тогда мне расскажешь!

— Ничего не заметил, ваше сиятельство, — одна ровная степь и ковыль! Где-нибудь пуп должен находиться; я догадываюсь, не в овраге ли он! Без пупа земля расползлась бы — без шва нельзя!

— Ну вот, ну вот! — радовался чему-то ученый человек. — Конечно, земной замок имеется. Только где он, дружок?

— Может, в логу, ваше сиятельство? — покорно доводил до сведения ученого Астахов.

— Ну, чудачок, чудачок, что ты говоришь? Разве

у тебя пуповина под мышками сидит? А? Ну что ты говоришь, ты подумай сам!

— Разыщу, ваше сиятельство, будьте покойны, отдыхайте! — говорил Астахов и шел на другой день с утра в лощину. Он уже у стариков спрашивал: где пупок на земном животе? Никто, оказывается, не видел.

— Может, и есть где в сердцевине степи, — ай туда доскачешь?

Астахов не хотел морить коня — сказал ученому, что уезжает на три дня в высокую дальнюю степь, а сам ускакал к куму-казаку в гости, за сорок верст.

— Что скажешь, дружок? — спросил ученый через три дня. — Доехал до пуповины?

— Нашел, ваше сиятельство! — сказал Астахов, равнодушно вздохнув. — В бугристом месте посередине степи торцом стоит — весь червивый такой, в кровоточинах и шитый из кусков! А видать, старый такой, обветшалый и из живого тела сотворен!..

Ученый неделю пытал Астахова и исписал на псалтыре целую стопку бумаги. Уезжая, ученый дал бумагу Астахову на сорок десятин земли, какую он сам выберет в степи.

Другие ямщики тоже кое-что урвали от учено-

го. Но сами ямщики до земли и до труда были не усердны — и роздали ее за малую аренду новым поселенцам-хлебопашцам.

Потом и царица умерла, и тракты пошли скорые, и почта учредилась, а Ямская слобода осталась навсегда. Только от старых времен у слобожан сохранилась земля, которую они по-прежнему сдавали крестьянам, да звание ямщика, хотя давно ни у кого не было ни одной легкой лошади.

Слободские люди жили тем, что привозили им мужики за землю, а добавляли к этому подсобный заработок, иногда мастерство и собственную бережливость.

2

В нынешний июльский день Захар Васильевич Астахов со сподручным парнем Филатом чинил в саду плетень. Про Филата слободские люди говорили:

Наш Филатка —
Всей слободе заплатка.

А девки лопотали в праздники:

Ах, Латушка, Филат —

Ни сопат, ни горбат,
Ничем не виноват,
Сам девицам рад.
А и вдовушкам не клад!

Это напрасно — Филат девицам не радовался, человек без памяти о своем родстве и жил разным слободским заработком: он мог чинить ведра и плетни, помогать в кузнице, замещал пастуха, оставался с грудным ребенком, когда какая-нибудь хозяйка уходила на базар, бегал в собор с поручением поставить свечку за болящего человека, караулил огороды, красил крыши суриком и рыл ямы в глухих лопухах, а потом носил туда вручную нечистоты из переполненных отхожих мест.

И еще кое-что мог делать Филат, но одного не мог — жениться. На это ему не раз указывали — летом кузнец, а зимой шорник Макар:

— Што ж ты, Филя, век свой зябнешь: в бабе — полжизни! Не раздражай себя, покуда тебе тридцать лет, потом рад бы, да кровостой жидок будет!

Филат немного гундосил, что люди принимали за признак дурости, но никогда не сердился:

— Да я непосилен, Макар Митрофаныч! Мне

абы б самому прокормиться да сторонкой прожить! Да в слободе и нету такой дурной девки, чтобы по мне пришлась!..

— Вот хреновина какая! — говорил Макар. — Да аль ты дурен? У мужика не облицовка дорога, а сок в теле! Про то все бабы знают, а ты нет!

— Какой во мне сок, Макар Митрофаныч? Меня на мочегон только чего-то часто тянет, а больше ничем не сочусь!

— Дурной ты, Филат!.. — скорбно кончал Макар и принимался трудиться.

Филат работал спешно во всяком деле, а в кузнице у Макара Митрофановича с особой бодростью. Макар Митрофанович все больше говорил с мужиками-заказчиками, а Филат один поспевал, как черт в старинной истории:

«Дуй — бей — воды — песку — углей!»

Но в нынешний день Филат помогал Захару Васильевичу. Июль удался погожий и знойный: самая пора для хлеба и сена. Сад З. В. Астахова прилегал сзади к самому двору и тоже был окружен садами других домовладельцев. В саду росло всего деревьев сорок — яблони, груши и два клена. Промежду деревьев место заняли лопух, крапива, крыжовник, малина и прелестная мальва, которая ничем не пахла, несмотря на

красоту цветов.

— Закуривай, Филат! — закричал Захар Васильевич. — Глянь, сегодня день какой благородный, как на Троицу!

Филат покорно слез с плетня и подошел к Захару Васильевичу, хотя не курил. Захар Васильевич был глуховат и время от времени спрашивал: «А?» Но Филат ничего не произносил, и Захар Васильевич, поведя на него белыми глазами, успокаивался насчет необходимости ответа.

Захар Васильевич курил, а Филат так просто стоял. Филат никогда не имел надобности говорить с человеком, а только отвечал, Захар же Васильевич постоянно и неизбежно мог думать и беседовать только об одном — о своем цопком сладострастии, но это не трогало сердце Филата. Сейчас тоже Захар Васильевич попытал Филата по этому делу.

Филат прослушал и вспомнил Макара Митрофановича — тот каждое воскресенье читал вечером по складам книги своей семье, а домашние и Филат умильно слушали чужие слова.

— Макарий Митрофанович по-печатному читал, — что в женщине человеку откроется, то на белом свете закроется.

— Да ну, чушь какая! — удивлялся и отвергал

Захар Васильевич.

— Я не знаю, Захар Васильевич, в книге по-печатному написано! — не сопротивлялся Филат, но сам тайно верил в справедливость книги. Поработав на плетнях еще часа два, труженики шли обедать.

В той степной черноземной полосе, где навсегда расположилась Ямская слобода, лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность и помогало до зимы вполне разродиться. Душащая сила черноземного плодородия исходила даже в излишних растениях — лопухах и репьях — и способствовала вечерней, гложущей мошкаре.

В тот июль было душно — людей тянуло на квас и на легкую жидкую пищу. Хозяйка Захара Васильевича поставила обед на дворе. Стол был накрыт под кущей сирени — в прохладной тени. Жадный, нетерпеливый Захар Васильевич сейчас же подошел к столу, не ожидая жены, а Филат совестливо остановился вдалеке.

Захар Васильевич, увидя в чашке молоко, подернутое пленкой, подумал, что оно — холодное. Он взял половник и без оглядки, наспех хватил его целиком внутрь. Вслед за этим первым принятием пищи он харкнул и неожиданно — с

большой скоростью — перелез через забор к соседу. Филат смутился, как будто он был виноват, и отошел еще дальше от стола. Вышла хозяйка и спросила:

— А где же Захар-то?

— К соседу чего-то кинулся!

— А кто молочный кулеш расплескал? Ты, что ль, хватаешь, не дождешься никак, — ведь он вар!

— Я не брал, — сказал Филат, — это хозяин покушал.

Но хозяин пропал и пришел не так скоро. Он обошел длинную улицу с обеих сторон и тогда вошел в калитку на свой двор. Филата тяготила немощь от голода, но он терпел. Хозяйка поймала курицу, которая квохтала и хотела сесть наседкой, и окунула ее в кадку с водой, слегка попарывая хворостиной, чтобы курица бросила свою блажь и начала нести яйца.

Тогда вошел Захар Васильевич и, совсем успокоенный, кротко сказал:

— Давайте обедать — все нутро сжег!

Аккуратней и меньше всех ел Филат. Он знал, что он всем чужой и ему никто не простит лишней еды, а в будущий раз — откажут в работе. За обедом Захар Васильевич по глухой привычке

иногда спрашивал:

— А?

Но евшие молча чавкали, и разговор не начинался. Когда хозяйка дала говядину, то Филат присмотрелся к своему куску и начал копать его пальцами.

— Чего ты? — спросил Захар Васильевич.

— Волосья чьи-то запутались! — ответил Филат, стеснявшийся своей брезгливости.

— Пищей гребуешь! — сказал хозяин. — А ты глотай ее — пущай она потом в пузе разбирается!

Здесь Захар Васильевич добродушно поглядел на жену: дескать, ничего, дело терпится!

Хозяйка разглядела волосок на мясе Филата и раздраженно заявила:

— Да ты небось сам его приволок своими погаными руками — у меня таких длинных и нету!

Захар Васильевич сейчас ел мягкую кашу, но спешил, как зверь, стараясь захватить побольше.

— Хо-хо-хо! Да что ты, Филат, одного волоса испугался — у твоей присухи сколько их будет! Весь век во щах ловить будешь!..

Филат стеснительно улыбался и давно проглотил волос, чтобы не обижать хозяев.

— Захарушка, правда, нынче каша хорошо

упарилась? — нарочно ласково спросила жена, чтобы муж забыл поскорее про нечистоплотный волос.

Хозяин тогда медленно начал жевать кашу, чтобы взять ее достоинство, и дал среднюю оценку:

— Каша — терпимая!

Тут отворилась калитка и вошел пожилой человек — с кнутом в руках, но без лошади.

Захар Васильевич, не ослабляя своей работы над обедом, дал человеку подойти к столу и потом спросил:

— Ты чего, Понтий?

Человек помолчал, снял зимнюю шапку, на кого-то перекрестился и степенно сказал:

— Ну, здравствуйте! Приятного вам аппетита! — и замолчал; а Филат ожидал, смотря на его приготовления, что он сейчас расскажет бог знает что.

— Здравствуй! — приветствовал гостя хозяин и, рыгнув, положил ложку: — Будя, натрескался! Ты насчет ямы, Понтий? Теперча не нужно: Филат намедни горстями по лопухам все расплескал! Хо-хо, Филат жуток на расправу!

Человек с кнутом еще постоял и ушел не сразу.

— Так, стало быть, теперча не нужно?

— Нет, Понтий, Филат живьем все унес! — от-

ветил хозяин.

— Ну, а когда дело будет неминуемо — нас не забывайте, Захар Васильевич!

— Ну еще бы, Понтий! Только бочку полней наливай и черпак возьми не худой, а что тебе Макар заново справил!

— Да уж чего там, Захар Васильевич! Возкой не обижу! Прощевайте пока!

— С богом, Понтий! По улицам добро не проливай — вонь от тебя с малолетства помню!

Но Понтий не услышал последнего напутствия: его кнут раздражал собак — и дворовый Волчок моментально начал лаять, как только Понтий отошел от стола.

Это был Пантелеймон Гаврилович — хозяин слободского ассенизационного обоза, самый богатый и самый скромный человек во всей слободе. Для простоты и из уважения к нему люди его звали Понтием. Работал Понтий с семи лет на одном и том же деле, ел с рабочими один хлеб и много лет не спал ночей, подремывая лишь на передке дрог с бочкой, когда обоз выезжал из слободы в глухой дальний лог.

— Вот тебе бы золотарем стать — хлебное дело! — говорил после обеда Захар Васильевич Филату и задумывался — как будто и сам не прочь

стать им.

Но Филат и раньше думал про это занятие, только выходило, что ему нужно сто рублей на лошадь и дроги с бочкой. Если бы рубашки и штаны не носились, тогда через пятнадцать лет у Филата очутились бы эти сто рублей, а иначе не будет денег.

Макар два вечера в прошлом году при лампе считал и говорил Филату:

— Нет, брат, капитал нужен велик; если бы ты харчи не натурой получал, а деньгами… то и тогда, скажем, тебе полтора года следует не есть либо пять лет голодать — выбирай сам! Вот тебе и будет лошадь при дрогах!

До позднего вечера, пока комары силу не взяли, Захар Васильевич с Филатом кончали задний плетень. Пахло навозом и кислотой давно обжитой почвы, но и этот воздух казался благоуханием после духоты низких жилищ — и в Захаре Васильевиче он разжигал аппетит на ужин.

Ужинали они под той же сиренью. Чуткий вечер во всеуслышание разносил голоса соседей и отпирал все тайные запахи дворов. Захар Васильевич пил парное молоко и наслаждался мирной жизнью и грядущим сном. А Филат обошелся без молока — поел только хлеба с огурцами

— и слушал голос соседа Теслина, что заклинал доску под живопись на завтра. Это случалось каждый вечер — все знали и уже не слушали, но хозяйка Захара Васильевича сказала:

— Вон Василь Прохорыч опять забубнил! Ты где ляжешь — со мной или в сенцах?..

Захар Васильевич ответил, что в сенцах — от жары чего-то мочи нет. Теслин писал церковные иконы, но, веря в Бога, он не верил в животворящую силу своего таланта. Поэтому готовую доску — для божественного изображения — он не сразу пускал под кисть, а сначала троекратно прикладывал к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:

Пропа'хни жизнью,
Пропа'хни древом,
Пропа'хни девой…

Делал это Теслин почему-то обязательно в погожий вечер, а в ненастье копил доски до освящения их на жене, но кистью ранее того не малевал. Ни одной иконы никто из соседей никогда не видел: через знакомого в монастырской ризнице Теслин сбывал их в дальние села и в северные скиты. Это и хорошо, потому что слободские богомольцы не стали бы молиться

на такие святотатственные иконы — с живота бабы.

После ужина все жители обязательно выходили на улицу и садились на лавочки у домов — посидеть. Вышел и Филат с хозяином и хозяйкой. У хозяйки рос живот, и Захар Васильевич ждал к ноябрю мальчишку: говорил, что дом поручить после смерти некому и что фамилию Астаховых учредила Екатерина Великая — проездом по этим местам. Захар Васильевич два года боялся, что ему от царя достанется, если потомства не будет — пока жена не почала: тогда утихнул совестью и повеселел на дому. Филат не знал — не то это правда, не то Захар Васильевич зазнался от своего положения, — но ничего не спрашивал.

На лавочке уже сидел какой-то молодой, но толстый мальчик. Его знали немного: Володька, сын железнодорожного жандарма с другого конца улицы.

— Подвинься-ка, барчук, — сказал Захар Васильевич.

Тот не подвинулся, а встал, оскорбил и ушел:

— Налопались, уроды, да вышли!

Тогда все трое сели, и Захар Васильевич громко заикал, но ничуть не беспокоился об этом, а заговорил с женой о ягодах на варенье:

— Ты, Насть, вишню теперь волоком волоки, иначе не уцепишь — цена на ее пойдет! Она долго не держится!

— Я бы малинки хотела маленько прикупить — маловато сварили, на зиму не хватит — ты пить здоров, тебе только подавай!

— С малиной время терпит — ты смородину не упусти!

— Знаю, знаю, заказала одному мужику — в пятницу привезет.

— Ты молоко-то отнесла в погреб? Скиснет!..

— Не скиснет, — сейчас пойдем ложиться — отнесу!

— Завтра керосину купи полфунта — опять клопы в койке…

Филат сидел и дышал — у него ничего не готовилось впрок, — и он мог свободно умереть, если работа перемежится недели на две. Но он никогда не помнил об этом, а прожил нечаянно почти тридцать лет.

У Теслиных тоже сидели, только на завалинке: у них не было скамейки.

Завечерело совсем — и не было видно лица у старушки, которая только что вышла из дома Теслиных. Напротив дома Теслиных также сидели люди и что-то бормотали в темноте. Старушка

от Теслиных ласково сказала туда:

— Никитишна, здравствуй!

С лавочки напротив раздался певучий ответ из щербатого рта:

— Здравствуй, здравствуй, Пелагей Иванна!

И обе старушки смолкли, потому что все было заранее переговорено: сорок лет знакомы, тридцать лет соседями живут.

Сверчки напевали свою вечернюю песню, отчего на улице становилось уютней, а на душе покойней. Вдалеке иногда шумели поезда железной дороги, но ни в ком не вызывали ни чувств, ни воспоминаний, потому что никто не ездил по железной дороге. Ежегодное путешествие, совершаемое половиной людей из слободы, было пешим: сопровождение крестного хода из ближнего Иоакимовского монастыря до раки преподобного Вараввы — восемьдесят верст по степному тракту. Еще бывали путешествия на подводах — в ближние деревни на престольные праздники, где гости объедались грубой громадной пищей и иногда кончались.

В садах слободы что-то тихо брюзжало и наводило жуть. Ночные сады — страшное видение, и никто из жителей слободы там летом не спал, несмотря на свежесть воздуха. Днем деревья

стояли зелеными и кроткими, а ночью ужасали трепетом своих фантастических кущ.

— На покой пора! — объявил Захар Васильевич и поднялся, чтобы закончить сегодняшний день.

Филат лег на дворе у сарая — на куче травы, которую он заготовил впрок на все ночи у Захара Васильевича. Ни одна слободская усадьба уже не жила наяву — все почивали или, шепча молитвы, укладывались.

Филат до тех пор смотрел на непонятные звезды, пока не подумал, что они ближе не подойдут и ему ничем не помогут, — тогда он покорно заснул до нового, лучшего дня.

3

Там, где Ямская слобода кончалась порожним местом, на которое валили без спросу всякую житейскую чушь, стояла старая хата вольного мастерового Игната Княгина, по-уличному — Сват. Хата имела одну комнату и одного жильца.

— Женись! — приставала многосемейная слобода к каждому холостому человеку — и к Свату. — Не торчи перстом!

— Я те женюсь! — отсекал подстрекателю Сват. — Я сам человек со значением — на что мне бабье потомство!

Сват был пришедший человек, а не здешний. Поэтому ему досталась нежилая хата на слободской свалке, где до него жили женатые нищие; но Сват их живо выселил, и побирушки рассеялись неизвестно куда, а в слободе сразу извелось нищенство.

Такой энергией Сват сразу привлек к себе добродетельных домовладельцев из слободы, и те больше не боялись ставить молоко в сенцах. А раньше, бывало, нищие ходили и самовольно выпивали это молоко, поставленное к обеду, и еще многое подъедали, не для них приготовленное. Понятно — это нехороший порядок, и хозяева развели собак на каждом дворе, но собаки постепенно привыкли к нищим и не лаяли на них.

Тогда явился Сват и лишил главных нищих жилого призора, отчего они, не ожидая зимы, выехали в дальнейшие южные города.

Слободская свалка, составлявшая как бы усадьбу дома Свата, была знаменитым местом. Сам дом Свата был тоже когда-то свалочным жильем — без оконных рам, без печки и без потолка: одни стены и редкая железная крыша. Дом некогда принадлежал неизвестному бобылю, теперь давно умершему. Слободской староста определил цену этому беспризорному недвижимому иму-

ществу в восемь рублей сорок три копейки, но в казну поступают имения лишь дороже десяти рублей — так дом и остался ничьим, а впоследствии им овладели нищие. Сват хотя и изгнал нищих, но уважал их за одно, что они привели дом в жилой и гожий вид.

— Да это делалось не от ума, а от зимней вьюги! — объяснял он себе домовитость нищих.

Однако выселенные люди ушли не сразу, а месяца два громили по ночам окна камнями и поджигали деревянную дверь. Но Сват одиноко выдерживал осаду, а на заре, когда нищие уставали от штурма и засыпали на близлежащих кучах мусора, Сват делал вылазку. Он не мстил обездоленным, а только заставлял их исправлять ошибки неразумного поведения.

— Клюшник! — подходил Сват к которому-нибудь сонному нищему: он их всех изучил поименно. — Расшивай рублевку — ты оконную раму повредил!

Клюшник сразу догадывался, в чем дело, и поэтому никак не мог проснуться. Баба его давно проснулась и хлопала глазами от ужаса, а муж ее лежал и притворялся, изредка бормоча не относящиеся к делу слова. Сват стоял и терпеливо предлагал Клюшнику уплатить рубль. А нищий

то откроет глаза, то закроет — и ничего будто не понимает. Тогда Сват брал где-нибудь строительный кирпич и швырял им молча в голову нищего, но так ловко, что кирпич только обжигал воздухом ухо, а в голову не попадал.

— Расшивай рубль, сатана! — грозно гремел огромный Сват.

Жена нищего, визжа и приговаривая, вскакивала и расшивала из захолустий юбки рубль. Сват, получив причитающееся, отставал и уходил разыскивать в кучах следующего должника.

Наверно, Сват был раньше метким солдатом или фокусником на деревенских ярмарках, что так ловко и безвредно мог бить в опасные места.

Отучив нищих, Сват занялся беспримерным делом: отысканием в свалочных кучах драгоценных вещей. Только чужому, приблудному человеку могло прийти в голову такое соображение. Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от деда и завещались будущим людям. Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так, на потомственном накоплении — только и держалась слобода. Но Сват не знал, что в слободе люди

живут не заработком, а жадностью, и надеялся сыскать на свалке кое-что общеполезное, чтобы сбывать и кормиться.

Прокопавшись с неделю, Сват догадался, что ему надо или бежать отсюда, или умирать с голоду — в отбросах скупости не попадалось драгоценных потерь. Все-таки Сват надеялся хоть на что-нибудь и рыл руками кучи, изучая в точности каждый предмет. Но кости были обглоданы так чисто, словно обожженные, и так тонки, точно принадлежали курице, поэтому их не брали сборщики костей и тряпок; несомненно, что и эти кости предъявлялись сборщикам и пошли на свалку только после неоднократных отказов их.

Тряпичная ветошь дымилась на пальцах и явно не годилась больше ни в какую отделку. Неведомый прах сыпался в горстях Свата, тоже ничем его не привлекая.

В ветреные дни все это забвенное дерьмо пылило и осаждалось где-нибудь по ту сторону хозяйственной жизни человека. Но Сват не успокоился: он выпросил у одной вдовы огромное прямоугольное сито — принадлежность веялки — и начал сквозь него просыпать все кучи по очереди. Оставшиеся сверх сита предметы он, не изучая, относил в домашний угол, а по вечерам

рассматривал добычу. Первый вечер не принес ему никакого утешения: в добыче значились куски твердого закоснелого кала, изжившие себя мочалки, четверть подошвы от валенка, какая-то жестяная зазубринка в два зуба, махор с чепца или камилавки, два камушка, веточка с сухими ягодами — «бесево», крошево бутылочного стекла, окамелок веника, птичье гнездо и многое иное, но равно дешевое.

Сват в задумчивости сидел до полуночи, а к заре окончательно поник от беспросветной нужды.

— Буду шапки делать — скоро осень! — сказал он себе утром. — Может, что выйдет! В слободе шапок не готовят, а в городе они дороги, а я по дешевке их буду шить из старых валенок, абы голову человеку грело!

Днем Сват ходил в город — продал сапоги и зипун, — а под вечерний благовест уже был в слободе. За плечами у него держался мешок, в руках палка от собак, а в кармане четыре рубля и два гривенника.

— Валушки ношеные, старые, чиненые здесь покупа-аю! — кричал Сват чужим голосом и озирался на окна и калитки.

Часа два ходил Сват с одной и той же песней — и все зря: ничего не купил. Только раз высунулась

из ворот баба в нижней юбке и с намыленными руками:

— А расколотые утюги не берешь?

— Нет! — сказал Сват.

— А чего же ты берешь?

— Валенки!

— Так кто ж тебе их продаст, на зиму-то глядя! У-у, бестолковый пралич! Ты б утюги брал аль вьюшки печные чинил!..

— Того не надо мне! — говорил Сват. — Иди стирай подштанники, а меня не учи: я сам ученый, сученый, крученый, моченый, печеный, драченый… Валушки ношеные, старые, чиненые — здесь покупа-аю!

Баба пучила на проходимца одеревенелые, напуганные глаза, а потом в сердцах хлопала калиткой.

«Хлеб только собрали — какая же зима? — думал Сват. — До чего ж тут народ заботлив — вперед времени идет!»

Филат с Захаром Васильевичем в это время закончили плетень. Но чтобы работнику вышел полный день и оправдать его ужин, Захар Васильевич нашел дело:

— Филат, прочеши плетень, чтобы он не пушился, а потом к Макару сбегаешь за ведром — он

ушко приделал!

Филат пошел вдоль плетня, чтобы вправить внутрь торчащие хворостины, а иные лишние изъять прочь. Плетень от такой правки получался ровный и плавный, а каждый свиток прутьев лежал уместно. После такого дела Филат надел валенки, чтобы не бередить израненных плетнем ног, и тронулся к Макару.

Сват к этому часу купил пару валеных опорок и шел знатной походкой. К такой походке его располагало плотное, стройное тело и выправка прежней, неизвестной жизни. От радости первой удачи Сват неугомонно орал свой призыв к продаже валенок.

Филат шел навстречу ему враскорячку — он никогда не служил в солдатах и не видел в жизни ничего строгого, точного и мощного.

— Скидай валенки, Филат! — сразу предложил Сват и стал в уме определять цену.

— Для чего, Игнат Порфирыч? У меня ноги в ссадинах, а от худобы желваки пошли!

— Что ж ты худой такой? — серьезно спросил Сват и положил наземь мешок. — Некормленный, что ль, живешь или сам больной?

— Да я, Игнат Порфирыч, к вечеру слабну, а по утрам встать не могу…

— Говядину-то часто ешь, сны по ночам видишь? — снова спросил Сват и с мрачной задумчивостью оглядел всего Филата.

— Снов я не вижу, Игнат Порфирыч, мне думать не о чем, а говядину хозяева сами едят — ее не укупишь, говорят, — а мне овощ порцией дают!

— Ишь сволочь какая! — не со злобой, а с горем проговорил Сват. — От овоща в человеке упора нет!.. А там, черти-дураки, кровь проливают…

— Где? — спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.

— Где — не на бабьей бороде: на войне! Слыхал ты что-нибудь про войну иль тут анчутки живут?

— Слыхал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недомерок есть — бумагу на руки дали, так и хожу с ней — боюсь заховать куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетником стал, а кто белобилетник.

— Знаю, тут ямщики живут — екатерининские помещики! Им что: мужик к зиме всего доставит!

— Это правильно, Игнат Порфирыч, осенью обозами прут!

— Ну ладно, черт с ними! — закончил беседу Сват и после молчания кратко определил насе-

ление Ямской слободы: — Глисты в мужицких кишках — вот кто твои хозяева!

Филат не сообразил, но согласился: он не считал себя умным человеком.

— Ты кроток, но глуп — не особенно! — успокаивал Филата Сват.

— Да мне что, Игнат Порфирыч, весь век одними руками работаю — голова всегда на отдыхе, вот она и завяла! — сознался Филат.

— Ничего, Филат, пущай голова отдохнет, когда-нибудь и она задумается! — говорил Сват и шумно выдыхал воздух, скорбя всею грудью. — Ты у кого работаешь-то сейчас?

— Да у Захара Васильевича нынче плетни кончили в саду, а завтра пойду по дворам напрашиваться!

— Ты вот что — приходи ко мне шапки шить, а там видно будет!

— Аль ты умеешь? — усомнился чего-то Филат.

— Можем. А ты поймешь?

— И я справлюсь! — подобрел Филат и пошел наконец к Макару за ведром. А Сват тронулся дальше опрашивать слободу насчет валенок.

Два человека сидели на земляном полу в хате Свата и ладили из стволов валенок зимние шапки. Работали они уже целую неделю, а сделали

всего четыре шапки. На обед им шли хлеб, огурцы и капуста, но они были довольны; только от скуки дикого ландшафта свалочной пустоши и какой-то тесной темноты в сердце Свату иногда казалось, что солнце навсегда померкло — и он проверял его взором в окно, а солнце заходило за облачко, освобождалось — и вновь светило.

— Перетерпело, сволочь! — говорил о солнце Сват. — Вот, подлюка, над всякой жизнью светит — ничего не ценит: хуже скота!

Вечерами они не отдыхали — Сват спешил к Успенской ярмарке, чтобы хоть немного выручить денег и облагородить себя и Филата в одежде.

Когда становилось по-ночному темно, Сват кончал первым и говорил:

— Будя, Филат, — ноги свело, в душе морщины пошли! Достань из мешка хлебца — пожуем, и аминь!

В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды.

Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел, как внутрь огромного туловища земли уходило ее гремящее, бушующее сердце и там во тьме продолжало

трепетать до утреннего освобождения. Свату нравилось это ежедневное событие, а ничего удивительного не было.

Спали они жутко — от усталости и общей тяжести жизни.

4

Подружился Филат со Сватом теплее кровного родства и думал навек остаться у него шапочным сподручным, если Сват преждевременно не прогонит.

Зато без Филата на слободе многие дела пришли в запустение: поздно обнаружилось, что Филат был единственным и необходимым мастером, способным пользовать всякое дворовое хозяйство. Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было. Иные хозяйки приходили к Филату на свалку и стучали в окошко.

— Филатушка, ты бы зашел: крыша мочится, в самоваре решетка провалилась!

По доброте сердца Филат никому не мог отказать.

— Как управлюсь — зайду, Митревна! В воскресенье жди обязательно.

Сват обижался на сговорчивость Филата.

— Чего ты этих юбошниц приучаешь? Мало

они тебя порцией овощи кормили! Дурной идол!

Раз зашел Захар Васильевич, оглядел шапочное занятие и попросил:

— Зайди, Филат, жена двоих снесла — не знаю, куда деваться! — И ушел, не услышав по глухоте ответа Филата.

— К этому сходи! — сам сказал Сват. — Человеку действительно трудно!

В воскресенье Филат явился к Захару Васильевичу. Бледная, омертвевшая хозяйка лежала на деревянной кровати, на которой от клопов в обыкновенное время не спали. Филату стало жалко хозяйку, и он молча глядел в ее тонкое, благородное лицо.

— Ты что, Филат? — мучительным шепотом спросила хозяйка. — Пришел?..

— Пришел, Настасья Семеновна… Может, вам помочь нужно…

— Ах, мне ничего не надо, Филат. Спроси у Захара!

Филат почувствовал стеснительную неловкость от своего бесполезного участия и ушел из горницы. Ему было чего-то жалко и совестно, как будто он повинен в мучении Настасьи Семеновны. Тело его ломило от нервной боли, и он горел от непонятного тягостного стыда, какой

случался с ним в ранней молодости. Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. Но такого не случилось ни разу — и Филат волновался и трепетал сейчас от чужой брачной тайны.

Захар Васильевич ходил добрым и негромко указывал:

— Филат, наноси воды на ночь!.. Курам не забудь пашенца дать к вечеру!

Филат и сам следил за всем в такой день. В неугомонной суете ему всегда жилось легче: что-то свое, сердечное и трудное, в работе забывалось.

Про это и Сват однажды сказал:

— Работа для нашего брата — милосердие! Дело не в харчах — они надобны, но человека не покрывают! В работе, брат, душа засыпает и нечаянно утешается!

И Филат нынче с яростью мел двор, сделав все остальное, о чем мог догадаться. Захар Васильевич выходил редко — все сидел в горнице около жены. Это тоже почему-то радовало Филата. «Си-

ди, брат, — думал он, пыля метлой, — я уж тут сам управлюсь, я один, а вы — двое: не обижай жену!»

До полночи бродил по двору Филат, следя за тишиной и порядком, но всё давно замерло, только одна наседка квохтала на яйцах в сарае.

Что-то тревожило Филата и настораживало на бдительность, но из дома ничего не слышалось, — наверно, Настасья Семеновна уснула и восстанавливала свои силы, истекшие с родовыми кровями.

Утомившись, Филат постелил под дворовой сиренью свой старый пиджачок и склонился ко сну, но спал так чутко, что слышал над головой ход и дрожание ночи. Где-то на слободских пустырях неугомонно брехала собака, ей издалека и одиноко отвечала другая — и лай их жалобно и безответно тонул в густоте тьмы. Филат слышал лай сквозь толщину померкшего медленного сознания, но звук был такой тонкий и грустный, будто шел из неизвестного потерянного мира, — это успокаивало Филата, и он не просыпался. Сиреневая ветка шевелилась над самыми глазами Филата, но ночь лежала плотно и не трогала спертый воздух: ветка колебалась сама — от древесной жизни и внутреннего беспокойства.

Проснулся Филат на ранней крепкой заре — через сени было слышно, как в горнице судорожно плакал ребенок Настасьи Семеновны, в первый раз от рождения. Филат сейчас же поднялся на ноги и пошел по двору, прислушиваясь к странному, жалобному крику.

Скоро ребенок плакать перестал — Настасья Семеновна чем-то материнским ублаготворила его, — и наружу вышел Захар Васильевич с равнодушным, измученным лицом.

— Филат! — сказал он. — Ставь самовар — теплая вода нужна, а позже на базар сходишь и в аптеку!

Филат с особой цопкой ловкостью начал щеплять лучинки, радуясь своей полезной работе для Настасьи Семеновны и цветущему будущему дню.

Слободские жители тоже поднялись и бродили по дворам в поисках разных житейских вещей. Они еще зевали, чесали глаза и жмурились от настигавшего их расцветающего солнца. В этот ранний прозрачный час у каждого человека в груди томится восторг, но позже — часам к десяти — у радости вышибается дух домашним остервенением и злобой всяких забот. На третий день Захар Васильевич назначил крестины, но

с полудня отказал Филату в работе, так как пришли две кумы, которые одни смогут управиться в хозяйстве.

Филат взял пиджак, подвязал веревочкой подошву к валенку и пошел на свалку к Свату. Настасья Семеновна сидела в горнице и тюлюлюкала своих двоешек, а около окон с улицы стояли озабоченные бабы и шептались о таком событии.

Для Свата и Филата зима бы прошла плохо, если бы они не были так дружны. А для слободы она тянулась долго и худо: война звала мужчин, а жены вдовели и тосковали. Но пропадало народу не так много: вблизи слободы уже лет десять строилась и чинилась какая-то железная дорога — и там укрывались люди от военной службы.

Захар Васильевич тоже поступил кровельщиком на железную дорогу и с утра уходил на работу, набирая в мешок харчей. Труд, видимо, томил его, и он жил с осунувшимся, оскорбленным лицом.

— Игнат Порфирыч, а почему вы не на войне? Вон малый у Гладких — такая худоба, и то забрали! — спросил однажды днем Филат у Свата.

— Э, куда ты вдарил, браток! — хитро засмеялся Сват. — Я человек на исходе: у меня контузия в

голову — помаленьку с ума схожу!

Филат открыл рот и сказал:

— А-а! А с виду вы человек умный, Игнат Порфирыч!

— То-то я и шапки с тобой из ветошек леплю — вошь на чужой башке утепляем! А был бы дурак — я бы в окопах под царем и отечеством лежал.

Филат опять открыл рот, но не сообразил, что дальше спросить.

Вечером, укладываясь спать, Сват сам сказал с попонки:

— Я, Филат, ушел с войны по своему желанию! Дюже там скорбно, и своя жизнь делается ни к чему. Только ты никому зря не сказывай!

— Да мне что, Игнат Порфирыч! — испуганно и поспешно ответил Филат. — Ай мне нужно? Только вы сами напрасно кому не скажите, что мне открылись! А то мне первому достанется!

— Что ж, я сам на себя буду, что ль, наговаривать, курья твоя башка? — зычно обиделся Сват и разжег потухшую цигарку.

И весь разговор забылся.

5

Рано смеркались серединные дни зимы, бесшумно и забыто лежал снег на равнине. Ямская

слобода жила — не дышала, а Сват и Филат с прежней неукротимостью шили шапки, хотя чувствовали, что скоро шапкам конец и чем тогда заниматься — неизвестно.

— Пойдемте, Игнат Порфирыч, в ночные сторожа — в колотушечники! Милое дело — ночью караулить, а днем отдыхать! Только пока Прохор с Савелием не помрут, нас не возьмут — они давно живут в колотушечниках и их слободской староста любит!

— Нет, Филат! — заявил Сват. — Я в твои колотушечники не пойду. Лучше я буду днем в пустую бочку суковатой палкой задаром колотить, а в сторожа не пойду! Я еще свежий мужик, что ты меня в старики сдаешь? Мы еще обождем!

Шапочная работа еще кое-как шла, и сбыт был. Обыкновенно покупали шапки дальние мужики, но дело уже клонилось к весне, и шапки можно было брать только в солку, впрок, до будущего года. Несмотря на усердие в работе и экономную пищу, Сват и Филат ничего не заработали в запас, так что после шапок хоть дворы иди громить.

Заходит раз к шапочникам незнакомый мужик и спрашивает с порога:

— А картузы вы делать можете?

— Можем! — ответил Сват, чтобы завлечь че-

ловека.

— И козырек с глянцем сумеете сообразить?

— Можем и глянцу достать, если сто картузов себе купишь у нас! — сообщил Сват.

Мужик ехидно засмеялся и сел на лавку, опытно поглядев на шапочных мастеров. Он снял картуз, на котором был козырек без глянца, и сведущим голосом упрекнул:

— Черти-чудаки! Да разве глянцевого лаку теперь достанешь где — он из Германии раньше вагонами шел! Кого вы учите-то, вошебойщики? Я сам весь век картузник! А теперь будя дурака гладить, я и под картузом знаю, что находится!..

Загадочный мужик так чего-то разобиделся, что не мог смирно сидеть и начал рассматривать самый материал, из которого Сват и Филат делали свои незавидные шапки.

— Да разве это материал? Это — злодейство! Чем вы мысль-то, чем вы голову-то человека защищаете? Ведь это же валенок — он же пот копит и когти прячет, а вы самую голову задумали им украшать! Черти, холуйщики!

Сват живо раскусил гостя:

— Слушай, друг, а ты не с фронта, — в голову не контужен?

Мужик немного смирился:

— Оттуда… Газом в ум шибануло! Отпущен околевать домой. Все равно я без глянца работать не могу — туманный козырек ореола голове человека не дает! Как же можно?

— Мы сейчас есть собирались! — сказал Сват. — Садись, солдат, покушать!

— Давай, если угощаешь! — согласился гость. — Только достань мне молочка — хлеб макать; я тюрю такую дома едал и страсть соскучился по ней…

— Достанем и молочка тебе! — добрым голосом угощал Сват. — Чего-чего, а молочко есть! От станции-то пешком домой прешь?

— Конечно, пешком! — без обиды и тихо сказал гость. — У солдата откуда деньги? А даром кто меня повезет?

Прошел день, ночь, и новый день уже постарел, а гость обжился и позабыл уйти, хотя башмаков не снимал. Он присел к Филату и умело кроил валяный материал. Сват не препятствовал хорошему человеку, только окорачивал его в еде. Действительно, гость кушал очень лихо и терял рассудок от аппетита, так что Филату мало доставалось.

— Уйми жвало, едок! — говорил Сват гостю. — Тут не ты один кормишься! Ишь, всю кашу в один

мах пробузовал!

Гость немного укрощал себя, а потом снова забывался и потел от напряжения скул.

— Ты, должно быть, в работе горазд, раз есть так можешь? — спросил Сват.

— Ну еще бы! — подтвердил гость. — Весь на мускуле стою — по семь дней на фронте черепа, не спавши, крушил! Меру картох с товарищем в присест съедал!

— А на шитье-то ты усидчив? — любопытствовал Сват.

— Это для меня пустота! — заявил гость. — Это я могу неотлучно неделями сидеть, лишь бы хлеб рядом лежал!..

В слободе кротко звонили к вечерне, а три друга утомлялись за работой. Чтобы перебивать усталость, Сват время от времени пытал гостя:

— Ну а что ж ты у нас обосновался? Аль у тебя родных нет?

Гость спохватывался и сообщал:

— Была жена да теща: жена ребенка заспала и сама удушилась на полотенце, а теща теперь на паперти с рукой стоит! Вот я теперь и тоскую сам с собой: сын бы нужон мне, да жены сразу не сыщешь.

— Зачем тебе сын? — удивился Сват. — Ты сам

хлеба не ешь — мученика хочешь родить?

— Ну а то как же? — ничего не понимал гость. — Мне теперь не жить, и никому не цвесть — то война, то забота, — нет ничего задушевного. А сын малолетства не запомнит, а вырастет — тогда будет хорошо…

Сват сомневался:

— То никому не известно! Может, тогда еще больше увечья будет!

— Нельзя, я тебе говорю! — злобно заспорил гость и встал с пола. — Немыслимое дело! Я только молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет! Я весь заржавел от скорби — не знаю, куда мне деться! Ты думаешь — я с радости у тебя на пол сел за твои шапки, дырявая голова!.. Я на фронте был — там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет! Да разве я дам его какой сволочи! Разве я пущу его на такое мученье, хамское ты отродье, дурак заштопанный? Да я горло гнилыми зубами по швам распущу за такое дело — любому сукину сыну — в полмомента!..

Сват сидел и улыбался, довольный, что задел гостя за живое нутро. А гость подышал немного, собрал разбежавшиеся от возбуждения слова и снова принялся бить:

— Бабьи ублюдки, недоноски чертовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтоб верность такой выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь — расчешет в культяпой голове иную выдумку и почнет дальше народ замертво класть! А это всё чтоб одной правде все поверили! Да будь вы прокляты, триединые стервы!

Гость плюнул жидкими слюнями и треснул по плевку австрийским опорком.

Сват тянул дым из цигарки и весь светлел от удовольствия:

— Верно, друг, правильно! Живи у нас теперь задаром — я не знал, что ты такой!

Филат тоже радовался новому человеку и заговорил от себя:

— У кого есть родня дома, тот скучает на войне… А жена с сыном жальчей всех ему…

Загостивший солдат обратил внимание на Филата и, заметя его слова, открыл свою новую мысль:

— Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, и один дороже другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить… А сверху глядеть — один ров-

ный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом отплачивать будут?

Гость говорил и жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и сплачивал родственников густой нераздельной кровью. Под конец он успокоился и тихо сообщил:

— Дюже много люди умственно соображают — это всем бедам беда…

— Да что ты, друг! — чуть ухмыльнулся Сват. — А я думал, ум нам в нужде помощник!

Гость подумал дальше:

— Когда помощник, то хорошо, а то его на жадность тянет — вот где горе! Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут…

— Оставайся! — окончательно сказал Сват. — Проживем и втроем — не объешь!

Гость сейчас же стал разуваться и протяжно вздохнул, как дома. В первый раз он оглядел все жилище и нашел его удобным, потому что почувствовал такую усталость, которую не выспать за многие ночи подряд.

— Ишь! — сказал Сват ночью, когда гость спал. — Благородные люди думают, что мы рожаемся да жрем, а он вон живет и мучается, и

в голове у него бурчит…

Филат дремал и думал о госте, что тяжко ему было сына и жену хоронить, — хорошо — у него нет никого, — и, не осилив себя, заснул.

Ночи понемногу кратчали, а нужда шапочников длиннела — товар перестали брать. Снег начал отапливаться солнцем и желтел от проступавшего прошлогоднего навоза. Иногда дни сверкали лучше летних — белизна замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню — и чистый воздух остро мерцал от колкого холода и тягучего тепла.

Слобода жила зажмурившись — война подсушила благополучие ямщиков, и люди не хотели в такое время замечать роскошь новой весны.

Захар Васильевич тщательно работал на железной дороге и боялся одного — снятия с учета и отправки на фронт. Два мальчика его росли, но отец любил их грубо, ничем не баловал и не ласкал.

А Настасья Семеновна обмирала о детях и так боялась за своих первенцев, что постоянно мучила их лекарствами, трепеща до ужаса от детского поноса.

Макар шорничал и любовно готовился к летнему кузнечному ремеслу, заранее вкушая прелесть

открытых летних дней. Прочие люди также жили толково, каждый надеясь на что-нибудь лучшее и легкое.

Сват радовался увеличению света и тепла на дворе, но немного кручинился и завидовал мертвым неподвижным вещам: им незнакома была забота о еде и благополучии, они жили в каком-то покое и полном отдании себя.

— Летом с голоду и нарочно не умрешь! — говорил гость Миша, узнав про заботу Свата. — Можно голубей бить, рыбки сходим наловим, зелени съедобной надергаем — вот и суп и уха, а на второе блюдо — гуща!

Однако Сват загодя отправил Филата на его прежний заработок в слободу.

— Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружились мы с тобой, но сам видишь — втроем невтерпеж, а Мише некуда деваться!

Второй день мастера уже ничего не делали, а нынче Миша сходил за хлебом на последний пятак и то не мог донести хлеб в целости до дома — весь по дороге исковырял и выел мякушко.

— Ну-ка что ж! — сказал Филат. — Пойду по дворам наведываться — где-нибудь останусь! А к вам, Игнат Порфирыч, в другой раз буду побалакать приходить!..

6

Весна негромко проступала сонной мокрой землей на всяких вздутиях почвы. Филат шел и радовался, что у него есть знакомый — Игнат Порфирыч, и дом на свалках, куда можно всегда пойти.

Устроился он у Макара — доделывать четыре хомута и караулить кузницу, а сам Макар поехал по железной дороге наменять угля для горна. Многие люди в слободе говорили, что нельзя достать необходимых вещей, но ни Сват, ни Филат, ни Миша ни разу не имели нужды в таком предмете, который бы пропал из продажи. Поэтому только в слободе Филат понял, что такое война и ее сосущая, обездоливающая сила.

Слобода от сырости и отсутствия ремонта вся побурела и скорбно глядела запавшими окнами, как человек впроголодь. Собаки похудели и ночью молчали. И все шло в какую-то прорву; даже Филату жалко стало, и он готов был работать за самую плохую еду. Но Макар оставил ему пищи достаточно, потому что зимой занимался нужным ремеслом, работал на мужиков и в пище себе не отказывал.

Макар не возвращался долго, и Филат скучал

без дела — хомуты он давно пошил. Каждый день он ходил к Свату и Мише: тем совсем было худо, и они существовали только тем, что Филат приносил из своих остатков.

А Филат приносил не остатки, а почти все, что ему полагалось есть у Макара, а себе оставлял одну хлебную горбушку и четыре картошки.

— Да ты сам-то сыт? — спрашивал Сват. — Гляди, съесть нам немудрено, а ты ослабнешь!

— Не ослабну! — стеснялся Филат. — Работы сейчас нету, а на одно дыханье много есть не надо.

Сват обижался:

— Сообразил — дыханье! Ты погляди на Мишу: он тоже одним дыханьем занимается, а может сейчас любого зверя съесть!

— Могу! — лежа подтвердил Миша и вздохнул от аппетита.

Однажды Филат испуганно проснулся. В закоулке кузницы, где он спал, было так темно, что Филат чувствовал себя безопасно. Ночь за бревенчатой стеной укрыла слободу тихой чернотою и спрятала ее из мира до утра. Ничто внятно не тревожилось. Сонные ямщики, должно быть, не раз меняли отлежанные бока. Захар Васильевич говорил Филату при починке плетня, что Нас-

тасья Семеновна как повернется ночью, так он летит на пол.

— Да Настя моя еще не так толста, а у кого баба толстая — вот кому горячка! — рассуждал и смеялся Захар Васильевич.

Но сейчас — совсем тихо; на улице нельзя услышать, как падают на пол мужья от ворочающихся, разопревших жен.

Вдруг Филат вздрогнул и приподнялся, а потом услышал — раз за разом — резкую, скорую стрельбу и смутный шум далекого страха.

Забывший сам себя, Филат никогда не видел окрестностей за околицей слободы, только помнил свою детскую деревню, где рос с матерью. Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем, — и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом, — когда захотел, — уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда.

Поэтому Филат сейчас задрожал и испугался от непонимания стрельбы. Про войну он знал, но вообразить ее не мог ни по каким рассказам Миши.

Стрельба утихла, зато явственно кричали люди. Филат догадался, что это на вокзале, и вышел наружу.

Небо вызвездило, и Филат внимательно оглядел его. В таком внимании к ночному небу жила старая мечта Филата — заметить звезду в то время, когда она отрывается с места и летит. Падающие звезды с детства волновали его, но он ни разу за всю жизнь не мог увидеть звезду, когда она трогается с неба.

Утром приехал Макар, — без угля и задумчивый:

— Царя давно нету — на железной дороге дезертиры бунтуют... А мы сидим — ничего не знаем: народ шпалы со станции тащит, паровозы, говорят, артелям будут раздавать.

Филату эта весть была такой чужедальней, что он не очумел от нее, как Макар, а только молчал от небольшого любопытства. Он смутно чувствовал, что плетни, ведра, хомуты и другие вещи навсегда останутся в слободе и какой-нибудь человек их будет чинить.

К вечеру, как управился, Филат пошел к Свату, но встретил его с Мишей по дороге. Миша-гость шел весело и нес целый хлеб, а Сват глядел сам не свой от скрытого душевного движения.

— Уходим, Филат! — печально сказал Сват. — Теперь прощай, раз слободе мы не надобны.

— Да — ишь сукины дети! — угрожал Миша. —

Хамье чертово: завзяли землю, живут на покое, а ты никому не нужен — ходи, блуждай!

Проводил их Филат до вокзала и попрощался:

— Может, придете когда, Игнат Порфирыч, слободу проведать?

Филат глядел на отбывающих с покорным горем и не знал, чем помочь себе в тоске расставания.

Сват тоже растрогался и смутился. У конца пути он обнял Филата и поцеловал его колючими усами в шершавые засохшие губы, которые целовала только мать, когда они были младенческими. Филат испугался поцелуя и жалобно сморщился от нечаянных, непривычных слез.

— Но, обмокла баба, а то мужиком бы была! — уныло сказал Миша и потянул Свата. — Ну чего ты расстраиваешь человека, — он других людей найдет! Просто он блажной такой!

Филат не сразу пошел к Макару, а дал круг и в тоске добрел до свалки. Хата Игната Порфирыча стояла теперь порожняя и смирная, но Филату казалось, что и стены и окна скучали по ушедшим — и скорбели от одиночества. Живой, милой и дорогой осталась опустелая хата, пропахшая людьми, бросившими ее. Филат постоял, потрогал дверь за ручку — ее каждый день брал Сват;

поглядел в поле — его видел Игнат Порфирыч; прилег на пол — здесь спали они всю мрачную зиму — и отвернулся от душного отчаяния, которое нельзя было заместить никаким утешением.

Ежедневно ходил Филат к своей хате на свалке и издали смотрел на нее привязанными, нежными глазами. Он безрассудно ждал, что дверь отворится, выйдет Игнат Порфирыч с цигаркой и скажет:

— Заходи, Филат, чего ж ты на ветру стоишь! Я всегда тебе рад, кроткий человек!

По ночам на станции иногда стреляли, иногда нет. А слобода запасалась продовольствием, срочно стягивая все недоимки с мужиков за прошлогодний урожай. Захар Васильевич лично ездил в деревню к своему арендатору и наказывал:

— Время, Прохор, мутное, а ты мне пшена должен сорок пудов, вези, пока дорога заквокла, а то скоро распустит, тогда до самой Фоминой недели не просохнет!

— Да я уж не знаю, Захар Васильевич, как и быть? — сомневался Прохор, не теряя учтивости в словах. — Говорят, будто земля теперь даром мужику отойдет и с недоимками дело терпится!

Захар Васильевич моргал от сердечного остер-

венения и слушал клекот своей разгневанной крови. Но говорил спокойно, чтобы осмеять мужика.

— Новая власть не дурей старой, Прохор! Ты не думай, — там дураков сменили, а помещиков поставили — теперь еще крепче земля в их руках зажмется! Оно и верно: ты свой надел тоже даром соседу не откажешь! Революция — это одна свобода, а собственность тут ни при чем, — как была, так и останется!

— Надел — дело малое! — отвечал и раздумывал Прохор. — Не о нем теперча речь. А один солдат меня страшил, чтоб никак не сметь аренду платить, а то новая власть провалится и война вся сначала пойдет…

— Война не перестанет! — заявлял Захар Васильевич. — Война до конца германца будет идти! А о земле новых правов нету, Прохор, ты и думать забудь! А с пшеном не копайся, а то на будущий год на хутора землю отдам, — там народ несходней…

— Да это дело ваше, Захар Васильевич! А с пшеном не задержу; как телегу на ход поставлю, так и буду в слободе… Зря болтают люди, а мы подхватываем, а кто же его знает, — как будет, никому не известно! Завтра на станцию пешим

схожу — солдат поспрошаю!

— Вали, Прохор, поспрошай, ноги у тебя не казенные и башка своя — никому не жалко! — сердился под конец Захар Васильевич и прощался.

Ямщики в слободе загудели. Староста через день созывал сходы и направлял недовольство в законное русло:

— С фронта дезертирии окаянной прет видимо-невидимо: врага отечества свободно пускают внутрь православной земли! Что же теперь делать, православные, когда и мужик даже обнаглел и чужую землю самовольно хочет от владельцев отнять! Таких уставов, по-моему, в законе нету! Но чтоб усечь нахальное самоуправство, нам нынче же надоть всем чином послать бумагу в губернию, чтобы там знали, что делается, и всем под той бумагой полностью и понятно расписаться!..

Филат жил без охоты и усердия — без Игната Порфирыча у него не было никакого интереса. У Макара от смутного времени притихла всякая работа, и он скоро отказал Филату: сам, говорит, видишь — делать нечего, а вдвоем сидеть неважно — ступай по дворам!

7

Посреди слободы стоял двухэтажный старый дом. Около него колодезь, а у колодца круглый сарай — темница для лошади. В той темнице целый день лошадь кружилась на узком месте, таская деревянное водило. На водило закручивались и раскручивались веревки, которые таскали бадьями воду из колодца. Вода сливалась в большой чан, а из чана напускалась в корыта. Из корыта крестьяне, приезжавшие в слободу на базар, поили лошадей по копейке с головы, а люди пили бесплатно.

В двухэтажном доме жил владелец колодца Спиридон Матвеич Сухоруков с женой Марфой Алексеевной и двумя детьми — мальчиками.

Филата Макар на прощанье сытно покормил, поэтому Филат зашел на колодезь воды испить. Но вода из чана не текла, а у двери темного сарая стоял Спиридон Матвеич и злобно глядел на прохожего.

— Колодца не копал, а пить хочешь, бродяжий сын! Подойди-ка сюда!

Филат подошел.

— Куда идешь? — спросил Спиридон Матвеич.

— Вышел работенки поспросить! — ответил

Филат.

Спиридон Матвеич отошел сердцем:

— Бродите вы тут, материны дети, только землю зря ногами карябаете! Иди, я тебя к коню поставлю — мой холуй на деревню бунтовать ушел!

Филат очутился в темном сарае, где, зажмурившись, стояла худая лошадь.

— Чмокай на нее, чтоб она ходила! — сказал Спиридон Матвеич. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пои — бери по копейке с воза, а с иного две!

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы. Изредка она замирала и становилась: тогда Филат на нее чмокал — и лошадь дергала водило.

Шли темные часы, и Филата начала морить тесная и безответная тоска. Он выходил наружу, слушал, как хлопают и опрокидываются в чан полные бадьи, и осматривал пустоту глухой улицы. Видно было просторное поле, где светилась весна, но там ни один человек не шел. Филат грустно вспоминал Игната Порфирыча, но участь лошади, таскающей воду из колодца, была еще беспросветней — и Филату делалось от этого легче.

По ночам Филата клали в чулане, через стенку со спальней хозяев. Отвыкший спать в помещениях, Филат мучился от духоты и пугался потолка — ему казалось, что потолок снижается, как только он закрывает глаза.

Постепенно — навстречу лету — всходила трава и наряжалась в свои цветы молодости. Сады вдруг застеснялись и наскоро укрылись листвой. Почва запахла тревожным возбуждением, будто хотела родить особенную вечную жизнь, и луна сияла, как огонь на могиле любимых мертвецов, как фонарь над всеми дорогами, на которых встречаются и расстаются люди.

Филат с жалостью гонял свою лошадь и задумывался в темном сарае. Лошадь к нему привыкла и ходила без понуканий, поэтому Филат целые дни сидел самостоятельно — без всякого дела, лишь иногда принимая копейки от мужиков-водопойщиков. В ленивом или бездельном человеке всегда вырастают скорби и мысли, как сорная трава по бросовой непаханой почве. Так случилось и с Филатом; но голова его, заросшая покойным салом бездействия, воображала и вспоминала смутно, огромно и страшно — как первое движение гор, заледеневших в кристаллы от давления и девственного забвения. Так что,

когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце.

Иногда Филату казалось, что если бы он мог хорошо и гладко думать, как другие люди, то ему было бы легче одолеть сердечный гнет от неясного тоскующего зова. Этот зов звучал и вечерами превращался в явственный голос, говоривший малопонятные глухие слова. Но мозг не думал, а скрежетал — источник ясного сознания в нем был забит навсегда и не поддавался напору смутного чувства. Тогда Филат шел к лошади и помогал ей тащить водило, упирая сзади. Сделав кругов десять, он чувствовал качающую тошноту и пил холодную воду. Воду он любил пить помногу, она почему-то хорошо действовала на душевный покой — свежесть и чистота. Душу же свою Филат ощущал, как бугорок в горле, и иногда гладил горло, когда было жутко от одиночества и от памяти по Игнате Порфирыче.

В сарай часто забегал Васька — восьмилетний сын Спиридона Матвеича, охальный и умный мальчик. Филат его ласкал по голове и что-нибудь рассказывал. Васька тоже рассказывал, но особенное:

— Филат, мамка опять на горшок садится, а отец ругается…

— Ну пускай, Вась, садится, она, может, больная и ветра на дворе боится! — объяснял Филат.

— Нет, Филат, она нарочно делает, чтоб отцу не продыхнуть: она такая блажная, — правда!

Филат начинал про другое — про Свата и Мишу-солдата.

Но мальчик, послушав, опять вспоминал:

— Мать вчера чугунок со щами пролила, а отец ей как дернул рогачом по пузу… А мать кричит, что у ней краски тронулись, правда! Отец говорит: «Крась крышу, шлюха», — а мать не полезла на чердак, а легла на койку и плачет! Она всегда у нас притворяется!..

Филат мучился от слов мальчика и думал про себя: «Вот нас теперь трое — лошадь, я и мать мальчика». Тоскливое горе раскололось на три части — и на каждого пришлось меньше.

Однажды Васька прибежал рано утром и закричал:

— Филат! Иди погляди — мамка в сенцах опять села, а отец на дворе кулеш поел, нам ничего не оставил!

Филат успокаивал мальчика, но самому было нехорошо.

После обеда Филат пошел в дом — ему нужно было взять денег у Спиридона Матвеича на новую

веревку для бадьи.

Из сеней он услышал дикий издавленный крик Васьки и шепчущий голос его матери, которая хотела, наверно, ублаготворить ребенка и не могла.

— Дай свечку, зараза! — кричал Васька грозные слова, как большой. — Кому я говорю?! Дашь или нет — долго мне дожидаться? А то сейчас самовар на пол свалю, подлая тварь!

Мать ему быстро и испуганно шептала:

— Вась, ну не надо, Вась! Я сейчас найду тебе свечку — ты же сам ее вчера всю сжег… Я пойду за хлебом — куплю тебе новую…

— А я тебе говорю — ты спрятала свечку, проклятая сатана! — хрипел Васька и шевелил что-то гремящее, должно быть самовар.

— Ну, Вась, у меня же нету свечки — я куплю тебе ее…

— А я говорю — дай сейчас же! А то — вот тебе…

За этим загремела медь, и полилась шипящая вода: Васька сволок на пол самовар.

— Я же тебе говорил, чтоб дала, а ты все не давала! — уже спокойно объяснил Васька происшествие.

Филат осторожно открыл дверь и вошел в кух-

ню, чувствуя свое бьющееся сердце и срам на щеках.

На табуретке сидела молодая женщина и плакала, прижав к глазам конец кофты.

Васька сердито глядел на живой кипяток и не сразу заметил Филата, а когда увидел, то сказал матери:

— Ага! Ты что наделала? Я вот отцу скажу — самовар полудили, а ты его на пол! Пусть только отец придет — он тебе покажет!

Женщина молча плакала. Филат испугался больше сына и матери и забыл, зачем он пришел. Женщина торопливо взглянула на него одичалыми черными глазами и вновь спрятала их под веки. Она была худа и очень красива — смуглая, измученная, с лицом, на котором глаза, рот, нос и уши хранились, точно украшения. Неизвестно, как это все уцелело после родов, детей, мужа и такой губительной судьбы.

Другой мальчик, поменьше Васьки, сидел в углу и неслышно плакал вместе с матерью. Филат заметил, что он больше похож на мать — черный, с мягким настороженным лицом, будто постоянно ожидающим удара.

Спиридона Матвеича, очевидно, дома не было — и Филат без слов ушел.

В большие праздники Филат ходил либо к Макару, либо так просто в поле. Макар говорил, что революция, как дождь, стороной где-то прошла, а Ямской слободы не тронула, и больше что-то ничего не видать и не слыхать: не то все кончилось, не то ливнем льет над другими местами.

— Да нам все равно! — беседовал Макар. — На всех богатства недостанет, а вот хлеба скоро не будет, тогда все само укротится!

— А на станции народ все едет? — спрашивал Филат.

— Едет, Филат! Дуром прет — вся война в хаты бежит! Да что ж, не без конца воевать — народ наболелся, теперь его не трожь!

Филат подолгу засиживался у Макара и все интересовался, пока тот не начинал зевать и указывать:

— Ты бы шел, Филат, нам с тобой сегодня отдых полагается, а то меня чего-то на немощь тянет!

Филат уходил и замолкал до будущего праздничного дня.

Зеленый свет лета уже смеркался и переходил в синий — свет зрелости и плодородного торжества. Филат наблюдал и думал о том, что скоро начнут снижаться такие высокие полдни, а лето постареет и станет коричневым, а потом желтым

и золотым — таков цвет седой природы. Тогда слобода опять сожмется в домах и в четыре часа дня будет запирать свои ставни и зажигать керосиновый свет.

Слобода считала дни до уборки урожая и гадала — привезут аренду мужики или нет. Спиридон Матвеич был злой человек, изверг для домашней жены, но имел проницательный ум, когда беседовал с соседями у колодца.

Ямщики приходили к нему даже нарочно — спросить, что он думает о своей земле.

— Теперь земли у меня нет! — отвечал Спиридон Матвеич. — Мужики отъемом взяли — в расплату за войну…

— Да ведь правов-то новых еще не вышло, Спиридон Матвеич! — убеждал себя и собеседника ямщик. — Они хамством взяли, а не по закону!

Спиридон Матвеич мрачно осматривал голову говорившего, на которой остался лишь ободок волос. Он всегда наливался тяжелым гневом против глупости человека.

— Ты волос, должно быть, не от ума терял, а от греха, Ириней Фролыч! Хамство прячется тогда, когда сила царства его пугает, а теперь какое, к черту, у нас царство? Паровозы и то хотели по деревням растащить, а то земля: земля — первая

вещь!

— Значит, ямщикам смерть приходит? — смирно спрашивал Ириней Фролыч.

Спиридон Матвеич делался серьезным до печали.

— Умирать еще погодим, Ириней. Я думаю, расправа будет наша, а не ихняя.

— А аренду-то ждать в нынешнем году аль в будущем?

— Совсем не жди! — говорил Спиридон Матвеич. — И думать забудь — ни с какой арендой мужик теперь не явится, сам чем-нибудь промышляй!

Филат слушал и начинал понимать простоту революции — отъем земли. В ямщиках он давно заметил злую скрытую обиду и большой тревожный страх. Но страх в них день ото дня рос, а злоба таяла и превращалась в смирное огорчение, потому что в мужиках происходило наоборот: обида выросла в злую волю, а воля вела войну с помещиками — пожаром и разгромом.

Ямщики думали, что и слободе несдобровать, но потом поняли, что они — мелкие землевладельцы, а у мужиков и без них много хлопот.

Филат стал сосредоточенней глядеть по сторонам, хотя ничего легкого для себя не ждал. Он

знал, что ворота для него нигде сами не откроются и зимой опять придется лютовать — еще хуже прошлогоднего: тогда хоть Игнат Порфирыч был. Но втайне Филат чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, а сердце все больше разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал — Филат не знал. Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире, как он одиноко догадывался о нем. Иногда — выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую слободу, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы.

Филат не мог, как все много работавшие люди, думать сразу — ни с того ни с сего, он сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громя и изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не отвечала на смутное чувство, от этого

Филат терял равновесие жизни.

В дом Игната Порфирыча Филат ходил редко: там вновь поселились нищие и беженцы, которые даже свалочную площадь сумели загадить. Но тоска по утрате друга у Филата теперь заросла грустным воспоминанием, почти не мучительным. Дом же привлекал не одной памятью о прошлом, но и звал уйти за теми, кто ушел из него. Этот дом как-то обнадеживал и радовал Филата и облегчал его время в слободе, будто то были последние дни, которые можно прожить как попало.

8

Осень вступила по мягким осыпавшимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо ясным. Очищенные от хлеба поля казались прохладной пустотой, и над ними реяли невидимые волосы паутины. Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир, никогда не повторяясь и всегда поражая. Ежедневно человек из глубины и низов земли заново открывал белый свет над головой и питался кровью удивительных надежд.

Филат любил осень — в противоположность

страху рассудка перед зимой. Ему казалось, что небо выше, воздуха больше и дышится легче. И в этом году он созерцал знакомую и новую осень, чуть прислушиваясь к заботам ямщиков. А ямщики не столько заботились, сколько слушали, что делается на свете, и передавали друг другу. Они еще верили, что революция — дурацкая сказка, и не боялись ее.

Сначала говорили, что земля обратно отходит к ямщикам — вышел новый крепкий закон, — и германца начали бить снова. Потом это забылось, и мир где-то бушевал молча, не доходя до слободы своим голосом.

Ямщики целой толпой ходили на станцию и спрашивали у стрелочника — не пора ли разбирать пути и все вокзальное имущество делить по народу. Стрелочник сказал, что пока надо погодить, но того не миновать — когда выйдет срок, он прибежит на слободу и скажет. Ямщики взяли из штабеля по шпале на двоих и пришли домой, немного обрадовав жен таким приобретением. Они особенно бывали довольны, когда удавалось что-нибудь получить задаром, хотя бы даровые предметы и не приходились к хозяйству. Покупать же ничего не любили — им всегда казалось, что цена дорога. Это вышло исстари и

уложилось в характере. Ведь вся годовая пища привозилась ямщику бесплатно мужиком, как аренда за землю, а дома были собственные; зато одежда служила причиной горя и семейных разладов, потому что она по необходимости, хотя и изредка, покупалась за деньги.

Старушки в одно воскресенье собрались после обедни на паперти храма и тронулись за околицу. Они заранее запаслись мешочками с постной пищей, уговорились с батюшкой и вышли шествием на Иоакимовский монастырь. Филат ходил на край слободы — получать с одного ямщика долг за хозяина, но не получил — ямщик был одинокий вдовец и ушел в монахи, отказав усадьбу теще. Филат увидел толпу бредущих старух и испугался их, как своей беды. Старухи шли с шепотом, распустив жидкие мертвые волосы. Их ноги скорбели в густом песке, и они поднимали юбки, чтобы не пылить, показывая худую остроту холодных ног. Священник шел впереди и отвлекал лицо от спутниц: он был еще не стар, но жизнь его запугала. Старухи спустились в слободской лог и скрылись за кустарником. Филат поглядел на следы самодельных мягких туфлей и вспомнил почему-то гробы на чердаках, которые очень старые ямщики всегда готовили себе впрок

и бережно хранили. Зато женщины, несмотря на старость, никогда преждевременно гробов не заказывали и погибали в старых подвенечных платьях.

Ямщики-солдаты, которые остались живы, все вернулись домой и по-разному рассказывали о революции: кто объяснял, что это — евреи восстали и громят все народы, чтобы остаться одним на земле и целиком завладеть ею, а кто говорил, что просто босота режет богачей и надо бросить слободу и бежать грабить имения и города, пока там осталось кое-что.

Пожилые ямщики увещевали людей молиться и ссылались на Библию, где нынешнее время до точности предсказано, и — надо только молиться с таким усердием, пока кровь не пойдет вместо пота, — тогда человек обратится в дух.

— А ты попробуй — помолись до крови! — говорил такому проповеднику Спиридон Матвеич, хитро подразумевая что-то про себя. — А мы поглядим, лучше ли станет твоему духу, когда жизнь пропадет!

— И попробую, и облегчусь! — исступленно отвечал пожилой ямщик. — А ты посмотри себе в сердце — ай тебе люба нынешняя жизнь: ни сыт, ни голоден, народ поедом ест друг дружку, царя

испоганили, самого Бога колышут… Ты погляди — ведь над тобой твердь дрожит!..

Спиридон Матвеич смотрел на твердь:

— Твердь ничего не дрожит: ты думаешь, есть когда Богу такой суетой заниматься? Ишь ты, важный какой — Бог только и следит за тобой!

— Я — не важный собой, да душа во мне есть — господнее имущество! — серчал и волновался старик.

— Не показывай тогда этого имущества никому — придет мужик или босяк и отымет: ты знаешь нынешнее время?

Спиридон Матвеич уже бедствовал с семьей — это видел Филат. Но он был самый умный в слободе и без раздражения терпел, раз не было спасения. До войны он держал большую лавку и прочно богател, но лавка сгорела вместе с домом. Спиридон Матвеич выдержал нужду, продал половину земли — спешно отстроился заново и купил колодезь. Говорят, на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены и он сам преждевременно бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери. С того же года у него затмилось сердце — к людям он стал относиться резко и невнимательно, как к личным врагам.

Теперешнюю жену Спиридон Матвеич любил

— Филат видел его скрытые заботы о ней, — но никогда не мог сдержать безумного нрава и бил ее неожиданно и чем попало, мучаясь и сжигая себя. Причина этого лежала не в виновности жены, а в глубоком затаенном горе, превратившемся в болезнь. Сам Спиридон Матвеич знал, что жена его добрая и красивая, и после избиения ее он иногда приходил в сарай и гладил лошадь, капая слезами на землю. Если Филат был близко, Спиридон Матвеич гнал его:

— Ты — выйди, Филат, там мужики понаехали, а ты деньги упускаешь!

Филат выходил и видел бедного человека в солдатской одежде, горстью утолявшего жажду из лошадиного лотка.

Скоро лето смерклось окончательно, и небо потухло за глухими тучами.

В одну пропащую ночь, когда земля, казалось, затонула в темном колодце, на том краю степи загудели пушки. Слобода одновременно проснулась, зажгла лампадки, и каждый домохозяин сплотил вокруг себя присмиревшую семью.

Под утро стрельба смолкла, и неизвестная степь покрылась поздними туманами. В этот день слобода ела только раз, потому что будущее стало страшным, а дождаться его хотелось всем безрас-

судно, и продовольствие тратилось экономно.

Вечером через слободу без остановки проехал конный отряд казаков, волоча четыре пушки. Некоторые казаки попоили лошадей у Филата на колодце. Спиридон Матвеич им продал табаку и узнал, что казаки ехали домой, но Совет города Луневецка их с оружием не пропустил и приказал разоружиться. Казаки отказались: тогда Совет выслал отряд, и казаки приняли бой. Теперь казаки идут на Дон обходным путем — через суходолы и водоразделы, бросив населенные речные долины, где завелись Советы.

— А из кого эти Советы набраны? — спросил Спиридон Матвеич.

— Кто их смотрел! — равнодушно ответил казак и сел на коня. — Говорят, там батраки и иногородние — всякая такая чужая сволочь!

— Вроде него, что ль? — указал Спиридон Матвеич на Филата, на котором от ветхости разверзалась одежда.

Казак тронул коня и оглянулся:

— Да — подобная голь.

Попозднее долго звонил колокол церкви, собирая ко всенощной всех опечаленных, всех износивших жизнь, всех, в ком смыкаются вежды над безнадежным сердцем. От свечей и скорбных

вздохов через паперть шел дым и восходил вверх вянущим седым потоком. Нищие стояли двумя рядами и ссорились от своего множества, считая молитвы до конца службы. Грустное пение хора слепых выплывало наружу и смешивалось с тихим шелестом умерших деревьев. Иногда слепая солистка пела одна — и покорность молитвы превращалась в неутешимое отчаяние, даже нищие переставали браниться и умильно молчали.

А после службы люди сразу забывались и переходили к едким заботам. Одна умная женщина, покинув паперть, уже совестила мужа:

— Эх вы, мужики, — только ноете с бабами! Взяли бы ружья, отесали колья — да и пошли бы на деревню мужиков к закону приучать! А то у вас и хатенки поотберут, а вы все будете Богу молиться да у чугуна толпиться: бабьи побздики, пра-аво!

Но муж ее молчал и сопел, раздражая этим жену.

— Ух, идол ненаглядный! — свирепела жена и с неотлегнувшим сердцем шла до самого двора. Дома ямщик скорее ложился спать и отворачивался к стенке, считая бегущих клопов.

Спиридон Матвеич ходил в церковь очень редко, и то из любви к пению. А Филат совсем не ходил — объяснял, что одежды нет.

На дворе стало уже холодать — Филату трудно терпелось в сарае, пока ходила лошадь: никакая ушивка больше не держалась на прозрачных, сгоревших от пота штанах, а пиджак истерся в холодный лепесток. Но Филат видел, что за день хозяин от колодца выручает копеек тридцать — мужики совсем перестали ездить в слободу, — и попросить на починку одежды стеснялся. Он знал, что если его Спиридон Матвеич прогонит — ему конец: теперь никто не возьмет работника — все ямщики с потерей земли заплошали.

В одно утро Филат встал, вышел из кухни на двор — и весь свет для него переменился: выпал первый мохнатый снег. Вся земля затихла под снегом и лежала в мирной мертвой чистоте. Надолго смирившиеся деревья опустили ветки и бережно держали снег, гулкий воздух стоял на месте и ничего не трогал. Филат сделал отметку подошвой на снегу и вернулся на кухню.

Было рано, хорошо и прозрачно. В такой час можно чувствовать, как кровь трется в жилах, и особо остро переживаются те заглохшие воспоминания, где сам был виноват и губил людей. Тогда стыд поджигает кожу, несмотря на то что человек сидит один и нет его судьи.

Филат вспомнил мать, забытую в деревне, умер-

шую на дороге, когда она шла спасаться к сыну. Но сын ничем не мог помочь матери — он тогда пас в ночном слободских лошадей и питался поочередно у хозяев. А жалованье — десять рублей в лето — приходилось на осень. Мать увезли с дороги обратно в деревню и там без гроба закопали добрые люди. После того Филат ни разу не был в своей деревне — за пятнадцать лет он не имел трех свободных дней подряд и крепкой одежды, чтоб не стыдно было показаться на селе. Теперь его на родине забыли окончательно, и больше не было места, куда бы добровольно тянуло Филата, не считая дома Игната Порфирыча.

В этот первый снежный день Спиридон Матвеич сказал, что лошадь надо продать — выручки с колодца нет, а сено дорого. Филат же должен искать себе новое место, а пока может жить на кухне, но харчей не будет — не те времена.

Филат притих. Когда ушел хозяин, он потрогал свое тело, которое доставляло ему постоянную беду от желания жить, и не мог никак очнуться.

Лошадь хозяин повел в деревню сам — и к вечеру вернулся один. Филат обошел круг, по которому топталась лошадь, и почти то же чувство тронуло его, что и в пустой хате на свалке, после ухода Игната Порфирыча.

Филат, ничего не евши, переночевал еще одну ночь, а утром пошел напрашиваться к Макару. Кузница стояла холодная, и дверь ее наполовину утонула в снегу. Макар сучил веревку в сарае и разговаривал сам с собою. Филат расслышал, что веревка не верба — и зимой растет…

Когда Макар увидел Филата, он и слушать его не стал:

— Хорошим людям погибель приходит, а таким маломощным, как ты, надо прямо ложиться в снег и считать конец света!

Филат повернулся к воротам и, неожиданно обидевшись, сказал на ходу:

— Для кого в снегу смерть, а для меня он — дорога.

— Ну и вали по нем — ешь его и грейся! — с досадой закончил разговор Макар и перевел зло на веревку: — Сучья ты вещь, рваться горазда, а груз тащить тебя нету!..

Филат почувствовал такую крепость в себе, как будто у него был дом, а в доме обед и жена. Он уже больше не боялся голода и шел без стыда за свою одежду. «Я ни при чем, что мне так худо, — думал Филат. — Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду».

Дойдя до дома З. В. Астахова, Филат разыскал хозяина и сказал ему о своей нужде. Захар Васильевич слушал обоими глухими ушами и понял Филата:

— Вчерась, говорят, сторож на кладбище умер — сегодня к обедне звонить некому было: ты бы наведался!

Жена Захара Васильевича мыла посуду и услышала совет мужа:

— Да сиди уж со своим сторожем — дьякон сам лазил звонить, — ты с глуху-то ничего не слышишь! Да и сторожа, Никитишна говорила, взяли — Пашку-сапожника.

— А? Какого Пашку? — спрашивал Захар Васильевич и моргал от внимания.

— Да Пашку-то! Сестра у него — Липка! — кричала жена Настасья Семеновна. — Мать-то он в прошлом году из могилы раскапывал — волоса да кости нашел! Вспомнил теперь?

— А! — сказал Захар Васильевич. — Пашку? Филат бы громче звонил!..

9

День еще не кончился, а от туч потемнело, и начал реять легкий, редкий снег. Заунывно поскрипывала где-то ставня от местного дворового

сквозняка, и Филат думал, что этой ставне тоже нехорошо живется.

Больше нигде Филата не ждали, и следовало только возвратиться к Спиридону Матвеичу на кухню и натощак переночевать.

Филат подумал, что еще рано: ляжешь — не уснешь, и пошел на свалку.

Дом Игната Порфирыча стоял одиноко, как и в прошлый год. Только много дорожек к нему по снегу протоптано: то бродили нищие к обедне и к вечерне.

Филат остановился невдалеке: внутрь дома его не пустили бы нищие. Под снежной пеленою ясно вздувались кучи слободского добра, а за ними лежала угасшая смутная степь.

Вдалеке — в розвальнях, по следам старого степного тракта — ехал одинокий мужичок в свою деревню, и его заволакивала ранняя тьма. И Филат бы сел к нему в сани, доехал до дымной теплой деревни, поел бы щей и уснул на душных полатях, позабыв вчерашний день. Но мужичок уже скрылся далеко и видел свет в окне своей избы.

Филат заметил, что в доме кто-то хочет зажечь огонь и не может — наверно, деревянное масло все вышло, а керосина тогда нигде не продавали.

Дверь дома отворилась, изнутри раздался гортанный гул беспокойных нищих, и вышел человек с пылавшей пламенем цигаркой. Это он закуривал и освечивал окно. Человек с трудом неволил больные ноги по снегу и припадал всем туловищем. Дойдя до Филата, он вздохнул и сказал:

— Человек, сбегай за хлебцем в слободу — я тебе дам шматок, — ноги не идут!

Филат оживел и помчался, а нищий присел на корточки, чтобы не мучить ног, и стал ждать его.

Когда Филат вернулся с хлебом, нищий позвал его в хату:

— Пойдем погреться. Я тебе ножиком хлеб поровней отрежу, что ж ты тут один стоишь!

В хате было темней, чем снаружи, и воняло ветхой одеждой, преющей на нечистом теле. Филат никого не мог разглядеть — сидело и лежало на полу и на скамейке человек десять, и все говорили на разные голоса.

Нищие уличали друг друга в скрытности и считали, кто сколько сегодня добыл.

— Ты мне не рассказывай, шлюха, я сама видела, как она тебе пятак подавала!..

— А я сдачи дала четыре, плоскомордая квакалка!

— А вот и нет, уж не бреши, — женщина повер-

нулась и ушла…

— Ах ты, рыжая рвота, да у меня ни одного пятака нету — вот поди сыщи!

— А зачем ты бублик жевала, сладкоежка? Вот пятака-то и нету, матушка!

— Молчи, вошь сырая! А то как цокну в пасть, так причастие и выйдет наружу!..

И одна женщина поднялась, судя по голосу, — молодая и здоровая. Но тут зычно треснул чей-то мужской голос:

— Эй вы, черти-судари, опять хлестаться? Уймись! Свету дождемся, тогда я вас сам стравлю!

— Это все Фимка, Михал Фролыч! Она меня сладкоежкой ругает, что я бублик за год съела! — жаловался тот же свежий голос.

— Фимка! — гудел Михаил Фролыч. — Не трожь Варю, она не сладкоежка: сходит на двор — не увезешь на тележке!

Нищие захохотали, как счастливые люди.

Филат стоял у порога и слушал голос того, кого Варя назвала Михаилом Фролычем. Но больше Михаил Фролыч ничего не говорил.

Вдруг у Филата вспыхнула вся душа, и он без памяти крикнул:

— Игнат Порфирыч!

Нищие сразу замолкли.

— Это что за новый опорошник явился? — спросил в тишине голос Михаила Фролыча.

— Миша, это я! — сказал Филат. — А где тут Игнат Порфирыч?

Миша подошел к Филату и засветил спичку:

— А, это ты, Филат? Какой Игнат Порфирыч?

Филат ослабел ногами и слышал работу огромного сердца в своем пустом теле. Он прислонился к стене и тихо сказал:

— А помните, мы жили тут втроем зимой?

— Ага, ты про Игнатия спрашиваешь? — вспомнил Миша. — Был такой, да куда-то заховался — со мной его нету.

— А живой он теперь? — покорно спросил Филат.

— Если не лег где-нибудь, то живой стоит. Что он за особенный?

Миша отвечал скупо на вопросы, и Филат начал стесняться спрашивать больше. Скоро Миша лег на пол в углу, подложил под голову локоть и задремал. Филат не знал, что ему делать, и жевал хлеб старого нищего.

— Ложись с нами, молодой человек! — пригласила Варя. — На дворе стыдь наступила. Прихлопни дверь — и ложись. Завтра опять нам ручкой прясть и лицом срамиться. Ох ты жизнь

— мамкина дура…

Варя еще побранилась немного и затихла. Филат прилег боком около Миши и омертвел до белого утра.

Миша поднялся рано — прежде нищих. Но Филат уже не спал.

— Ты куда, Миша?

— Да ведь я по делу, Филат. Вчера пришел — ночевать негде, вот и стал на старом месте. А сегодня я далеко должен быть.

— А где? — спросил Филат.

— До Луневецка должен бы дойти. Там Игнат Порфирыч меня дожидается… Кадеты поперли насмерть — насилу допросился в губернии подмоги.

Миша внимательно запаковал сумку, запахнул шинель и сказал Филату:

— Ну, ты пойдешь, что ли? Игнат Порфирыч поминал тебя… Успеем ли их целыми застать — казаки всю степь забрали. Хоть бы отряд не застрял — в губернии обещали сегодня послать. Набрешут, идолы, — у самих крутовня идет…

Миша подошел к Филату, одернул на нем измятый пиджак и вспомнил:

— Вчерась я тебе ничего не хотел говорить: думаю, на что ты нам нужен. Да проснулся ночью,

поглядел, как ты спишь, — и жалко тебя стало: пусть, думаю, идет — пропадает человек.

Оглядев место ночлега, чтобы ничего не забыть, Миша тронулся. Филат — за ним и забыл про дверь.

Варя сразу почувствовала холод и от досады проснулась:

— Дверь оставили — чертовы меренья!

Впрок
(Бедняцкая хроника)

В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного, руководящего города.

Кто был этот только что выехавший человек, который в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печальных событий? Он не имел чудовищного, в смысле размеров и силы, сердца и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью.

Путник сам сознавал, что он сделан из телячьего матерьяла мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма, и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании

этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью, выступал на защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак.

У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого не велика, а ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю.

Если мы в дальнейшем называем путника как самого себя, («я»), то это — для краткости речи, а не из признания, что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время — бредущий созерцатель — это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участ-

ник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма.

Итак, этот человек поехал в отдаленные черноземные равнины, где у открытых водоемов стоят, обдуваемые ветром, глиносоломенные избы мелко-имущественных бедняков.

Езда в вагоне изменилась. Ранее в окно можно было наблюдать лишь пустынность страны, лишь разрозненность редких деревень, расположенных так робко и временно, будто они были сиротами в чужой земле и постоянно готовы исчезнуть. Некогда это были лишь постои бредущего народа, не верующего в свою местную судьбу, ожидающего, когда ему повелят стронуться дальше, где еще хуже.

Теперь же по бокам железной дороги строились различные пункты, предприятия, конторы, башни, а ярославские и амовские автомобили усердно возили матерьялы по губительной немощеной земле. Люди стояли на кирпичных кладках и заботливо старались трудиться, уже навсегда осваивая эти порожние, убыточные

пространства.

На многие сотни километров строящаяся республика не меняла своего беспокойного лица, сияющего свежим тесом на вечернем солнце. Везде можно было видеть железные и кирпичные приспособления для деревенского общественного хозяйства или целые корпуса благодетельных заводов.

— Сколько травы навсегда скроется, — сказал один добровольно живущий старичок, ехавший попутно со мной, — сколько угодий пропадет под кирпичной тяжестью!

— Порядочно, — ответил ему другой человек, имевший среднее тамбовское лицо, — может быть, житель бывшего Шацкого уезда. Он тоже пристально наблюдал всякое строительство в оконное стекло и шептал что-то с усмешкой гада, швыряя между тем какие-то кусочки из своего пищевого мешка в рот. Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, — он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест. Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию, — поэтому он глядел не только на новостроящуюся

республику, но также на овраги, на могучие обнажения глины, на встречных нищих, на растущие деревья, на ветер на небе, — на весь мертвый порожняк природы, потому что этого дела слишком много и оно, дескать, не может быть истреблено революцией, как она ни старайся. Ветхое лежачее вещество все равно, мол, задавит советский едкий поток своим навалом и прахом. Имея такое духовное предвидение, тамбовский человек скушал еще немного кое-чего и от внутренней покойной расположенности чувств вздохнул, как будущий праведник.

— Бывало, едет воз с молоком, — произнес попутный старичок, — телега вся скрипит, сам хозяин пешком идет, а на возу его баба разгнездилась. А теперь только холодный инвентарь перебрасывают!

— Тракторы горячие, а жизнь прохладная, — сказал тамбовский по лицу человек.

— Вот то-то и горе, — враз согласился старичок.

— Не горюйте, — посоветовал сверху неизвестный человек, лежавший там на голых досках. — Оставьте горе нам.

— Да как хочешь, я ничего! — испугался старичок.

— Да и я тоже ничего не говорил, — предупредил тамбовский житель.

— Бери молоко, — сказал верхний человек, и опустил в красноармейской фляжке этот напиток. — Пей, и не скули!

— Да мы сыты, кушай сам ради бога, — отказался старичок.

— Пей, говорят, пока я не слез! Я же слышал, ты по молоку скучал.

Старичок в страхе попил молочка и передал фляжку тамбовцу — тот тоже напился.

Вскоре с верхней полки слез сам хозяин молока; он был в старом красноармейском обмундировании, доставшемся ему по демобилизации, и обладал молодым, нежным лицом, хотя уже утомленным от ума и деятельности. Он сел на край лавки и закурил.

— Люди говорят, на табак скоро нехватка будет, — высказался старичок, — Семашка не велел больше желчное семя разводить, чтоб пролетариат жил чистым воздухом.

— На — закуривай! — дал бывший красноармеец папиросу старику.

— Я, товарищ, не занимаюсь.

— Кури, тебе говорят!

Старичок закурил из уважения, не желая иметь

опасности от встречного человека. Красноармеец заговорил со мной.

— С ними едешь?

— Нет, я один.

— А сам-то кто будешь?

— Электротехник.

— Ну здравствуй, — обрадовался красноармеец, и дал мне свою руку. Я для него был полезный кадр, и сам тоже обрадовался, что я нужный человек.

— А ты утром не соскочишь со мной? Ты бы в нашем колхозе дорог был: у нас там солнце не горит.

— Соскочу, — ответил я.

— Постой, а куда ж ты тогда едешь?

— Да мне ехать некуда — где понадоблюсь, там и выйду из вагона.

— Это хорошо, это нам полезно. А то все, понимаешь, заняты! Да еще смеются, гады, когда скажешь, что над нашим колхозом солнце не горит! А отчего ты не смеешься?

— А может, мы зажжем ваше солнце! Там увидим — плакать, иль смеяться.

— Ну, раз ты так говоришь, то зажгем! — радостно воскликнул мой новый товарищ. — Хочешь, я за кипятком сбегаю — сейчас Рязань будет.

— Мы вместе пойдем.

— Ты бы ярлык носил на картузе, что электротехник. А то я думал — ты подкулачник: у тебя вид скверный.

Утром мы сошли с ним на маленькой станции. Внутри станции был бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболевал живот. По стенам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда; плакаты призывали к далеким, благополучным путешествиям и показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой на берегах.

В этом пассажирском зале присутствовал единственный человек, жевавший хлеб из сумки.

— Сидишь? — спросил его дежурный по станции, возвращаясь от ушедшего поезда. — Когда ж ты тронешься? — уж третья неделя пошла, как ты приехал!

— Ай я тебе мешаю, что ль? — ответил этот оседлый пассажир. — Чего тебе надо? Пол я тебе мету, окна протираю, — намедни ты заснул, а я депешу принял и вышел без шапки постоял, пока поезд промчался. Я живу у тебя нормально!

Дежурный больше не обижал пожилого человека.

— Ну, живи дальше. Я только боюсь, ты пробудешь здесь еще месяца четыре, а потом потребуешь штата.

— Стат мне не нужен, — отказался пассажир. — С документом скорей пропадешь, а без бумажки я всегда проживу на самую слабую статью, — потому что обо мне ничего неизвестно.

Мой спутник, демобилизованный красноармеец товарищ Кондров, остановился от такого разговора.

— Имей в виду, — сказал он дежурному, — ты работаешь как стервец; теперь у меня будет забота о тебе!

С этим мы вышли на полевую колесную дорогу. Голая природа весны окружила нас, сопротивляясь ветром в лицо, но нам было это не трудно.

Через несколько часов пешеходной работы мы остановились у входных ворот деревни, устроенных в виде триумфальной дуги, на которых было написано: «С. х. коллектив Доброе Начало».

Сам колхоз расположился по склону большой балки, внизу же ее протекал ручей, работавший круглый год. Избы колхоза были обыкновенно деревенскими, все имущественное оборудо-

вание было давним и знакомым, только люди показались мне неизвестными. Они ходили во множественном числе по всем местам деревни, щупали разные предметы, подвинчивали гайки на плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего населения колхоза была тревога и забота, и колхозники старались уменьшить свою тревогу перед севом рачительной подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому проверял гайки на всех плугах только своею собственной рукой. Я слышал краткие собеседования:

— Ты смотрел спицы на сеялках?

— Смотрел.

— Ну и что ж?

— Кои шатались, те починил.

— Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баян и ходит! Дай-ка я сам схожу — сызнова починю.

Тот, на котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напоминающих кнопки гармонии), ничего не возразил, а лишь вздохнул, что никак не мог угодить на колхозных членов.

— Васьк, ты бы сбегал лошадей посмотреть!

— А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жрут который день, аж салом подернулись!

— А ты все-таки сбегай их проведать!

— Да чего бегать-то, лысый человек?! Чего зря колхозные ноги бить?

— Ну — так: поглядишь на их настроенье, прибежишь — скажешь.

— Вот, дьявол жадный, — обиделся моложавый Васька. — Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак: у кулака было грабленое, а у нас кровное.

В конце концов Васька пошел все-таки глядеть на настроенье обобществленных лошадей.

— Граждане, — сказал подошедший человек с ведром олеонафта; из этого ведра он мазал все железные движущиеся и неподвижные части по колхозу, страшась, что они погибнут от ржави и трения. — Граждане, вчерашний день Серега опять цигарки с огнем швырял куда попало. Сообщаю это, а то будет пожар!

— Брешешь, смазчик, — возразил присутствовавший здесь же громадный Серега, — я их заплевывал.

— Заплевывал, да мимо, — спорил смазчик, — а огонь сухим улетал.

— Ну ладно, будет зудеть, — смирился Серега. — Ты сам ходишь, оленафтом наземь капаешь, а он

ведь на общие средства куплен!

— Граждане, он нагло и по-кулацки врет! Пускай хоть одну каплю где-нибудь сыщет! Что он меня мучает!

— Будя вам, — сказал Кондров, — не пересобачивайте общие заботы. Ты, Серега, кури скромней, а ты капать капай — колхозу капля не ужасна, — а вот мажь — где нужно, а не где сухо. Зачем ты шины-то на телегах мажешь?

— Ржави боюсь, товарищ Кондров, — ответил смазчик. — Я прочитал, что ржавь это тихий огонь, а товарищ Куйбышев по радио говорил — у нас голод на железо: я и скуплюсь на него.

— Соображай до конца, — объяснил смазчику Кондров, — оленафт тоже железными машинами добывается. А раз ты зря его тратишь, то в Баку машины напрасно идут.

— Ну?! — испугался смазчик, и сел в удивлении на свое ведро: он думал, что олеонафт это просто себе густая жидкость.

— Петьк, — сказал малому лысый мужик, тот, что услал Ваську к лошадям. — Пойди, ради бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно, — сообщил Серега.

— Все равно: пусть бабы привыкают беречь

сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал приказывать бабам про вьюшки.

— Слухай, дядя Семен! Ты чего ж вчера сено от моей кобылы отложил, а к своему мерину подсунул? Ишь ты, средний дьявол какой, — знать, колхоз тебе не по диаметру!

Дядя Семен стоял, помутившись лицом.

— Привык к мерину, — сказал он впоследствии, — войду — он сопит на меня и глазами — моргает, а кругом норма — скотину нечем поласкать, вот и положил твое сено!

— А ты теперь к человеку привыкай, тогда тебя все меренья уважать будут!..

— Буду привыкать, — грустно пообещал дядя Семен.

— Не то пойти крышку на колодезь сделать? — произнес Серега, стоявший без занятья.

— Пойди, дорогой, пойди. С малолетства с мелкими животными воду пьем. Может, при хорошей воде харчей есть меньше станем!

Отошедши с Кондровым в глубь колхоза, я обнаружил, что вправо от деревни, на незаселенной высоте склона стоит новая деревянная каланча, метров в десять — двенадцать. На верху каланчи блестело жестяное устройство, бывшее,

судя по форме, рефлектором; причем оно было поставлено так, что должно направлять лучи неизвестного источника света целиком в сторону колхоза.

— Вон наше солнце, которое не горит, — сказал мне Кондров, указав на каланчу. — Ты есть хочешь?

— Хочу. А у вас есть запасы?

— Хватит. Прошлый год осень была большевицкая — все родилось.

Поев разного добра в попутной избе, в которой висела электрическая лампочка, мы пошли с Кондровым не на каланчу, а к ручью. На ручье, около кустарной запруды, помещался дубовый амбар с сильным мельничным пошвенным колесом; запруда служила, очевидно, для сбора запаса воды.

— Наливное колесо у вас работало бы полезней! — сказал я.

— Ну что ж, ты только скажи, как нужно сделать, а мы будем его делать, — ответил мне Кондров.

Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно; а с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в

своей голове алгебру и механику.

Кондров отомкнул амбар. Никакой мельницы в амбаре не было; там стояла небольшая динамо-машина, и больше ничего. На валу водяного колеса имелся деревянный шкив, с которого посредством ремня снималась сила на динамо-машину. Обследование установило, что водяное колесо способно было дать через динамо-машину мощность, достаточную, чтобы в колхозе горело 20 тысяч экономических электрических свечей, или 40 тысяч тех же свечей в полуваттных лампах. При переделке водяного колеса с пошвенного на наливное мощность всей установки можно было повысить по крайней мере на одну треть; динамо-машина же была рассчитана на сорок лошадиных сил, и могла терпеть много нагрузки.

— А наше солнце, понимаешь, не горит! — горестно проговорил надо мной Кондров. — Оно потухло.

Провода из амбара тянулись по ракитам, по плетням, по стенам изб и, ответвляясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы также пошли на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня удовлетворил жестяной рефлектор: его

отражающие поверхности имели такую хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно на колхоз и на его огородные угодья, ничего не упуская вверх или в бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный диск, на котором было укреплено сто стосвечовых полуваттных ламп, то есть общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей. Кондров говорил, что этого все же мало, — немедленно нужно добиться света по крайней мере в сорок тысяч свечей; особенно удобен был бы, конечно, прожектор, но его невозможно приобрести.

— Сейчас я схожу пущу колесо и динамо, и ты увидишь, что наше солнце не горит! — огорченно сказал мне Кондров.

Он сходил и пустил, — и солнце, действительно, не загорелось. Я стоял на каланче в недоумении. Ток в главных проводах был, колхозники собрались под каланчой и обсуждали доносившийся до меня вопрос.

— Власть у нас вся научная, а солнце не светит!

— Вредительство, пожалуй что!

— Сколько строили, думали — у нас пасмурности не будет, букеты распустятся, а оно стоит

холодное!

— Это же горе! Как встанешь, глянешь, что оно не светит, так и загорюешь весь от головы вниз!

— Вон старики наши перестали верить в Бога, а как солнце не загорелось, то они опять начали креститься.

— Дедушка Павлик обещал ликвидировать Бога, как веру, если огонь вспыхнет на каланче. Он тогда в электричество, как в Бога, обещал поверить.

— А горело это солнце хоть раз? — спросил я у народа.

— Горело почти что с полчаса! — сказал народ и заотвечал дальше, споря сам с собой:

— Больше горело: не бреши!

— Меньше — я обрадоваться не успел!

— Как же меньше, когда у меня слезы от яркости потекли?!

— Они у тебя и от лампадки текут.

— Ярко горело? — спросил я.

— Роскошно!! — закричали некоторые.

— У нас раздался было научный свет, да жалко, что кончился! — сказал знакомый мне смазчик.

— А нужно вам электрическое солнце? — интересовался я.

— Нам оно впрок: ты прочитай формальность

около тебя.

Я оглянулся и увидел бумажную рукопись, прибитую гвоздями к специальной доске. Вот этот смысл на той бумаге:

«Устав для действия электросолнца в колхозе Доброе Начало.

1. Солнце организуется для покрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же названия.

2. Колхозное солнце соблюдает свет над колхозом с 6-ти часов утра до 6-ти часов вечера каждый день и круглый год. При наличии стойкого света природы, колхозное солнце выключается; при отсутствии его включается вновь.

3. Целью колхозного солнца является спускание света для жизни, труда и культработы колхозников, полезных животных и огородов, захватываемых лучами света.

4. В ближайшее время простое стекло на солнце надо заменить научным, ультрафиолетовым, которое развивает в освещенных людях здоровье и загар. Озаботиться тов. Кондрову.

5. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное

обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроеньях колебанью, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам, и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхожденья всякой силы света на земле.

6. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать-перегнать в технике, науке и культуре и выявить, что и в городах необходимо устроить районные общественные солнца, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране.

7. Да здравствует ежедневное солнце на советской земле!»

Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон

новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтоб он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого — сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого.

Кондров вернулся.

— Ты, наверно, в Москву ездил за ультрафиолетовыми лампами? — спросил я его.

— За ними, — ответил он. — Сказали, что еще не продаются, все только собираются делать их, чешутся чего-то!

— Ты где был, когда начало гореть солнце и потухло?

— Здесь же на солнце.

— Жарко было около диска?

— Ужасно!

Я зашел за диск и начал проверять всю проводку, но проверять ее было нечего: вся изоляция на проводах сотлела, все провода покоились на коротком замыкании, а входные предохранители, конечно, перегорели. Всю эту оснастку делал, оказывается, кузнец из другой деревни, соответственно одной лишь своей сообразительности.

По общему решению с Кондровым мы сдела-

ли полный анализ негорению солнца, а затем сообщили свое мнение присутствовавшим близ нас членам колхоза. Наше мненье было таково: солнце потухло от страшной световой жары, которая испортила провода, стало быть, нужно реже посадить лампы на диске.

— Не нужно! — отверг пассивный дотоле задний середняк. — Вы не понимаете. Вы поставьте на жесть какие-либо сосуды с водой, вода будет остужать жару, а нам для желудка придется кипяченая вода.

Слово середняка, стоявшего позади, было разумно и приемлемо для дела: если на рефлекторе устроить водяную рубашку, то жесть будет холодить провода, кроме того, каждый час можно получать по ведру кипятку.

— Ну, как? — спросил меня Кондров среди общего задумавшегося молчанья.

— Так будет верно, — ответил я.

— Крутильно-молотильную бригаду прошу подойти ко мне! — громко произнес Кондров.

Эта бригада была наиболее упорной в любом тяжком, срочном или малоизвестном труде. Вчера она только что закончила сплошную очистку семян и, проспав двадцать часов, теперь постепенно подошла к Кондрову.

Под солнечной каланчой мы устроили производственное совещание, на котором выяснили все части и матерьялы для рационализации солнца, а также способ переделки пошвенного водобойного колеса на наливное сверху.

После того мне дали освобожденье и я заинтересовался здешней классовой борьбой. За этим я пошел в избу-читальню, зная, что культурная революция у нас часто идет по раскулаченным местам. Так и оказалось: изба-читальня занимала дом старинного, векового кулака Семена Верещагина, до своей ликвидации единолично и зажиточно хозяйствовавшего на хуторе Перепальном сорок лет (в ожидании того, как назваться колхозом «Доброе Начало», деревня называлась хутором Перепальным). Верещагин и ему подобный его сосед Ревушкин жили не столько за счет своих трудов, сколько за счет своей особой мудрости.

С самого начала советской власти Верещагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия, с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верещагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешевизна скота, а Верещагин

исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верещагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верещагин решил использовать и самое косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет.

Целыми длинными днями сидел Верещагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

— Главное, чтоб государство меня не услышало, — соображал он. — Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было: значит — можно. Как бы только Осоавиахим не встрял: да нет — его дело аэроплан!

И Верещагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтоб животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти что по-человечьи, а когда приходил к ней Верещагин, то она даже открывала рот, как бы

желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин — для ускорения кончины лошади — перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и беспрерывно хрипело от своей тоски.

— Кончайся, — приказывал коню Верещагин. — А то советская власть ухватлива. Того и гляди — о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще билось сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, чтоб государ-

ство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будет иметь двести рублей чистого дохода, а там еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с убытками — она начала отрывать от омертвелых лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы прятать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, пришел к Верещагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет никакого не нашел, а ночью прибежала на двор Верещагиных целая стая чужих собак и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верещагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верещагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную

колонну, но вышла одна божья воля.

Кондров поглядел на Верещагина и сказал:

— Не пройдет, Верещагин, твое мероприятие, мы от собак о всем твоем способе жизни узнали! Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета «Беднота» пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никуда, товарищ председатель, — сказал Верещагин, — я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь — вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину!

— Ага, ты умней всего государства думал, — произнес тогда Кондров. — Ну, ничего, ты теперь на ять попадаешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю, — с хитростью смирился Верещагин. — Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-оппортун!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров. — Оппортун всегда кричит за, когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верещагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние батраки — Серега,

смазчик и другие — погнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

Ни один середняк в Перепальном при раскулачивании обижен не был, — наоборот, середняк Евсеев, которому поручили с точностью записать каждую мелочь в кулацких дворах, чтобы занести ее в колхозный доход, сам обидел советскую власть.

А именно, когда Евсеев увидел горку каких-то бабье-дамских драгоценных предметов в доме Ревушкина, то у Евсеева раздвоилось от жадной радости в глазах — и он взял себе лишнюю половину, по его мнению, лишь вторившую предметы, — таким образом, от женского инвентаря ничего не осталось, а государство было обездолено на сумму в сто или двести рублей.

Такое единичное явление в районе обозначили впоследствии разгибом, а Евсеев прославился как разгибщик — вопреки перегибщику. Здесь я пользуюсь обстоятельствами, чтобы объявить истинное положение: перегибы при коллективизации не были сплошным явлением, были места, свободные от головокружительных ошибок, и там линия партии не прерывалась и не заезжала в кривой уклон. Но, к сожалению, таких мест было не слишком много. В чем же причина та-

кого бесперебойного проведения генеральной линии?

По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив района он просто не выполнял.

— Это писал хвастун, — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде «Даешь сплошь в десятидневку» и т. п., — он желает прославиться, как автор какой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, — сволочь такая!

Другие директивы, наоборот, Кондров исполнял со строгой тщательностью.

— А вот это мерно и революционно! — сообщал он про дельную бумагу. — Всякое слово хрустит в уме, читаешь — и как будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщать! Наверно, районные черти просто себе списали эту директиву с центральной, а ту, которую я бросил, сами выдумали, чтоб умней разума быть!

Действовал Кондров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района:

— Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту — заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный!

Но Кондров знал, что темп нужно развить в бед-

няцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом.

Все же и Кондров совершил недостойный его факт: в день получения статьи Сталина о головокружении к Кондрову по текущему делу заехал предрика. Кондров сидел в тот час на срубе колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала — броситься в снег, или сразу приняться за строительство солнца, но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья.

— Ты что гудишь? — спросил его неосведомленный предрика. — Сделай мне сводочку…

И тут Кондров обернул «Правдой» кулак и сделал им удар в ухо предрика.

До самого захода небесного солнца я находился в колхозе и, облюбовав все достойное в нем, вышел из него прочь. Колхозное солнце еще не было готово, но я надеялся увидеть его свет с какого-нибудь придорожного дерева из ночной тьмы.

Отойдя верст за десять, я встретил подходящее дерево и влез на него в ожидании. Половина

района была подвержена моему наблюдению в ту начинающуюся весеннюю ночь. В далеких колхозах горели огни, слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм. Я нашел место, где было расположено «Доброе Начало», но там горело всего огня два, и оттуда не доносилось собачьего голоса.

Я пропустил долгое время, поместившись на боковой отрасли дерева, и все глядел в окружающую, постепенно молкнущую даль. Множество прохладных звезд светило с неба в земную тьму, в которой неустанно работали люди, чтобы впоследствии задуматься и над судьбой посторонних планет; поэтому колхоз более приемлем для небесной звезды, чем единоличная деревня. Утомившись, я нечаянно задремал и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не убился. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свободное место падать, — от голоса этого человека я и проснулся наверху.

Разговорившись с человеком, я пошел за ним вслед, — по дороге, ведущей дальше от «Доброго Начала». Иногда я оглядывался назад, ожидая све-

та колхозного солнца, но все напрасно. Человек мне сказал, что он *борец с неглавной опасностью* и идет сквозь округ по командировке.

— Прощай, Кондров! — в последний раз обернулся я на «Доброе Начало».

Навстречу нам часто попадались какие-то одинокие и групповые люди, — видно, в колхозное время и пустое поле имеет свою плотность населения.

— А какая опасность неглавная? — спросил я того, с кем шел. — Ты бы лучше с главной боролся!

— Неглавная кормит главную, — ответил мне дорожный друг. — Кроме того, я слабосердечен, и мне дали левачество, как подсобный для правых район! Главная опасность — вот та хороша: там пожилые почетные бюрократы, там разные акционерные либералы — тех крушить надо вдосталь, — и для самообразования будет полезно: кто ее знает, может быть, правые уже последние ошибочники, последние вышибленные души кулаков! Ах, как жалко, что у меня сердце слабое, а то бы мне главную дали: эх, и пожил бы я в такое сокрушающее время! До чего ж приятно и полезно сшибить правых и левых, чтоб у здешнего кулачества не осталось ни души, ни ума!

Я осмотрел говорящего человека. Лета его были

еще не старые, зато лицо и тело, видимо, уже истратились в окружных дискуссиях, настолько его туловище глядело измученным существом. Он дышал неравномерно и редко, все время забывался во внутренних мыслях и едва ли достаточно ел пищи.

Переваливая за горизонт, мы заметили по бледному свету на земле, что сзади нас взошла луна. Мы оглянулись.

Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму.

— Это солнце зажгли в колхозе! — сказал я.

— Да, возможно, — безразлично согласился борец с неглавной опасностью. — Для луны — для последователя солнца это слишком неважный огонь. И последователем надо быть уметь!

Ночевали мы с ним в неопределенной избушке, которую увидели в стороне от тракта.

— Пункт бы здесь устроить какой-нибудь! — сказал мне на утренней заре прохожий товарищ. — Зачем стоит эта хатка пустой, когда основной золотой миллиард, нашу идеологию, не каждый имеет в душе!

— Это правда, — сказал я, — на свете много душевных бедняков.

В течение первой половины дня мы шли даль-

ше. По сырым полям кое-где уже ходили всем составом колхозы и щупали руками землю, определяя ее весеннюю спелость.

Затем мы дошли до деревни Понизовки, расположенной, действительно, по низу земли. Это объясняется недостатком воды или трудностью ее добычи на верхних почвах. Вообще — колхозное и совхозное водоснабжение должно стать большим предметом нашей пятилетки, ибо, как я заметил, степень обработки и освоенности земель обратно пропорциональна водоснабжению. Это значит, что высокие, водораздельные земли, обычно самые ценные по качеству, самые структурные по составу, хуже обрабатываются и за такими полями бывает меньше ухода. Оно и понятно, потому что водоразделы лежат далеко от хозяйственной базы, всегда прижатой к естественно-открытому водоему или к неглубокой грунтовой воде. Я видел в зерновых районах не меньше ста громадных сел, и все они согнаны на водопой в низы — в долины речек, в балки и прочие провалы рельефа. Высокие же, самые тучные земли — далеки и пустынны. Это означает громадные, вероятно в несколько сот миллионов рублей ежегодно, потери для нашего хозяйства, благодаря недобору урожая с водораздельных

почв.

В чем же заключается решение задачи? В том, чтобы селить колхозы и основывать совхозные усадьбы прямо на водоразделах, в центре плодородия почв. А водоснабжение для них следует устраивать посредством глубоких трубчатых колодцев. Добавочное значение тут будет еще в резком оздоровлении деревни. Та заразная жижка открытых водоемов, которой утоляют свою жажду многие деревенские районы СССР, потеряет тогда свой смысл как источник водоснабжения. Артезианская же, глубокая вода трубчатых колодцев — безвредней, вкуснее и чище, чем хлорированная водопроводная.

Сейчас, когда идешь по дальним частям СССР, то видишь как бы пустую, незаселенную страну. Это потому, что все поселения спрятались в низовые ущелья; иначе говоря — гидрологические условия определили собой способ заселения нашей земли. Соображая же несколько глубже, можно сказать, что феодально-капиталистические производственные отношения держали деревню у ручьев и болот, оставляя в полном или частичном запустении самые лучшие по плодородию суходолы. Отсюда ясно, что для многих наших южных, юго-восточных и центрально-черноозем-

ных районов социализм должен явиться, в числе прочих своих элементов, также и в качестве воды на водоразделах.

Вот отчего деревня, встреченная нами, называлась Понизовкой — именем, которое подходяще и для тысячи других деревень.

Борец с неглавной опасностью пошел непосредственно в сельсовет. И здесь я был свидетелем действий его опытного ума, умевшего всякую бюрократическую сложность обращать в понятную простоту истины.

— Что же вы ничего нам не сообщили? — спросил моего дорожного товарища секретарь сельсовета. — Мы бы вам тарантас послали навстречу!

— Не указывай! — ответил борец. — Береги лошадей для сева, а не для меня.

На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлекший зоркий ум борца с опасностью. План изображал закрепленные сроки и названия боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, разъяснительной, супряжно-организационной, пробно-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготови-

тельной, транспортно-тарочной и *едоцкой.*

Глубоко озадачившись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтоб люди ели хлеб, — разве они сами непосильны для этого или настолько отсталы, что откажутся от своевременной пищи?

— А кто его знает? — ответил председатель. — Может, обозлятся на что-нибудь, либо кулаков послушают, и станут не есть! А мы не можем допускать ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать, — сказал секретарь, — тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему ж мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше единоличного, а почему лучше — не показываете, — ответил мой дорожный товарищ.

— Нам показывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

— Ну конечно, — заключил борец. — Вы строить и достраивать ничего не хотите, вам охота

поскорей как-нибудь отстроиться и лечь на отдых среди счастья… Вот она — левая, бегущая юность! — уже ко мне обратился командированный.

Настроение председателя было иным. Он угрюмо предвидел, что дальше жизнь пойдет еще туже. По его выходило, что скоро людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыденку. Секретарь же с ним постоянно ссорился и считал его правым трусом, сам в то же время яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом через колхоз, на коммуну.

Спустя немного времени, окружной товарищ сильно смеялся такому четкому обстоятельству, когда левый и правый сидят в одной комнате и все время как бы производят один другого из единой кулацкой бездны.

— Едоцкая кампания была ниточкой, на которую я сразу поймал и левацкого карася, и правую щуку, — объяснил мне окружной спутник. — Придется мне в этом селе посидеть и кой-кого обидеть из этих дрессировщиков масс…

— Да ты слишком примиренчески с ними

говоришь, — сказал я. — При чем тут юность, нежность, когда левый правит на катастрофу?! Крой безупречно и правых, и левых!

— Это верно, — вдумчиво согласился борец. — Случись что тяжелое, левый ведь побежит к правому — боюсь, скажет, дяденька! А этот дяденька зарычит своим басом и угробит все на свете, кулацкий кум!

Окружной человек еще немного подумал среди тишины кончающегося степного дня.

— Правильно-правильно: у левых — дискант, у правых — бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора!

И здесь борец с неглавной опасностью отошел от меня; я же направился из Понизовки дальше — по своему маршруту, несмотря на вечернее время.

Идти мне пришлось недолго; два неизвестных инженера ехали с шофером на автомобиле и взяли меня подвезти до ближнего места. С полчаса мы ехали спокойно; а потом в моторе что-то жестко и часто забилось, словно в камеры цилиндров попалось металлическое трепещущее существо. Конус, тормоз, — и шофер вышел смотреть повреждение. Отняв гайки, мы общим усилием попробовали поднять блок цилиндров, но силы в

нас оказалось меньше тяжести, а энтузиазма не было. Прохожий человек стоял и судил нас:

— Вы маломочны и беретесь не так. Лучше ступайте на Самодельные хутора — отсюда версты две будет, и того нет. Возьмите оттуда Гришку — он вам один машину зарядит. А так вы замучаетесь: вы люди не те!

Мы помолчали — из уважения к себе перед прохожим, но затем сообразили, что без того Григория с хутора и без лошадей нам не обойтись, и темнело уже.

Я пошел на хутор. В лощине существовали четыре закопченных двора, из каждой трубы шел какой-то нефтяной дым, и всюду в этом поселении гремели молотки. Хутор был похож не на деревню, а на группу придорожных кузниц; самые же дома, когда я подошел ближе, были вовсе не жилищами, а мастерскими, и там горел огонь труда над металлом. Опустелые поля окружали эту индустрию — видно, что хуторяне не пахали и не сеяли, а занимались железным делом какого-то постоянного машинного мастерства. Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за тем раздался пушечный удар. От неожиданного страха я присел за лопух и слегка обождал. Голый

человек, черный и обгорелый — не на солнце, а близ огня, — вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный кляп.

Этот человек оказался необходимым нам Григорием. Он только что испробовал прочность железной трубы, посредством выстрела из нее деревянной пробкой: железная труба лежала в горне, имея воду внутри, и работала как паровой котел — на давление, пока не вышибла кляпа из отверстия.

Григорий пошел со мной и поступил с автомобилем очень просто: он выбрал начинку из двух цилиндров, в виде рассыпавшихся вкладышей, и запустил мотор на двух цилиндрах.

— Ехать можно, — сказал нам Григорий. — Только в двух холостых цилиндрах теперь живот болит — там газ и масло гоняются непостижимо как.

Мы поехали на его хутор. Хутор этот живет уже лет двести, и всегда в нем было не более четырех дворов. В свое, отошедшее в древность, время хутор был ремонтной мастерской чумачьих телег, арб и чиновничьих экипажей, а теперь на хуторе поселились бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, происхождением из шахтеров, московских холодных сапожников и

деревенских часовых мастеров, делавших в свое время, за недостатком заказов, девичьи бусы.

— Вы ездили на автомобилях? — спросил у Григория один основной пассажир — инженер.

— Кто мне давал его?! — с вопросительной обидой произнес Григорий, правивший машиной.

— А как же вы едете так прилично?

— А я же еду и думаю, — объяснил Григорий. — Машина же сама говорит, что ей симпатично, а я ее слушаю и норовлю.

На этом хуторе мы ночевали, потому что Григорий обещал поделать вкладыши из металла, который никогда не лопнет и не раскрошится.

Мы легли на ночлег в солому близ сарая, в котором хранился уголь и брак продукции. Едва только мы углубились в прохладу сна на свежем воздухе, как нас разбудил гром аплодисментов и длительные овации. Вокруг ничего не существовало, кроме тихой и порожней степи, а в одном строении хутора гремел восторг масс и трезво дребезжало стекло открытого окна. Я встал в раздражении испорченного сна, но со счастьем любопытства.

— Неопределенных возгласов не хватает! — услышал я рассуждение Григория в тишине кончившейся овации. — Люди всегда работают

сразу — и в ладоши, и в голос крика! Иначе не бывает. Когда рад, то все члены организма начинают передачу.

Я не понимал, и пошел внутрь мастерской. На полу жилья стоял станок, похожий на тот, что точит ножи и всякие лезвия, но с особым значительным ящиком и разными мелкими деталями. Привод станка в действие — явно был ножной. Весь этот аплодирующий автомат был изготовлен полевыми мастеровыми для Петропавловского драмкружка, которому нужны были, по ходу одной пьесы, приветствующие массы за сценой.

Здесь пришел другой мастеровой — Павел, по прозванию Прынцип, он принес кусок блестящего металла в руке.

— Это что? — спросил я у Григория.

— Это мы детекторы из него крошим.

— И много вам заказывают?

— Тыщи. Наши деревни музыку обожают, а слободы — еще более. Я думаю, что дальше в степь радио и не проходит: у нас в округе антенн гуще, чем деревьев, вся волна тут оседает.

Затем мастеровые сели ужинать; их было семь человек, и все они слегка походили друг на друга. Стол находился под кущей закоптевшего единственного дерева — в конце двора; над столом,

подвешенная к дереву, горела чугунная люстра из десяти пятисвечовых электрических лампочек, а самое электрическое питание лампам подавал аккумулятор с чердака. На столе имелись для аппетита полевые жестяные цветы в банке и две стальные гравюры, изображавшие любовь.

После сытного ужина, рассчитанного на утоление мощных туловищ степных мастеровых, состоялось чтение газеты вслух. Читал Григорий, а остальные серьезно слушали и отвечали искренними чувствами.

— «Нашей погранохраной задержан польский шпион Злучковский!» — читал Григорий.

— К ногтю! — решили слушатели про того шпиона.

— «В Баку открыт новый мощный завод смазочных масел».

— Машинам необходимы жиры. Это первейшая нужда, — одобряли такое дело мастеровые, сочувствуя машинам.

— «Камчатская пушная экспедиция Госторга шлет приветствие пролетариату Советского Союза».

И все слушатели молча наклоняли головы в ответном приветствии.

— «Близ Ашхабада наблюдались слабые толчки

почвы, в деревне Исмидие разрушен один дом».

— Зря: люди работают, а посторонняя сила лезет.

Это были очень серьезные люди. Было заметно, что они не слушают происшествия, а чувствуют их, не созерцают, а изучают, и в легкой работе ума отдыхают тяжелым телом.

После ужина Григорий принялся за изделие вкладышей для автомобильного мотора. По его системе вкладыши должны получиться прочнее, чем были, потому что он собирался их делать не из целого куска бронзы, а из частей.

— Ты видел дома из одного цельного камня? — спросил Григорий у меня.

— Нет, — по справедливости сообщил я.

— Оттого они и стоят по сту лет, оттого и держат бури, жару, дожди и сотрясения. Я тебе вкладыши сварю из крупинок и частей, как кирпичный дом. Будешь ездить сильно! Митрий, порть мне бронзу на мелочь!

Дмитрий начал рубить кусок бронзы.

— Брось, — догадался Григорий. — Бронза стоит государству средств и организации. Руби мне ее из старых вкладышей.

И так было поступлено.

Еще не успел сварить и отформовать Григо-

рий вкладыши, как из степной ночи предстал пред мастерской таинственный, озадаченный всадник. То был друг Григория — комсомолец из недалекой слободы.

— Гриша, к нам бог вступает, поп и бабы ему иже херуим хором поют, на голове у него свет горит!.. Едем со мной на лошадином заду!

— Заводи машину, — сказал Григорий мне. — Буди шофера!

Шофера я разбудил, а инженеры от усталости ехать не захотели.

Через минуту мы помчались с хутора на паре цилиндров — бороться с пришествием бога в слободу, а позади нас поспевал комсомолец на коне.

Мы приехали быстрее бога: он еще не дошел до слободы, а медленно двигался по горизонту, окруженный старым народом, и над головой его, действительно, светился нимб беловатого огня. Мы дали газ в мотор и, с перебоями в цилиндрах, достигли бога и верующих в него.

Шел старик по земле, одетый в рядно, босой и торжественный. Борода, ясные очи и благодушие пожилого лица служили как бы определенными признаками бога-отца. Вокруг косматых головных волос светилось ровное озарение. Увидев автомобиль, бог-отец выпустил из рук черхнохво-

стого голубя, означавшего духа святаго; голубь не хотел было улетать от кормильца, но Григорий дал воющий сигнал — и птица понеслась боком вдаль. За это мы получили из толпы камень, разбивший стекло в правой фаре.

Григорий тогда встал на шоферское сиденье:

— Господа старики и старухи! (В южных слободах любят это почтительно-отжившее обращение.) Господь устал от тягости грехов народа и пешего хода по земному пространству. Мы приехали сюда на машине, чтобы заставить дьявола послужить господу… Садись, бог!

— Охотно, голубчик! — согласился близко созерцавший нас бог-отец.

Он был усажен в пассажирское заднее отделение, и рядом с ним сел Григорий, а шофер повел машину — с такой скоростью, чтобы старики и старухи поспевали сзади бежать.

Ночь продолжалась над нами; глубокая звездная природа существовала вокруг нас, не замечая местного людского происшествия. В слободе заметили приближение того, кто явился во второй раз в мир человечества, и сторож зазвонил в главный колокол с малыми подголосками, произнося на них пасхальную службу.

Шоферское боковое зеркало все время отража-

ло свет заднего бога, и вдруг оно погасло; я не мог обернуться, потому что по указанию шофера качал воздух в бензиновый бак, но зеркало опять заблестело божьим сиянием, и я успокоился.

У входа в храм лежал ниц поп и также повалены были все те, кто и раньше ходил под богом. В стороне стояла группа комсомольцев, трактористов и молодых слобожан, они бесстрашно улыбались накануне светопреставления. Один крестьянин, уже положительного возраста, подошел ко мне в сомнении:

— Либо, товарищ, правда — бог где-то был, а теперь явился, когда не нужен?

Я не разубеждал его словом, поскольку бог-отец почти фактически был.

Здесь божий свет снова потух. Поп поднял очи:

— Где же свет господень, что я видел во мгновении времени?

— Сейчас, — ответил бог. Но свет вокруг его главы не происходил.

— Давай я зажгу! — предложил Григорий, — ты будешь копаться — должность потеряешь.

Он заголил богу рядно, как юбку, пошарил на его груди, и свет засиял.

— У тебя зажимы на батарее ослабли, — тихо сообщил Григорий богу.

— Знаю! — согласно сказал господь. — Туда бы нужны болтики и гаечки, а разве их обнаружишь где в степи!

После посещения храма, мы повезли бога в избу-читальню. Так пожелал Григорий, а бог согласился. У Григория был замысел: в этой зажиточной слободе почти никто не верил в радио, а считали его граммофоном, — Григорий вез бога в техническое доказательство. В избе-читальне собралось народу порядочно, тем более что прибывал бог.

В громкоговорителе же ослаб аккумулятор, и про то знал Григорий, а у бога вокруг груди висела свежая батарея элементов. Григорий поставил бога вблизи громкоговорителя и прицепил его проводами к аппарату. Радио, получив усиленное питание, зазвучало четким басом, но зато свет вокруг головы бога потух.

— Верите ли вы теперь в радио? — спросил Григорий собрание, во время перерыва для подготовки оркестра в Москве.

— Верим, — ответило собрание. — Верим господу и в шумную машину!

— А во что не верите? — испытывал Григорий.

— В граммофон теперь не верим, — сообщило собрание.

— Вот тебе раз! — раздражился Григорий. — А если мы вам граммофон сделаем, тогда поверите?

— Послухаем. Слухать будем, а верить обождем.

— А если я вас бога сейчас лишу?

Собрание и тому не особо удивилось:

— Ну-к что ж, — ответил за всех неимущий мужик Евсей, читатель центральных газет. — Вместо одного бога, за нами десять безбожников ухажорствовать будут. Чем, Гриш, меньше веришь, тем оно к тебе внимания и доходу больше.

В полночь настала пора расходиться. Но вышло горе: никто не брал бога ужинать и ночевать в свою хату. Слобожане требовали, чтобы сельсовет назначил подворную очередь на содержание бога, а неорганизованно иметь бога не желали.

— Да возьми хоть ты его, Степан, — сказал Евсей соседу. — У тебя новая хата порожняя, как-нибудь уляжешься.

— Чего ты? — обиделся Степан. — Я третьего дня бревна на мост по самообложению возил!

Бог уже захотел есть и озяб от свежей ночи, проникавшей в окна избы-читальни.

Наконец, над ним сжалился комсомолец, который приезжал за нами на хутор, и позвал старика

в свою хату, где существовала одна его бедная мать.

Григорий озлобился на такую религию и увез бога на хутор как старика. Там бог поел, выспался и наутро остался трудиться второстепенным кузнецом. Он оказался кочегаром-летуном астраханской электростанции, тронувшимся в путь в виде бога-отца для проповеди святой коллективной жизни и для подыскания себе почетного счастья в колхозе.

— Я тебя еще раз поймаю — ушибу! — пообещал Григорий. — Живи здесь и работай на производстве. Проповедуй молотком, а не ртом.

Довольный бог остался: все же в нем жила душа кочегара и пролетария, жила и думала; кулак или другой буржуй не сумел бы стать богом — он, невежда, не знает электротехники.

С теми техническими способностями, какие были у Григория Михайловича Скрынко, сидеть ему на хуторе и стрелять из труб деревянными пробками — ни к чему и вредно для государства. Наутро я сказал Григорию об этом. Он послушал и показал мне окружные бумаги, в силу которых он назначался директором машинно-тракторной станции — из шестидесяти тяжелых тракторов; начальной базой для этой станции предназна-

чался тот самый механический хутор, где жил сейчас Григорий. Машины и оборудование для МТС должны были прибыть в течение одной-двух недель.

Это было прекрасно. Лучшего вождя и друга машин, чем Григорий Михайлович, найти в этой местности нельзя. Кроме того, только в случае внезапной смерти Григория Михайловича посевной план МТС мог бы быть не выполнен, а при его жизни этот план наверняка будет превышен процентов на сто, ибо у него трактора не остановятся никогда, и он заставит машину работать даже на одном цилиндре, лишь бы сберечь весеннюю минуту.

— А я недоволен, — сказал мне в последующей беседе Григорий Скрынко. — Вот проверну здесь генеральную линию, покажу всей средноте, что такое колхоз в натуре, что такое весна на тракторном руле, а потом учиться уеду, — больше не могу терпеть!

— Чего вы не можете терпеть?

— Отсталости. Зачем нам нужны трактора в каких-то двенадцать, двадцать или шестьдесят сил? Это капиталистические, слабосильные марки! Нам годятся машины в двести сил, чтоб она катилась на шести широких колесах, чтоб на ней

не аэроплан трещал, а дышал бы спокойный нефтяной дизель, либо газогенератор! Вот что такое советский трактор, а не фордовская горелка!

— Это, пожалуй, верно. Но как того добиться?

— Стану сам профессором тяги, вот и добьюсь.

Наверно, так и случится, что года через три-четыре или пять у нас начнут пропадать фордзоновские царапалки и появятся мощные двухсотсильные пахари конструкции профессора Г. М. Скрынко.

— Что будет дальше на моем пути? — спросил я у Григория.

— Колхоз «Без кулака», — сказал Григорий. — Там председателем мой двоюродный брат, Сенька Кучум, скажи ему, что ты был у меня. А еще далее у тебя будет 2-е Отрадное, там тоже меня знают, и ты кланяйся кому-нибудь!

Я направился в этот указанный колхоз, но ввиду ночной тьмы не успел достигнуть места назначения и явился туда на утро нового дня.

При входе в колхоз висела вывеска с названием этого общественного сельского хозяйства, а под вывеской план работ на текущий год, изображенный по железу, и классовый состав колхоза: 48 бедняков, 11 батраков, 73 середняка, 2 учителя, 1 прочая женщина с детьми-сиротами.

Колхоз «Без кулака» существует с августа 1929 года; причем в 1928 году — при единоличном ведении хозяйства — нынешними участниками колхоза засеяно озимыми всего 182 гектара, колхоз же посеял озимых 232 гектара; по яровым колхоз наметил увеличить площадь посева в полтора раза — против того, что сеяли нынешние члены, будучи единоличниками. За счет какой же конкретной силы произошло увеличение производительности сложенных бедняцко-середняцких хозяйств?

Не зная этого, я пошел к Семену Кучуму, чтобы спросить. Семен, по прозванью Кучум, удивил меня мрачностью лица и резким голосом, раздающимся из глубины его постоянно скорбящего сердца.

— Я не могу тебе ответить, — сказал он мне, — потому что для нас нет такого вопроса, для нас это понятно без всякого ума.

— У вас, наверно, тракторы есть — или вам МТС работала?

— Нет еще ни трактора, ни МТС.

— А что же есть?

— Чего в тебе нет — в нас нет вопроса.

— А отчего ж мужики больше сеять начали?

— А для чего ж они колхоз организовали — для

бурьяна, что ли?

— Ты обходишь мой вопрос, я же с добром спрашиваю.

— Не обхожу, — сообщил Кучум. — По-твоему, все наше дело должно выйти так: собрались люди в кучу с одним планом и желаньем, стали работать, и вдруг ничего у них не вышло. Это же страшно, и так быть не может! Так думает безумный, или ненавистный.

— И я так думаю иногда.

— Понятно: в тебе нет колхозного чувства и классовой нужды, не все поспевают за революцией. Кто имеет чувство иль хотя бы нашу классовость — у того и ум, а без чувства — остаются одни вопросы и злоба.

Я поник. Это была приблизительная правда. Я остался в колхозе на несколько дней, не особо все же доверяя Семену Кучуму. Больше Кучум уже ни разу не говорил со мной, потому что вообще не произносил слов без нужды, хотя был вежливым и спокойным, от какого-то равномерного делового уныния, человеком. Дальше я существовал лишь свидетелем некоторых событий.

В этой деревне около четвери населения была в колхозе. Остальные же крестьяне все время мучились душой: входить им или обождать.

Работал Кучум непостижимо, я больше нигде не видел такого колхозного организатора.

Однажды приходят к нему четыре бедняка — у всех одно заявление: бери их и зачисляй в колхоз. Бедняки эти были общеизвестными, но в смысле качества — люди не вполне усердные, так как давно уже отчаялись найти дорогу к облегчению своей жизни. Это их неусердие, вероятно, и озлобило Кучума, поскольку дорога для жизни бедноты была уже открытой.

— Чего еще! — с грубым недружелюбием сказал им Кучум. — Вы что — очертенели, что ль? Вы думаете — в колхозе легко вам будет?

— Да может, Семен Ефимыч, и легче, — ответили бедняки.

— Это вам люди набрехали, — угрюмо объяснил Кучум. — В колхозе же труд, забота, обязанности, дисциплина, — куда вы лезете?

— А как же нам быть-то, Семен Ефимыч?

— Да будьте на своих дворах, охота вам горе добывать!

Бедняки в раздумчивости уходили от Кучума; некоторые же считали шепотом, что Кучум — тайный подкулачник.

Середняки обычно приходили писаться в колхоз поодиночке. Они подавали бумажку с

молчаньем и с морщиной на лбу, въевшейся в их голову еще с зимы.

— Пиши и нас, Семен Ефимыч, я человек не каменный!

— А какой же ты? — спрашивал Кучум.

— Я трогательный. Я же вижу ваши обстоятельства, а у себя не вижу ничего — живу неподвижно, как вечный какой!

— Истомиться у нас пожелал? — уныло-недоуменно ставил вопрос Кучум. — Другую морщину нажить хочешь на лоб?

— Да хоть бы и так, Семен Ефимыч!

— Хоть бы и так?.. Нет, ты уж иди назад — нам мучеников не нужно. Помучайся лучше на своей усадьбе — отмучаешься, тогда придешь.

Я решил, что Кучум нарочно не принимал единоличников, чтобы поднять колхоз изолированным способом на высоту благосостояния. Но большинство единоличных крестьян чувствовало другое: они глубоко чтили Кучума.

— Сначала мы тоже думали, что он пьяный или дурной, а потом узнали, что он — настоящий, — объяснил мне многократно непринятый в колхоз бедняк Астапов.

Оказывается, и в прошлом году Кучум тоже создавал колхоз крайне неохотно, с отсрочкой

и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. Такими непонятными действиями Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членом. Но в то же время Кучум не хитрил и не казался политиком. Он никогда не обещал ничего хорошего вперед, не давал никаких обязательств и поручительств на светлую жизнь и первый, среди всех известных мне колхозных активистов, имел мужество угрюмо сказать колхозникам, что их ожидает вначале горе неладов, неумелости, непорядка и нужды; причем нужда эта будет еще горче, чем бывает она на одном дворе, и побороть ее тоже будет трудней, чем одинокому хозяину; но зато, когда колхоз окрепнет, нужда сделается невозможной и безвозвратной: эту мысль Кучум, однако, не выговаривал, а лишь думал ее молча, — говорил же он другое.

— Но, может, потом нам будет хорошо? — робко спрашивали его первые колхозники.

— Не знаю, — искренно отвечал Кучум. — Это зависит от вас, а не от меня. Помогать я вам буду, кулака в колхоз не впущу, но кормиться и доби-

ваться лучшего вы должны сами. Вы не думайте, что только советской власти необходим ваш колхоз — советская власть и без хлеба жила — колхоз нужен вам, а не ей.

— Да ну?! — пугались первые колхозники. — А мы слышали, что колхоз советской власти по душе!

— Ну что ж, что по душе! У советской власти душа же бедняцкая, — стало быть, что вам хорошо, то и ей впрок.

Так, еле-еле, под напором нескольких неимущих был устроен колхоз «Без кулака».

И действительно, Семен Кучум никого не обманул — тяжко пришлось колхозным жителям в первое смутное время организационности. А Семен ходил среди всех в такие дни тяжести и говорил: «Ну, кого выписывать прочь?» Но никто не пожелал выписаться.

Только много позже, уже зимой, один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу, — сказал он. — Харчи дают без гущи, работай от сна до сна, всё помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить.

— Вали, — ответил ему Кучум. — Кулак ведь не одних большевиков из нашего брата делал, а и

вечных рабов еще, вроде тебя. Вали к чертовой матери!

После осеннего сева Кучум, однако, принял в колхоз дворов, кажется, десять, и то с серьезным разговором. Я написал «принял», но это не значит, что Кучум решал все дела колхоза в одиночку, наоборот, он отказывался ото всех дел, кроме прямой работы, вроде пахоты. Но сами колхозники так относились к Кучуму, что ничего не совершали без его слова; если же он молчал, тогда коллективисты чувствовали его настроение, и по его настроению делали свои постановления. После сортировки зерна и подготовки к севу Кучум принял еще дворов пять. Такими способами приема Кучум так настроил всю единоличную часть деревни, что бо'льшая часть единоличников уже напирала в ворота колхоза. Но Кучум не совершал приемов без показательных фактов колхоза, без достижения таких образцов работы, которые служат ясным и простым доказательством выгодности общественного трудового хозяйства. Поэтому он и принял десять дворов только после осеннего сева, проведенного, говорят, так, что единоличники стояли по сторонам колхозного поля и плакали, точно видели что-то трогательное.

После подготовки к севу также состоялся прием новых членов, и после весны, надо думать, Кучум отойдет сердцем и даст вход беднякам и середнякам. Правило Кучума, очевидно, было такое: чем больше колхоз доказывает сам себя (доказывает фактически — на ощупь населению), тем больше он пополняется новыми членами. Кучум не разрешал обманываться людям.

Такая политика, в сущности, лишала возможности бедноту и лучшую часть середняков проявить свою активность; такая политика, похожая отчасти на безвольный самотек, могла разоружить революционные силы деревни, и впоследствии район серьезно и резко указал Кучуму, что хотя сам он, Кучум, человек милый и геройский, но политика его почти кулацкая, и Кучум, обидевшись, все-таки согласился с районом, потому что ума и дисциплины в нем было больше, чем однодворного эгоизма.

Но в то время мне странно было видеть и слышать, как единоличники, не принятые еще в колхоз, любили этот колхоз и заботились о нем. Один средний крестьянин, по уличному прозванию Пупс, хотел, например, организовать группу колхозных кандидатов, дабы обеспечить себе первоочередное проникновение в колхоз, но Кучум

запретил такое неопределенное дело и разрешил Пупсу создать лишь товарищество общественной обработки земли. Пупс такое товарищество (ТОЗ) учредил, но остался все же в большой обиде на Кучума и, выпивши, ходил по деревне с песней:

– Эх, в колхозе вольно жить,
Вольно жить – не тужить…
Выпьешь бутылку-другую кваску
И побежишь погулять по леску!

Дойдя до правления колхоза, Пупс долго требовал, чтобы к нему вышел Кучум, — он хотел еще раз поглядеть на великого человека.

В разных частях быта и хозяйственной сноровки единоличников сказывалось влияние колхоза. Каждый личный хозяин норовил суетиться на своем дворе по звонкам колхоза, раздававшимся на всю деревню. Ему было теперь неудобно лежать дома на лавке, зная, что в колхозе трудятся. Особенно же доставалось женской части единоличников. Насмотревшись порядков в колхозе, мужики ходили теперь по своим домашним угодьям с полным презреньем.

— Марфуш! А Марфуш! — терпя свое сердце, обращался супруг к жене, а жена его доила коро-

ву. — Ты бы хвостяную конечность-то к коровьей ножке привязала: чего ж тебя хвостом животное по морде бьет! Ты бы хоть раз на колхозные дворы сходила — поглядела бы, как там членки доют!

Другой хозяин всю ночь спал с открытым окном избы, потому что и в колхозе люди спали с воздушным сообщением; третий человек выписывал сразу две газеты на одного себя, поскольку в колхозе приходилось по газете на каждую взрослую душу.

И еще я заметил, что колхозные девицы были самыми модными барышнями среди юношей единоличных дворов. Они им казались и вкусней, и сознательней, и гораздо изящней, точно социалистические парижанки среди феодального строя. Единоличные девки, глядя на молодых колхозниц, единодушно бросили белиться, перестав тереться щеками о белые стены, ибо ни одна колхозница не украшала свое лицо красками.

Таково было великое томление единоличников по колхозу, устроенному Кучумом без большого восторга. Мало того, я наблюдал людей, прибывших из окрестных деревень и, видимо, надеявшихся, что можно будет скустоваться своей деревней с колхозом Кучума.

— Действуйте себе на горе, если вам жизнь

не дорога, — сообщал Кучум таким гостям, — а жаловаться потом ко мне не приходите.

— Ишь ты какой! — обижались пришельцы. — У тебя, стало быть, и колхоз, и весь свет жизни, а мы сиди под собственным плетнем и жуй житное с солью!

— Я же вам говорю, чтоб вы организовались, раз вы беды не боитесь!

— А у вас-то в колхозе, аль беда какая?

Беды в колхозе, пожалуй, не было, но и покоя жизни тоже никто не знал. Но все же единоличники верили, что в колхозе с каждым днем прибавляется по одной капле лучшей жизни, а у них эта влага стоит всрезек, на одном уровне. Кучум посчитал, что о союзе с окрестными колхозами он будет говорить во время самой нужды в этом союзе, например: во время появления МТС, при землеустройстве, при организации борьбы с несознательными полевыми вредителями и в других больших хозяйственных случаях.

Мне было очень интересно, как сумел этот мрачный вождь бедняцкого движения к хлебу и свету организовать труд в колхозе и распределение продуктов. В этом деле он оказался скупым рыцарем. Весь состав колхоза он разбил на две половины: люди до 20 лет (юноши и девушки)

и люди старше 20 лет. При этом молодое поколение (до 20 лет) разбивалось еще на ряд групп: младенчество, детство, отрочество, рабочая молодежь в 15–20 лет. Для всей этой молодежной части колхоза снабжение было установлено, как в коммуне, без всякой разницы и поправки на общественную трудовую полезность (принималась во внимание только возрастная разница, например — младенец и уже работающий юноша в 17 лет и т. п.). Для членов старше 20 лет натуральное и денежное снабжение происходило сдельным способом. В хозяйственном плане колхоза было записано и утверждено следующее: «Весь доход колхоза “Без кулака”, за отчислением из него амортизации, налога, расходов по скоту, страховки и пр., делится на число душ-едоков; души-едоки до 20 лет получают свою долю дохода полностью, а более старшие лишь половину своей доли, и из расчета этой половины душевого дохода составляется сдельный расценок каждого члена старше 20 лет. Другая половина душевого дохода старшего члена за минувший хозгод делится так: четверть ее идет на усиление пищи и одежды молодого поколения, т. е. не свыше 20 лет, две четверти на хозяйственное развитие коллектива и последняя четверть в запасный,

неприкосновенный фонд, а также на помощь индустриализации государства».

Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных бывшим империализмом, работать на это живое будущее. Кучум знал, что нынешнее юношество уже будет жить в коммуне и не станет нуждаться в сдельщине. Впрочем, молодежь не нуждалась в сдельщине и сейчас: я узнал, что колхозники в возрасте 15–20 лет работали с предельным напряжением сил и не имели надобности в каком-либо подгоняющем принуждении, — им было необходимо лишь обучение. Эта картина — трудовое усердие молодежи — стала обычной в нашей стране, потому что советская юность не знает причин для избежания труда, разве что лишь когда переутомится или влюбится.

Рабочие планы составлялись в этом колхозе на каждые десять дней. Согласно такому общему декадному плану всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались объем работы, число часов для исполнения и расценок. Такие индивидуальные планы-талоны указывали обязанности каждого члена в течение одного, двух, а иногда трех дней.

Весь плановый и операционный штаб колхоза состоял из Кучума и его помощника, бывшего батрака Силайлова; но и эти двое также получали личные планы-талоны на обычную работу, общей же плановой и руководящей деятельностью они занимались по вечерам или рано утром.

Из новых учреждений в колхозе были детский сад с яслями и Дом коллективиста, работавшие под заботой двух учителей-колхозников, — причем эти учителя были освобождены от всякой сельскохозяйственной работы и снабжались так, как если бы им было меньше 20 лет. Последнее обстоятельство указывало на глубокий расчетливый такт Кучума; в остальном же он был скупец и безжалостный хозяин. Это его свойство сказалось и в плане колхоза, и во внешнем виде колхозников — одевались они плохо и имели худой, изработанный вид. Зато молодая часть колхоза была совсем другая — не только пригожа и сыта на лицо, но и одета вполне прилично: недаром колхозные девушки были парижанками для всех единоличных девок. В эту сторону Кучум уже ничего не жалел и лично ездил в город закупать мануфактурный матерьял для молодежи, беря для консультации парня и девицу.

В мою бытность в этом колхозе Кучум совершил

одно замечательно-правильное начинание: он, от имени колхоза, вызвал на соревнование весь местный состав единоличников, желавших быть колхозниками. Предметом соревнования были все обычные статьи весеннего сева: семзерно, площадь засева на лошадь-человека, срок и т. д. Призом же соревнования было следующее: если единоличники выиграют у колхоза или хотя бы близко сравняются с ним, то всех соревнующихся единоличников Кучум принимает в колхоз; если проиграют — пусть с приемом подождут до осени. Единоличники вызов Кучума приняли.

— Мы ему, черту, покажем, кто мы такие! — ожесточаясь для неимоверного труда, говорили некоторые единоличники.

— Попробуем. Может, и сладим.

— С ним попробуешь! Он, гляди, вот-вот и спать перестанет.

— Это бы ничего. Плохо то, что и другие все запляшут скоро под его шаг.

— На лицо-то он вялый, а как почнет рвать и метать — как только почва его носит!

— Ну, ведь и мы из костяного матерьяла сделаны!

— Замучил он нас. Если б он бабой был, то мы бы думали, что он присушку знает, а раз он му-

жик, то — непонятно. При нем, говорят, и дети в яслях не плачут.

— А что ж они делают?

— Кто ее знает! Наверно, сознавать начинают.

— Вот крест-то нам господь послал! От него, как от бабы, и отвязаться нельзя!

— Даже странно! — почти научно выразился какой-то единоличный малый.

Мне неизвестно, чем закончилось это редкое соревнование. Если даже колхоз и не выиграл, что при Кучуме недопустимо, то выиграло государство, ибо в той деревне засеяны, наверно, не только все порожние земли, но даже и овражные косогоры, ибо ярость мужиков была велика, да и у кучумовцев она немаленькая, хотя и другого качества.

Теперь задумаемся над тем: правильна ли работа Кучума во всех частях, нет ли в его работе скрытой установки на самотек, на этого врага бедноты и средних мужиков? Колхозы, конечно, есть судьба всемирного трудящегося крестьянства, но если авангард того же крестьянства и пролетариата не разбудит сознания в массах, не создаст тяги в колхозы, то судьба эта опоздает, а замедленное движение всегда чревато риском и падением.

Да, в работе Кучума есть и была бессознательная установка на самотек, на политику прижатых тормозов, но я считаю, что напирающая беднота украдет вскоре у Кучума эту установку, и тогда, потерпев самотек, он приобретет полный дар вождя.

В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходился ему другом, — то замечалось по искренности отношения и легкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправильности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли бы стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии, — за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мненье: собаке рубят хвост для того, чтоб она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова; тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно РИК и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм. Даже мне было глубоко грустно слушать такую отъявленную, негодяйскую речь.

Чем больше слушал Кучум эти слова своего друга, тем все значительней серело его лицо. Затем он стал бордовый, равнодушные его глаза осветились мгновенной энергией и, слегка приподнявшись, Кучум молча совершил резкий, хрустящий удар в грудь противосидящего друга. Друг без дыханья повалился навзничь. Но Кучум не чувствовал еще удовлетворенья. Он вышел из-за стола, поднял упавшего за куртку и дал ему свежий, сокрушающий удар в скуло — так что бывший председатель прошиб затылком оконную раму и вывалился из помещения на улицу, осыпанный мелочью стекла. После этого акта Кучум вновь приобрел унылое выражение своего лица, я же почувствовал значение партии для сердца этих угрюмых, непобедимых людей, способных годами томить в себе безмолвную

любовь и расходовать ее только в измождающий, счастливый труд социализма.

— До свиданья! — сказал я Кучуму.

— Прощай, — товарищески мягко произнес он, зная, что, куда бы я ни делся, я все же всюду останусь в строительстве социализма и какой-нибудь прок от меня будет.

Наевшись в колхозе мяса, я пошел из общего хозяйства по прямому направлению и часов через шесть дошел до большого селения — под названием Гущевка. Я стал в крайней избе на ночлег и долго лежал на лавке без сна, а в полночь в это же место пришел ночевать товарищ Упоев, глава района сплошной коллективизации, не имевший постоянного местопребывания.

К утру я уже коренным образом познакомился с товарищем Упоевым и узнал мужественную, необоримую жизнь этого простого человека.

Раньше любая кулацкая сила постоянно говорила бедняку Упоеву: «Ты — отсталый, ты человек напрасный на этом свете, ты — псих, — большевиком ты состоять не годишься: большевики — люди проворные».

Но Упоев не верил ни кулаку, ни событию, — он был не удержим в своей активности и ежедневно тратил тело для революции.

Семья Упоева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все свои силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали: «Упоев, обратись на свой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной серднячкой», то Упоев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный, окружающий его мир:

— Вот мои жены, отцы, дети и матеря, — нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!

И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Упоева, молчали вокруг этого полуголого, еле живого от своей едкой идеи человека.

По ночам же Упоев лежал где-нибудь в траве, рядом с прохожим бедняком, и плакал, орошая слезами терпеливую землю; он плакал потому, что нет еще нигде полного, героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира. Однажды, в полночь, Упоев заметил в своем сновидении Ленина и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на

Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил:

— Чего надо?

— О Ленине тоскую, — ответил Упоев, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Упоева допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, я буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упоев, увидев Ленина, заскрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упоев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь

зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, — через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Упоев взял руку Владимира Ильича — рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич, — сказал Упоев, — не скончайся нечаянно, — тебе-то станет все равно, а как же нам-то?!

Ленин засмеялся — и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай!

По возвращении в деревню, Упоев стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Упоев бил себя по животу и кричал: «Исчезни, стихия!»

Однако не всегда Упоев мог помнить про то, что он отсталый и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали — чья власть.

Упоева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму. В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах. Действительно, тюремный надзиратель стоял в дверях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Упоев сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, буду жить! — и повесился на поясном ремне,

прицепив его к коечному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснение Упоева, веско возразил:

— Ты, действительно, сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого ж он старался?!

— Тебе хорошо говорить, — сказал Упоев. — А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Упоева нравоучительным взглядом:

— Дурак: как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то умнее всех и если он умер, то нас без призору не покинул!

— Пожалуй что и верно, — согласился Упоев, и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Упоев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со всей революционной суши, — он полнее чувствует и понимает, что Ленин, действительно, позаботился и его сиротой не оставил.

И каждый год, зимой, Упоев думает о том бродяге, который вытащил его в тюрьме из петли, который понимал Ленина, никогда не видя его, лучше Упоева.

В общем же Упоев был почти что счастлив, если не считать выговора от окрЗУ, который он получил за посев крапивы на десяти гектарах. И то он был не виноват, — так как прочел в газете лозунг «Даешь крапиву на фронт социалистического строительства!» — и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами.

Упоев радостно думал, что вопрос стоит о крапивочной порке капиталистов руками заграничных, мало-вооруженных товарищей.

Бродя в последующие дни по усадьбам и угодьям колхоза, я убедился, что мненье о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно. От Упоева колхозники чувствовали не зажим, а отжим, который заключался в том, что Упоев немедленно отжимал прочь всякого нерачительного или ленивого работника — и лично совершал всю работу на его глазах.

Мне пришлось наблюдать, как он согнал рулевого с трактора, потому что тот жег керосин с черным дымом, — и сам сел править, а рулевой шел сзади пешком и смотрел, как надо работать. Так же внезапно и показательно Упоев внизывался в среду сортировщиков зерна и порочил

их невнимательный труд посредством показа своего уменья. Он даже нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получалась польза и не было желудочного завала. Девки, действительно, из страха или сознания, — не могу сказать точно отчего, — перестали глотать говядину целыми кусками. Раньше же у них постоянно бурчало в желудках от несварения. Подобным же способом показа образца Упоев приучил всех колхозников хорошо умываться по утрам, — для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы. С этой же трибуны Упоев всенародно чистил зубы и показывал три глубоких вздоха, которые надо делать на утренней заре каждому сознательному человеку.

Не имея квартиры, ночуя в той избе, какая ему только предстанет в ночной темноте, Упоев считал своей горницей все колхозное село и, томимый великим душевным чувством, выходил иногда на деревянную трибуну и говорил доклады на закате солнца. Эти его речи содержали больше волнения, чем слов, и призывали к прекрасной обоюдной жизни на тучной земле.

Он поднимал к себе на трибуну какую-нибудь пригожую девушку, гладил ее волосы, целовал в губы, плакал и бушевал грудным чувством.

— Товарищи! Вечно идет время на свете, — из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с летами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость и я скорблю, что уходит план моей жизни, ибо он выполняется на все сто процентов, и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества... Кто сказал, что я тужу о своей жизни?

— Ты сам сказал, — говорила Упоеву рядом стоящая девушка.

— Ага — я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть — это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь... Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями, — это ж всемирная слава колхозному движению! Пусть теперь глядит на нас любая звезда ночи — нам не стыдно суще-

ствовать, мы задаром организуем все бедное человечество, мы трудимся навстречу далеким планетам, а не живем, как гады!.. Скажи и ты что-нибудь или спой сразу песню! — обращался к девушке Упоев.

Девушка стеснялась.

— Скажи хоть приблизительно! — упрашивал ее Упоев в волнении.

— Что ж я тебе скажу, когда мне и так хорошо! — сообщала девица.

— Дядя Упоев, дай я тебе куплет спою! — предложил один юноша из рядов колхоза.

— Ну спой, сукин сын! — согласился Упоев.

Парень тронул на гармонике мотив и спел задушевным тоном:

— Эх, любят девки, как одна,
Любят Ваньку — пер…на!

— Раскулачу за хулиганство, стервец! — выслушав хороший голос, воскликнул Упоев, и бросился было с трибуны к гармонисту. Но его остановили активисты:

— Брось, Упоев, у него голос хороший, а у нас культработа слаба!

Позже Упоев спрашивал у меня о происхождении человечества: его в избе-читальне тоже

однажды спросили об этом, а он точно не знал, и сказал только, что, наверно, в самом начале человечества был актив, который и организовал людей из животных. Но слушатели спросили и про актив — откуда же он взялся?

Я ответил, что, по-моему, вначале тоже был вождевой актив, но в точности не мог объяснить всей картины происхождения человека из обезьяны.

— Отчего обезьяна-то стала человеком, иль ей плохо было? — допытывался Упоев. — Отчего она вдруг поумнела?

Здесь я вспомнил про Кучума и про того, кого он расшиб на месте.

— Самый главный стержень у животного и человека, товарищ Упоев, это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника — это голова, а другой — хвост.

— Понимаю, — размышлял Упоев. — Позвоночник в человеке вроде бревна, в нем упор жизни.

— Может быть, какие-нибудь звери отгрызли обезьянам хвосты, и сила, какая в хвост шла, вдарилась в другой конец — в голову, и обезьяны поумнели!

— А — может быть! — радостно удивился Упоев. — Стало быть, нам тоже звери — кулаки и

подкулачники должны что-нибудь отъесть, чтоб мы поумнели.

— Они уже отгрызли, — сказал я.

— Как так отгрызли? Что ж мне больно не было?

— А перегибщик линии — это тебе не подкулачник?

— Он, стерва.

— А он больно сделал коллективизации, или не больно?

— Факт — больно, гада такая!

На том мы и расстались, чтобы спать. Но после полуночи Упоев постучал мне в голову, и я проснулся.

— Слушай, ты ведь мне ложь набрехал! — произнес Упоев. — Я лег спать и одумался: это ведь не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали! Ты кто? Покажь документы!

Документов я с собой не носил. Однако Упоев простил мне это обстоятельство и экстренно проводил ночью за черту колхоза.

— Я полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду, — чего ты мне голову морочишь?

— Я слышал, что один перегибщик так гово-

рил, — слабо ответил я.

— Перегибщик, иль головокруженец есть подкулачник: кого ж ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.

Я отказался. Упоев посмотрел на меня странно-беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающихся людей.

— По-твоему, наверно, тоже — Ленин умер, а один дух его живет?! — вдруг спросил он.

Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроенья.

— И дух, и дело, — сказал я. — А что?

— А то, что ошибка! Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли!

Я шел молча, ничего не понимая. Упоев вздохнул и дополнительно сообщил:

— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин… Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду!

Мы попрощались.

— Вертайся, черт с тобой! — попросил меня Упоев.

Из предрассудка я не согласился и ушел в тьму.

Шаги Упоева смолкли на обратном пути. Я пошел неуверенно, не зная, куда мне идти и где осталась позади железная дорога. Глушь глубокой страны окружала меня, я уже забыл, в какой области и районе я нахожусь, я почти потерялся в несметном пространстве. Но Упоев бы и здесь никогда не утратил стойкости души, потому что у него есть на свете центральная дорога и любимые им люди идут впереди его, чтобы он не заблудился.

Все более уважая Упоева, я шел постепенно вперед своим средним шагом и вскоре встретил степной рассвет утра. Дороги подо мной не было; я спустился в сухую балку и пошел по ее дну к устью, зная, что чем ближе вода к поверхности, тем скорее найдешь деревню.

Так и было. Я заметил дым ранней печки и через краткое время вошел на глинистую, природную улицу неизвестного селения. С востока, как из отверстия, дуло холодом и сонливой сыростью зари. Мне захотелось отдохнуть; я свернул в межусадебный проезд, нашел тихое место в одном плетневом закоулке и улегся для сна.

Проснулся я уже при высоком солнцестоянии — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди его сидел человек без шапки — верхом на коне. Я подошел к

общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?

— Это воинствующий безбожник только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает, — объяснил мне сельский гражданин.

Действительно, товарища Щекотулова, активно отрицавшего Бога и Небо, знали здесь довольно подробно. Он уже года два, как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в Бога, тот пускай остается дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной массой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто ж главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — объяснял Щекотулов и говорил дальше: — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не

было! Верующий в гада-бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение тов. Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот, — обращался тов. Щекотулов. — Сознательные женщины плачут предо мной, стало быть, они сознают, что Бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где ж ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался тов. Щекотулов. — Если б он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества…

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы, — а как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов. — Тогда я его покараулю.

— Чего ж тебе караулить: Бога нету, — с хитростью сообщили бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов. — Я так и знал, что

убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И тов. Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедовать отсутствие бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в Бога против тов. Щекотулова.

В другой деревне тов. Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж! — отвечали ему верующие. — Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Иисуса Христа нет.

Щекотулов становился своим умом в тупик.

— В природе-то нет, — объяснял Щекотулов, — но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Маркс Карл предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе сотворилась…

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете, — заключил

Щекотулов, — то лучше в меня верьте, лишь бы не в Бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже Бога! Бог хоть невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение, — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно закричал на всех:

— Это контрреволюция!! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!

— Стоп, товарищ, сильно шуметь! — сказал с места невидимый мне человек.

И я услышал голос, говорящий о Щекотулове как о помощнике религии и кулацком сподручном. Человек говорил, что религия — тончайшее дело, ее ликвидировать можно только посредством силы коллективного хозяйства и с помощью высшей и героической социальной культуры. Такие же, как Щекотулов, лишь пугают народ и еще больше обращают его лицом к православию, — Щекотуловым не место в рядах районных культработников.

Вторым выступил я, потому что почувствовал ярость против Щекотулова и революционную

совесть перед массами; я тщательно постарался объяснить религию как средство доведения народа капиталистами до потери сознания, а также рассказал, насколько мог, правильные способы ликвидации этого безумия; при этом я опорочил Щекотулова, борющегося с безумием темными средствами, потому что Щекотулов есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет.

Щекотулов, дав мне закончить, быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка: в колхозы он небось ездить перестал! — сказал кто-то ему вслед. — Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

Деревня, где я теперь присутствовал, называлась 2-м Отрадным, 1-е же находилось еще где-нибудь. 2-е Отрадное до сих пор еще не было колхозом, и даже ТОЗа в нем не существовало, точно здесь жили какие-то особо искренние единоличники или непоколебимые подкулачники. Со вниманием, как за границей, я шел по этой многодворной деревне, желая понять по наглядным фактам и источникам уцелевший здесь капитализм.

На завалинке одной полуистлевшей избы сидел пожилой крестьянин и, видимо, горевал.

— О чем ты скучаешь? — спросил я его.

— Да все об колхозе! — сказал крестьянин.

— А чего ж о нем скучать-то?

— Да как же не горевать, когда у всех есть, а у нас нету! Все уж давно организованы, а мы живем, как анчутки! Нам так убыточно!

— А тебе очень в колхоз охота?

— Страсть! — искренно ответил крестьянин.

Либо он обманывал меня, либо я был дурак новой жизни.

Я постоял в неизвестности и отошел посмотреть на местный капитализм.

Он заключался в дворах, непримиримо желавших стать поместьями, и в слабых по виду людях, только устно тосковавших по колхозу, а на самом деле, может быть, мечтавших о ночной чуме для всех своих соседей, дабы наутро каждому стать единственным хозяином всего выморочного имущества. Но с другой стороны, на завалинках сидели горюны о колхозном строительстве, а самого колхоза не было. Стало быть, здесь существовала какая-то серьезная загадка. Поэтому я ходил и исследовал, будучи весь начеку.

Вечером я попал в избу-читальню, узнав за

день лишь одно, что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: «Уставная», «Классово-отборочная», «Инвентарная», «Ликвидационнокулацкая», и наконец — «Разъяснительно-добровольческая».

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что такого большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное живое начало в бесконечных, якобы подготовительных, бюрократических хлопотах. Я поговорил с председателем «разъяснительно-добровольческой» комиссии, — мне хотелось узнать, в чем заключается его работа.

— Боимся, чтоб принуждения не было: развиваем добровольчество! — сообщил председатель.

— Развили уже, или не удается? — спросил я.

— Как вам сказать? Конечно, знамя массовой разъяснительной работы мы держим высоко, но — кто его знает — а вдруг единоличники еще не убедились! Перегнуть ведь теперь никак нельзя, приходится держать курс на святое чувство убедительности!

Мне показалось, что председатель несколько скрытный человек.

— И давно работают ваши комиссии?

— Да уж четвертый месяц! Зимой-то мы не управились сорганизоваться, а теперь ведем массовую кампанию!

Окружающие комиссии что-то тихо писали, а мужики заунывно ожидали колхоза на завалинках. Один из таких ожидальцев пришел потом к председателю комиссии для дачи сведений.

Его спросили:

— Чувствуешь желанье коллективизации?

— Еще бы! — ответил крестьянин.

— А отчего ж ты чувствуешь?

— От безлошадности. Ты ведь, — обратился он к председателю, — мне исполу пашешь, а вон лошадная бригада исполу и пашет, и сеет, и зерно на двор везет! Только та лошадная колонна на колхозы работает, а на нас не управляется!

— Так это же твое рваческое настроенье, а не колхозное чувство! — даже удивился председатель. — Ты, значит, еще не убежден в колхозе!

— Да как тут понять! — выразился безлошадный. — Колхоза мы почти что и не чувствуем, — чувствуем, что нашему брату жить там барыш!

— Барыш — рвачество, а не сознание, — отве-

тил председатель. — Придется нам еще шире повести разъяснительную кампанию!..

— Веди ее бессрочно, — сказал безлошадный, — тебе ведь колхоз — убыток…

Председатель терпеливо промолчал.

Легко было догадаться, что здешние зажиточные и подкулачники стали чиновниками и глубоко эксплуатировали принцип добровольности, откладывая организацию колхоза в далекое время какой-то высшей и всеобщей убежденности. Неизвестно, насколько здесь имелось потворства со стороны района, только вся кулацкая норма населения деревни (около 5 процентов) сидела в комиссиях, а бедняки и средние, видя в окружающих колхозах развитие усердного труда и жизненного довольства, считали свое единоличие убытком, упущением и даже грехом, кто еще остаточно верил в Бога. Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой всемирной истории, говорящие свои мысли на

чужом, двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке. Бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок и скудное сиротство в голой избе, — тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по волости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь.

Но внутри самой ихней деревни сидел в комиссии кулацкий змей, а единоличные беднячки ходили в гунях, никогда не пробуя колхозного мяса.

Удивительно еще то, что колхозные комиссии ни разу не собирали во 2-м Отрадном бедняцко-середняцкого пленума, откладывая такое дело вплоть до неимоверной проработки всей гущи оргвопросов, которые ежедневно выдумывали сами же члены-подкулачники.

Посоветовавшись с некоторыми энергичными бедняками, я написал письмо тов. Г. М. Скрынко на Самодельный хутор, поскольку он был

наиболее разумным активистом прилегающего района.

«Тов. Григорий! Во 2-м Отрадном колхозное строительство подпольно захвачено зажиточно-подкулацкими людьми, женская беднота заявляет свое страдание непосредственно песнями на улицах. А твой район и возглавляемая тобой МТС почти что рядом. Советую заехать тебе прежде в районную власть и, узнав — нет ли там корней каких-либо, расцветших целыми ветвями во 2-м Отрадном, — прибыть сюда для ликвидации бюрократического очага».

Один бедняк взялся снести письмо тов. Г. М. Скрынко, я же, убежденный, что Скрынко явится во 2-е Отрадное и ликвидирует бюрократическое кулачество, пошел дальше из этого места.

Погода разведрилась, в природе стало довольно хорошо, и я шел с покойной за колхозы душою. Озимые поколения хлебов широко росли вокруг, и ветер делал бредущие волны по их задумчивой зеленой гуще, — это лучшее зрелище на всей земле. Мне захотелось уйти сегодня подальше, минуя попутные малые колхозы, дабы найти вдали что-нибудь более выдающееся.

Вечернее солнце застало меня вблизи какого-то парка; от проезжей дороги внутрь парка вела

очищенная аллея, а у начала аллеи находилась арка с надписью: «С. х. артель имени Награжденных Героев, учр. в 1923 г.».

Здесь, наверно, общественное производство достигло высокого совершенства, люди, может быть, уже работали с такой же согласованной легкостью, как дышали сердцем. С этой ясной надеждой я свернул со своего пути и вступил на землю артели.

Пройдя парк, я увидел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых и отремонтированных хозяйственных помещений в плановом, разумном порядке были расположены по усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно, для лучших санитарно-гигиенических условий. Если раньше эта усадьба и была приютом помещику, то теперь не осталось от прошлого никакого следа. Не желая быть ни гостем, ни нахлебником, я пошел в контору артели и, сказав, что я колодезный и черепичный мастер, был вскоре принят на должность временного техника по ремонту водоснабжения и по организации правильного водопользования. В тот же час мне была отведена отдельная комната, предоставлена постель и меня, как служебное

лицо, зачислили на паек. С давно исчезнувшим сознанием своей общественной полезности, я лег в кровать и предался отдыху — авансом за будущий труд по водоснабжению.

Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса «На командных высотах», содержащая изложение умиления пролетариата от собственной власти, то есть чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас идет как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второсортные усердствуют в искусстве.

Члены артели героев, устроенной по образцу якобы коммуны, имели спокойный, чистоплотный вид и глядели на героев действия пьесы, как на самих себя, отчего еще более успокаивались и удовлетворялись. Четыре девочки-дочки стояли по углам сцены и держали десятилинейные лампы; одеты девочки были в белые платья, на головах их лежали густые прически — и весь их вид напоминал старинных гимназисток.

Кроме нормальной сытости лиц, ничего в тот вечер я заметить в артельщиках не успел.

Проработав же несколько дней на ремонте

трубчатого колодца, я узнал достаточно многое и неутешительное для себя. Своими глазами я, пожалуй, не сумел бы все разглядеть, но со мной на колодце работали два члена артели, и они мне объяснили некоторые обстоятельства про тех, кто тщетно хотел уподобиться действительным героям жизни.

Эти два члена, оказывается, были в артели недавно и ненавидели почти всех других артельщиков; причиной такого безумного явления было следующее: РИК и сельские партячейки вели политику на пополнение артели Награжденных Героев бедняками-активистами; правление же артели не хотело принимать никаких новых членов, ибо для правления хороши были только старые, сжившиеся между собой люди. Но кто же были эти старые члены артели, ее основатели? Может быть, тайные кулаки?

— Что ты?! — удивились два человека, поставленные со мной на ремонт колодца. — Это — сплошное геройство Гражданской войны! Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: вполне наши люди!

— А отчего ж они никого в свою артель пускать не хотят?

Бедняки несколько подумали.

— Видишь ты, в семнадцатом году и они бедняками были — стало быть, не было у них ничего, кроме своего класса, а теперь накопили бугор имущества, а класс оставили в покое…

Однако невозможно было, чтобы все герои битв с белогвардейцами стали хозяйственными рачителями и врагами окрестной бедноты: куда же могла исчезнуть их основная беззаветная натура? И я узнал, что, действительно, иные основатели артели уже давно умерли от болезней и плохо залеченных ран, другие же бросили артель и ушли безвозвратно в города, третьи же остались в артели навеки. Эти третьи были героями не от классовых, органических свойств, а от каких-то мгновенных условий фронта, то есть — не помня себя, а теперь они эксплуатировали свои нечаянные подвиги со всей ухваткой буржуазной мелочи.

Председатель артели тов. Мчалов пришел на нашу работу к концу четвертого дня. Я увидел полнотелого, пожилого человека с горюющей заботой на лице, но со старым красноармейским шлемом на голове.

— Озимые-то, говорят, все в Черноземной области померзли, — сказал он мне. — Чего только кушать будем в будущем операционном году?..

И сейчас тоже — нужен бы дождь под овсы, а его нет и нет!..

— Ты бы лучше кулацкий картуз надел на голову, — сказал я ему. — А красноармейский убор лучше бы снял!.. Кто тебе врет и кого ты слушаешь?..

— Да кажется мне так, а люди сообщают, — произнес председатель. — Ведь сердце-то болит!.. Слушай, ты, как колодезь исправишь, так уходи, а то за тебя в соцстрах придется платить, прозодежду покупать, — ты ведь не член, от тебя заботы не оберешься, а воды мы и без тебя напьемся!..

Обедать мне полагалось в общей столовой; обед был плохой, и я голодал, не понимая, почему члены артели так упитанны в теле; потом все те же оппозиционно-настроенные бедняки-новочленцы показали мне, что артельщики обедают еще вторично по своим комнатам. Обед же в столовой совершался как можно бедней, дабы постоянно торчащим на усадьбе артели окрестным беднякам не казалось, что в артели сладко едят.

Чем больше я жил в этой артели, тем больше убеждался, что ее идеология — ханжество, несмотря на значительное общее достояние, несмотря на крупные производственные успехи. Артельщики-герои, особенно перед посторонни-

ми мужиками, постоянно ныли о плохом урожае прошлого года, о том, что жизнь в артели убыточна и придется, видно, скоро на дворы разделяться и уходить в старину.

Все это было, конечно, лицемерие. Годовой доход на каждого члена артели по крайней мере вдвое превышал такой же доход на местную душу середняка-единоличника, а доля основного капитала, падающая на каждого артельщика, приближалась к тысяче рублей.

Но откуда же это ханжество, эта хитрая, скрытая борьба с партией и бедняками за сохранение только для себя своего удела?

Сама артель находилась островом среди довольно пространного, если не моря, то озера единоличников. Бедняцкий актив ближних деревень, а также советско-партийные организации давно имели желание сделать эту артель центром, источником опыта общественно-классового хозяйства для большого колхоза-комбината. Но артель, состоящая из бывших героев, геройски сопротивлялась, — разрушать же высокое, в производственном смысле, хозяйство ни активисты-бедняки, ни партийцы не хотели. Наоборот, все их попытки поставить артель во главе колхозного движения основывались на

добровольном соглашении с правлением артели. Но соглашение это не удавалось. Больше того, за последние четыре года артель приняла в новые члены только десять человек бедняков, и то под большим давлением всех организаций. Причем двое из этих десяти обжились в артели, прониклись ее скопческим духом делячества, трое вышли назад, променяв сундуки артели на воздух большевистского ветра, пятеро же составили в артели настоящую большевистскую оппозицию сектантскому правлению; с двоими из них я и был знаком. Понятно, эти пятеро не имели решающего значения в артели, их даже при первом случае могли вычистить из членства. Но они-то, по-моему, и есть действительный зародыш будущего, большевистского правления артели, которое должно сменить бывших героев, а нынешних ханжей и сладкоежек.

Во всем районе, где находилась артель имени Награжденных Героев, в колхозах было лишь процентов двадцать бедняков и середняков; больших колхозных массивов не существовало еще вовсе, и все маленькие, точечные колхозы, как и артель, варились в своем деляческом соку. Отсутствие массовости колхозного движения, святое, ханжеское соблюдение принципа доброволь-

ности (по существу же развитие пассивности в лучших людях бедноты), какая-то безветренность всей обстановки и создала, вместо колхозной нарастающей реки, лужицы-колхозики и целое болото такой артели.

Доделав порученную мне колодезную работу, я получил десять рублей и должен был уходить. Но оставлять такую роскошно-производственную артель новорастущим феодалам было весьма жалко. Ведь артель в прошлом, средне-благоприятном году дала урожая пшеницы почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей. Было ясно, что это хозяйственное место может объединить, поставить на ноги и двинуть вперед несколько сот бедняцких хозяйств. Так зачем же тут содержать несколько десятков неподвижно-жиреющих «героев»? Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми, старинными способами; хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевистской. Что

же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрением, приложить к ее угодьям, вместо сухого рачительства — ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительным трудовым товариществом крестьян-бедняков?

Двое оппозиционно-настроенных членов артели и я долго обсуждали болезненные предметы артели, не видя, как найти способ их уничтожения.

Один член в конце беседы спросил меня:

— А что у нас сильнее и лучше всего?

Я ему сказал, что это — диктатура пролетариата.

— Пойду в окрисполком, пойду в окружной комитет партии, попрошу сменить наше правление артели посредством диктатуры пролетариата, — сказал товарищ. — Везде коммуны и старые артели ведут колхозы, а у нас она мертвая пробка.

— Наверно, наша артельная коммуна — это не коммунизм, — произнес другой артельщик.

— Ваша артель вроде кулацкого товарищества на трудовых паях и на государственном имуществе, — сообщил я некоторое определение.

— А ведь учредители — герои Гражданской

войны! — с жалостью сказал один из присутствующих членов.

— Но время побеждает героев и делает из них одну смехотворность!

Это сказал я, но коммунары тут же меня опровергли.

— Ты ложь говоришь: есть такие герои, которые никогда не опаздывают против времени, они его ведут позади себя.

Ввиду очевидности, я, конечно, согласился. После этого мы собрали одному артельщику общие средства и он пошел призывать сюда в помощь пролетарскую диктатуру.

Человек ушел и через два дня вернулся. Во 2-м Отрадном, оказывается, уже сидела какая-то комиссия из областного города, которая установила существенную связь между правлением артели пожилых героев и пятью колхозными комиссиями 2-го Отрадного. Таким образом, было установлено еще до прибытия тов. Скрынко, что артель Награжденных Героев была лишь агентурой подкулацкой стихии, действовавшей во 2-м Отрадном, и обратно — артель была крепостью зажиточных групп единоличников. Связь эта, в сущности, была известна давно: она выражалась в брачных узах между членами артели и подку-

лачницами, и наоборот. То, что было связано по классу, то затем было укреплено плотью.

Ввиду этого тайной деревенской буржуазии приходил конец, и я с удовлетворением отправился отсюда в очередную даль, какая была мне видна из усадьбы артели.

* * *

Под религиозный праздник Пасхи я вошел в небольшой колхоз «Сильный Поток», и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батрака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда управишься войти в членство, — говорили Филату руководящие лица. — Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур, — Филат притворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхозной деревни, куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд.

И так жил Филат в усиленных заботах о колхозном добре и порядке, не будучи членом артельного хозяйства.

К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба, звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Такого человека правление колхоза решило принять в члены на первый день Пасхи, дабы вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе.

Накануне Пасхи Филата одели в роскошную чистоплотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался «Музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса».

Избу-читальню загодя украсили флагом и ло-

зунгом, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыльцо, около которого стояла, собравшись, вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел жить в будущем еще более преданно и трудоспособно, чем он жил дотоле.

— Вот, — сказал активный председатель всему колхозу, — вот вам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Не колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а наоборот — Филат стоит улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же непонятна наша радость? Оттого, что Филат был самый гонимый, самый молчаливый и самый малокушавший человек на свете! Он никогда не говорил слов, а всегда двигался в труде — и вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат, нам что-нибудь, — теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа…

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье, — пусть уж другим достается…

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу, — тихо сказал Филат, — только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье, — грудь не выдержит!..

— Ничего: обтерпишься! — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху…

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на землю и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника.

— Значит, есть Исус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть тридцать семь лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я живой — ты видишь, солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили — и вот меня уж нет…

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель. — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтоб они сохли, а не плакали.

Невдалеке от колхоза «Сильный Поток» я встретил железнодорожную насыпь и, пойдя вдоль нее, достиг станции и поехал поездом.

В течение одних суток я уехал настолько далеко, что сошел с поезда уже в Острогожском округе, на родине ценнейшей во всем СССР михновской овцы. Однако Острогожский округ не имеет возможности всерьез и планово заняться разведением последней, ввиду того что сухих здоровых для овец пастбищ в округе нет, а сырые

подлунные и заболоченные пастбища страшно заражены всевозможными инфекциями и в особенности почечной двуусткой овец.

Селения Острогожского района — Ольшаны, Гумны, Писаревка, Осиповка, Гнилое, Средне-Воскресенское, Рыбенское, Луки, Александровка — и других районов совершенно отказались от разведения и выращивания овец, так как последние, поголовно пораженные фасциолезом, гибнут тысячами на заболоченных пастбищах.

Далеко не полный учет говорит о гибели в течение двух последних лет до 40 тысяч пораженных почечно-глистной болезнью овец — на общую сумму, за округлением, 500 тысяч рублей.

Все препараты, применяемые при медикаментном методе лечения, не достигают желаемых результатов — и население, и вет-персонал убедились в совершенной бесцельности всякого лечения при наличии заболоченных пастбищ, так как овцы каждую минуту, с каждым стеблем болотной травы получают все новую и новую порцию глистов.

С ветеринарно-санитарной точки зрения опасно и экономически невыгодно отдать заболоченные места микробам — бактериям и глистам для их пышной жизни и лишить скот здоровых кор-

мов, которыми так беден Острогожский округ.

Исходя из вышесказанного, окрветотдел в своих докладах и планах считает мелиорацию — осушение болот и заболоченных пастбищ — единственным средством избавить овцеводство от постоянной угрозы гибели и находит существенно необходимым немедленную организацию работ по осушке заболоченных пастбищ, в первую очередь — по течению реки Тихой Сосны с ее притоками, как прорезывающую весь округ, пойма которой (массив поймы 30 тысяч гектаров) после осушения станет экономической базой округа, а также и будет разрешена проблема разведения михновской овцы во всем округе.

Но когда-то во всем Острогожском округе были девственные пастбища, — хотя это было не только до появления здесь овцы, но и до человека, — еще прежде оседания первых поселений людей по берегам Тихой Сосны, — ибо именно к тому начальному времени относится зарождение оврагов в меловых отложениях, в связи с хозяйственной деятельностью человека. Овраги же, выходя своими устьями в пойму реки, выносили в нее почвенный матерьял и тем создавали затухание речного потока, начиная долгую эпоху заболачиванья.

Если посмотреть на всю площадь Острогожского округа, то можно увидеть великое народно-хозяйственное бедствие от быстрого роста болот.

Но со смертью рек не только дохнут овцы и падает животноводство, — начинает умирать и человек. Злокачественная, хроническая малярия сильно распространена среди жителей долины Тихой Сосны.

И было бы, конечно, малодушием, установив такое грозное бедствие, не попытаться вступить с природой в сражение — для отвоевания у нее громадных бросовых площадей, чтобы дать скоту питательный, безболезненный корм, а трудящимся людям продукцию и здоровье.

Эта борьба с природой за десятки тысяч гектаров заболоченных площадей началась в 1925 году. Проект регулировочно-осушительных работ по реке Тихая Сосна охватывает пойменный массив протяжением в 40 километров и на площади в 83 квадратных километра. Примерно треть всего объема работ уже выполнена; сами работы с 1927 года механизированы, то есть чистит и углубляет реку не человек, стоящий с лопатой в воде, а плавучий экскаватор, — причем эта затерянная в болотах машина может служить некоторой общей гордостью советской землечер-

пательной техники, ибо машина оригинальной конструкции и впервые сделана в Советском Союзе (ни до войны, ни после в России подобные машины не делались, их покупали обычно в Америке). Но советские инженеры применяют для борьбы с болотами не только машины, а и взрывную технику, разрушая слежавшиеся наносы и карчу, душащие реку, динамитом.

Насколько население заинтересовано в успехе работ, видно из того, что участие населения в затратах (преимущественно натуральным трудом) составляет 52 процента исполнительной сметы. Но эти данные относятся к эпохе мелиоративных товариществ, то есть ко времени простейших целевых объединений крестьянства; теперь же, когда в долине Тихой Сосны есть мощные колхозы, надо ожидать гораздо более высокого темпа осушительных работ и еще более энергичного участия в них населения.

Придолинное крестьянство еще в 1924 году, когда я был на Тихой Сосне, уже знало, что вести пойменное хозяйство, тем более создать из болот луга, одним напряжением единоличного хозяйства нельзя, — и в 1925 году, к моменту начала работ, все заинтересованное обедневшее крестьянство объединилось в мелиоративные

товарищества, то есть в зачаточную форму производственного кооператива.

Таковы богатые факты на этой бедной долине, где и посейчас идет тяжелая борьба за создание девственной, погибшей родины михновской овцы.

Выбравшись из этой дружно-трудящейся долины на суходолы, я вошел в колхозную деревню «Утро Человечества», прельщенный как хорошим названием, так и добавочным лозунгом на вывеске колхоза, взятым из метрической системы: «Всем угнетенным народам — на долгие времена». Ясно, что это относилось к колхозной организации жизни и труда.

У заставы колхоза стоял некий старый уже человек, с милым, но грозным лицом, и смотрел на меня.

— Ты кто? — спросил он.

Я ему приблизительно ответил, так как вопрос в сущности не очень прост.

— А ты не кадр?

— Кадр.

— Где служишь?

— В уме.

— Ну, входи, пожалуйста, — это хорошее учреждение. Пойдем, я тебя яичницей покормлю. А

я знаешь кто?

— Кто?

— Да председатель всей бузы новой жизни, товарищ Пашка. Здравствуй!

— Здравствуй.

Раньше я боялся — гожусь ли я в новую жизнь, — а теперь видел, что чем жизнь новее, тем люди ко мне проще и родней.

Веселая жена Пашки живо и прилежно сделала нам яичницу, а мы стали ее есть. Во время пищи я загляделся на супругу Пашки — она была красива до прелести, хотя в общем — уже пожилая, но не в этом заключалась ее привилегия, а в том, что она веселая и уверенная в своей жизни и, кроме того, мудрая и передовая, как я узнал впоследствии. Мне уже приходилось встречать ряд колхозниц, подобных этой женщине, и я обращал свое внимание на их повеселевший нрав. Отчего это получилось, трудно сформулировать, поскольку на колхозницах лежит сейчас больше забот и тревог, чем на единоличницах; однако же единоличницы в большинстве своем лишь традиционно-унылые, беспросветные бабы.

— Так, стало быть, ты кадр! — поев, высказался Пашка (отчества его я еще не знал) и тронул меня за грудь.

— Кадр, — подтвердил я.

— Ну а вдруг ты ложный! — догадливо испугался Пашка. — Ответь мне на общий вопрос: сколько нужно кирпичей, чтоб построить научную избушку-читальню?..

Второй поверочный вопрос Пашки был из другой области:

— Говорят, что мир бесконечен и звездам нет счета! Неверно, товарищи, — это буржуазная идеология: буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось и было куда бежать от пролетариата. А по-моему, мир имеет конец и звездам есть окончательный счет…

Я подтвердил, что Пашка говорит вполне справедливо: вселенная не может быть неопределенно-бесконечной.

— А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?.. Есть ли в веществе какие законы или там одни только тенденции? Вот говорят, что можно сделать две палки, равные друг другу! Чушь!! Я четыре недели стругал две линейки, и все же на полволоска они никак не сходились! Где же закон равенства? Одни только тенденции, и более нет ничего!

По возможности, я отвечал на все его вопросы.

— Ну, достаточно! — определил часа через два Пашка. — Оставайся у нас колхозным техником — решай великую задачу, чтоб нам догнать, перегнать и не умориться. Можешь? — А мы хотим сделать тут такой колхоз, чтоб он был, как автомобиль-форд, годен по организационной форме и мужику-африканцу, и бедняку-индейцу. Ясно тебе?

— Ясно-то ясно, только это не нужно: африканский мужик и сам не дурак.

— Он-то нет, а ты-то дурак! Ведь СССР — самая передняя по революции держава! Отчего же нам не делать для всего отсталого света социальные заготовки?! А уж по нашим заготовкам пускай потом всемирная беднота пригоняет себе жизнь в меру и впрок!..

Пожив и потрудившись в «Утре Человечества», я узнал про тов. Пашку все подробности его истекшей жизни. Эти подробности обозначали Пашку как великого человека, выросшего из мелкого дурака, — пусть даже некоторые его действия покажутся неловкими и смешными: ведь мы имеем перед собой только начало будущего человека.

Всем своим воспитанием и просвещением он был обязан исключительно своей жене, которая его довела до ума и активности. Вот как дело

было.

В старину, до революции, Павла Егоровича никто не звал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте, — все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы, — ему хотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, — поэтому ему приходилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные угодья.

— Бери — владей, — выпив и утерев рты, сказали волостные мужики. — Какая-нибудь мелочь вырастет! Хозяином себя будешь считать!

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежавших ему.

В другой раз Пашка приобрел фруктовое дерево. Шел он мимо помещичьего сада и видит — ползет по дереву черный червь. Пашка испу-

гался, что тот червь съест сначала одно дерево, а потом и весь благоухающий сад. А когда начнут пропадать сады, то государство ослабнет, а затем нагрянет какая-нибудь босая команда и отнимет у Пашки овраги и мочежинные владения.

Тогда Пашка пришел к помещику.

— Стефан Еремеевич! У тебя там на дереве черный червь явился: он тебе все фруктовые стволы сгложет — ты гляди!

— Ты говоришь: черный червь! — с задумчивым умом произносил Стефан Еремеевич. — Что это: флора или фауна? Черный червь! Так что же мне делать с ним? А вот что: Пашка, ты возьми то дерево, вырви его с корнем и тащи вон с поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе в след и подбирай червей в шапку!

Пашка изъял из сада вредное дерево и перенес его к себе в овраг, где и вонзил в глину, желая, чтобы вырос собственный сад.

Но дерево умерло, и наступила революция. Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврага его сразу выгнали, чтоб он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не

ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в Советском государстве надо стать худшим на вид человеком.

И действительно, его уважали сельсоветы.

— Вот, — говорили сельсоветы на Пашку, — идет наш сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге, — отвечал Пашка.

Председательсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведовать кооперативом. Пашка увидел товары и пожалел их продавать: население все может поесть и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно поберечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным Советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду, как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бес-

платно пролетарскую еду. На суде Пашка сказал, что он ищет самого низшего места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью. Теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более что бедней мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С бедностью мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество…

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Пашка, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и

светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.

Начиная с того светлого судебного момента и доныне Пашка все время лез в гору, и дошел до поста председателя колхоза, — настолько в нем увеличилось количества ума, благодаря воздействию сознательной супруги.

И в районе Пашку тоже высоко ценили, как низовую пружину, жмущую бедные и средние массы вперед; он же сам все более тосковал, что не знает всей научности на свете, и собирался поехать учиться после пятилетки.

Я прожил в колхозе «Утро Человечества» очень долго; я был свидетелем ярового сева на 140 процентов от плана и участником трех строительств — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтоб в

СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце! И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов зазастил солнце над Британией!.. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном, — пусть наш рабочий товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я, — товарищ Пашка!..

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощанье и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь, — сказал мне Павел Егорович. — Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня!

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.

<Весна 1930 — начало 1931 г.>

Счастливая Москва

1

Темный человек с горящим факелом бежал по улице в *скучную* ночь поздней осени. Маленькая девочка увидела его из окна своего дома, проснувшись от скучного сна. Потом она услышала сильный выстрел ружья и бедный грустный крик — наверно, убили бежавшего с факелом человека. Вскоре послышались далекие, многие выстрелы и гул народа в ближней тюрьме… Девочка уснула и забыла все, что видела потом в другие дни: она была слишком мала, и память и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью. Но до поздних лет в ней неожиданно и печально поднимался и бежал безымянный человек — в бледном свете памяти — и снова погибал во тьме прошлого, в сердце выросшего ребенка. Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь молодой радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик мертвого, и молодая женщина сразу меняла свою жизнь — прерывала танец, если танцевала, сосредоточенней, надежней работала, если тру-

дилась, закрывала лицо руками, если была одна. В ту ненастную ночь поздней осени началась Октябрьская революция — в том городе, где жила тогда Москва Ивановна Честнова.

Отец ее скончался от тифа, а голодная осиротевшая девочка вышла из дома и больше назад не вернулась. С уснувшей душой, не помня ни людей, ни пространства, она несколько лет ходила и ела по родине, как в пустоте, пока не очнулась в детском доме и в школе. Она сидела за партой у окна, в городе Москве. На бульваре уже перестали расти деревья, с них без ветра падали листья и покрывали умолкшую землю — на долгий сон грядущий; был конец сентября месяца и тот год, когда кончились все войны и транспорт начал восстанавливаться.

В детском доме девочка Москва Честнова находилась уже два года, здесь же ей дали имя, фамилию и даже отчество, потому что девочка помнила свое имя и раннее детство очень неопределенно. Ей казалось, что отец звал ее Олей, но она в этом не была уверена и молчала, как безымянная, как тот погибший ночной человек. Ей тогда дали имя в честь Москвы, отчество в память Ивана — обыкновенного русского красноармейца, павшего в боях, — и фамилию в знак

честности ее сердца, которое еще не успело стать бесчестным, хотя и было долго несчастным.

Ясная и восходящая жизнь Москвы Честновой началась с того осеннего дня, когда она сидела в школе у окна, уже во второй группе, смотрела в смерть листьев на бульваре и с интересом прочитала вывеску противоположного дома: «Рабоче-крестьянская библиотека-читальня имени А. В. Кольцова». Перед последним уроком всем детям дали в первый раз в их жизни по белой булке с котлетой и картофелем и рассказали, из чего делаются котлеты — из коров. Заодно велели всем к завтрашнему дню написать сочинение о корове, кто их видел, а также о своей будущей жизни. Вечером Москва Честнова, наевшись булкой и густой котлетой, писала сочинение за общим столом, когда все подруги ее уже спали и слабо горел маленький электрический свет. «Рассказ девочки без отца и матери: о своей будущей жизни. — Нас учат теперь уму, а ум в голове, снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты и можно всегда гулять в поле мимо деревьев. А то я жить не буду, если так, мне не хочется от настроения. Мне хочется жить обыкновенно со счастьем. В добавок нечего

сказать».

Из школы Москва впоследствии сбежала. Ее вернули снова через год и стыдили на общем собрании, что она как дочь революции поступает недисциплинированно и неэтично.

— Я не дочь, я сирота! — ответила тогда Москва и снова стала прилежно учиться, как не бывшая нигде в отсутствии.

Из природы ей нравились больше всего ветер и солнце. Она любила лежать где-нибудь в траве и слушать о том, что шумит ветер в гуще растений, как невидимый, тоскующий человек, и видеть летние облака, плывущие далеко над всеми неизвестными странами и народами; от наблюдения облаков и пространства в груди Москвы начиналось сердцебиение, как будто ее тело было вознесено высоко и там оставлено одно. Потом она ходила по полям, по простой плохой земле и зорко, осторожно всматривалась всюду, еще только осваиваясь жить в мире и радуясь, что ей все здесь подходит — к ее телу, сердцу и свободе.

По окончании девятилетки Москва, как всякий молодой человек, стала бессознательно искать дорогу в свое будущее, в счастливую тесноту людей; ее руки томились по деятельности, чувство искало гордости и героизма, в уме заранее торже-

ствовала еще таинственная, но высокая судьба. Семнадцатилетняя Москва не могла никуда войти сама, она ждала приглашения, словно ценя в себе дар юности и выросшей силы. Поэтому она стала на время одинокой и странной. Случайный человек познакомился однажды с Москвой и победил ее своим чувством и любезностью — тогда Москва Честнова вышла за него замуж, навсегда и враз испортив свое тело и молодость. Ее большие руки, годные для смелой деятельности, стали обниматься; сердце, искавшее героизма, стало любить лишь одного хитрого человека, вцепившегося в Москву как в свое непременное достояние. Но в одно утро Москва почувствовала такой томящий стыд своей жизни, не сознавая точно, отчего именно, что поцеловала спящего мужа в лоб на прощанье и ушла из комнаты, не взяв с собой ни одного второго платья. До вечера она ходила по бульварам и по берегу Москвы-реки, чувствуя один ветер сентябрьской мелкой непогоды и не думая ничего, как пустая и усталая.

Ночью она хотела залезть на ночлег куда-нибудь в ящик, найти порожнюю пищевую будку Мостропа или еще что-либо, как поступала она прежде в своем бродячем детстве, но заметила,

что давно стала большая и не влезет незаметно никуда. Она села на скамью в темноте позднего бульвара и задремала, слушая, как бродят вблизи и бормочут воры и бездомовные хулиганы.

В полночь на ту же скамью сел незначительный человек, с тайной и совестливой надеждой, что, может быть, эта женщина полюбит его внезапно сама, поскольку он не мог по кротости своих сил настойчиво добиваться любви; он, в сущности, не искал ни красоты лица, ни прелести фигуры — он был согласен на все и на высшую жертву со своей стороны, лишь бы человек ответил ему верным чувством.

— Вам чего? — спросила его проснувшаяся Москва.

— Мне ничего! — ответил этот человек. — Так просто.

— Я спать хочу, и мне негде, — сказала Москва.

Человек сейчас же заявил ей, что у него есть комната, но во избежание подозрений в его намерениях — *лучше* ей снять номер в гостинице и там проспать в чистой постели, закутавшись в одеяло. Москва согласилась, и они пошли. По дороге Москва велела своему спутнику устроить ее куда-нибудь учиться — с пищей и общежитием.

— А что вы любите больше всего? — спро-

сил он.

— Я люблю ветер в воздухе и еще разное кое-что, — сказала утомленная Москва.

— Значит — школа воздухоплавания, другое вам не годится, — определил сопровождающий Москву человек. — Я постараюсь.

Он нашел ей номер в Мининском Подворье, заплатил вперед за трое суток и дал на продукты тридцать рублей, а сам пошел домой, унося в себе свое утешение.

Через пять дней Москва Честнова посредством его заботы поступила в школу воздухоплавания и переехала в общежитие.

2

В центре столицы, на седьмом этаже, жил тридцатилетний человек Виктор Васильевич Божко. Он жил в маленькой комнате, освещаемой одним окном; гул нового мира доносился на высоту такого жилища как симфоническое произведение — ложь низких и ошибочных звуков затухала не выше четвертого этажа. В комнате было бедное суровое убранство, но не от нищеты, а от мечтательности: железная кровать эпидемического образца, с засаленным, насквозь прочеловеченным одеялом, голый стол, годный

для большой сосредоточенности, стул из ширпотребного утиля, самодельные полки у стены с лучшими книгами социализма и девятнадцатого века, три портрета над столом — Ленин, Сталин и доктор Заменгоф, изобретатель международного языка эсперанто. Ниже тех портретов висели в четыре ряда мелкие фотографии безымянных людей, причем на фотографиях были не только белые лица, но также негры, китайцы и жители всех стран.

До позднего вечера комната эта бывает пуста; уставшие опечаленные звуки постепенно замирают в ней, скучающее вещество потрескивает иногда, свет солнца медленно бредет по полу четырехугольником окна и стушевывается на стене в ночь. Все кончается, одни предметы томятся в темноте.

Приходит живущий здесь человек и зажигает технический свет электричества. Жилец счастлив и покоен, как обычно, потому что жизнь его не проходит даром; тело его устало за день, глаза побелели, но сердце бьется равномерно, и мысль блестит ясно, как утром. Сегодня Божко, геометр и городской землеустроитель, закончил тщательный план новой жилой улицы, рассчитав места зеленых насаждений, детских площадок и район-

ного стадиона. Он предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья, к себе же самому, как рожденному при капитализме, был равнодушен.

Божко вынул пачку личных писем, получаемых им почти ежедневно в адрес службы, и сосредоточился в них своим размышлением за пустым столом. Ему писали из Мельбурна, Капштадта, из Гонконга, Шанхая, с небольших островов, притаившихся в водяной пустыне Тихого океана, из Мегариды — поселка у подножия греческого Олимпа, из Египта и многочисленных пунктов Европы. Служащие и рабочие, дальние люди, прижатые к земле неподвижной эксплуатацией, научились эсперанто и победили безмолвие между народами; обессиленные трудом, слишком бедные для путешествий, они сообщались друг с другом мыслью.

В числе писем было несколько денежных переводов: негр из Конго перевел 1 франк, сириец из Иерусалима 4 амдоллара, поляк Студзинский каждые три месяца переводил по 10 злотых. Они заранее строили себе рабочую родину, чтобы им было где приютиться на старости лет, чтобы дети их могли в конце концов убежать и спастись в холодной стране, нагретой дружбой и трудом.

Божко аккуратно вносил эти деньги на заем, а облигации отсылал невидимым владельцам с обратной распиской.

Изучив корреспонденцию, Божко писал ответ на каждое письмо, чувствуя свою гордость и преимущество как деятель СССР. Но писал он негордо, а скромно и с участием:

«Дорогой отдаленный друг. Я получил ваше письмо, у нас здесь делается все более хорошо, общее добро трудящихся ежедневно приумножается, у всемирного пролетариата скопляется громадное наследство в виде социализма. Каждый день растут свежие сады, заселяются новые дома и быстро работают изобретенные машины. Люди также вырастают другие, прекрасные, только я остаюсь прежним, потому что давно родился и не успел еще отвыкнуть от себя. Лет через пять-шесть у нас хлеба и любых культурных удобств образуется громадное количество, и весь миллиард трудящихся на пяти шестых земли, взяв семьи, может приехать к нам жить навеки, а капитализм пусть остается пустым, если там не наступит революция. Обрати внимание на Великий Океан, ты живешь на его берегу, там плывут иногда советские корабли, это — мы. Привет».

Негр Арратау сообщал, что у него умерла жена;

тогда Божко отвечал сочувствием, но приходить в отчаяние не советовал — надо сберечь себя для будущего, ибо на земле некому быть, кроме нас. А лучше всего — пусть Арратау немедленно приезжает в СССР, здесь он может жить среди товарищей счастливей, чем в семействе.

На утренней заре Божко заснул со сладостью полезного утомления; во сне ему снилось, что он — ребенок, его мать жива, в мире стоит лето, безветрие и выросли великие рощи.

По своей службе Божко славился лучшим ударником. Кроме прямой геометрической работы, он был секретарем стенгазеты, организатором ячеек Осоавиахима и Мопра, завхозом огородного хозяйства и за свой счет учил в школе воздухоплавания одну малоизвестную ему девушку, чтобы хоть немного ослабить расходы государства.

Эта девушка раз в месяц заходила к Божко. Он ее угощал конфетами, отдавал ей деньги на пищу и свой пропуск в магазин ширпотреба, и девушка застенчиво уходила. Ей было неполных девятнадцать лет, ее звали Москва Ивановна Честнова; он ее встретил однажды на осеннем бульваре в момент своей стихийной печали и с тех пор не мог забыть.

После ее посещения Божко обычно ложился

вниз лицом и тосковал от грусти, хотя причиной его жизни была одна всеобщая радость. Поскучав, он садился писать письма в Индию, на Мадагаскар, в Португалию, созывая людей к участию в социализме, к сочувствию труженикам на всей мучительной земле, и лампа освещала его лысеющую голову, наполненную мечтой и терпением.

Один раз Москва Честнова пришла, как обычно, и не ушла сразу. Два года знал ее Божко, но стеснялся смотреться близко в ее лицо, не надеясь ни на что.

Москва смеялась, она окончила школу пилотов и принесла угощение за свой счет. Божко стал пить и есть с молодой Москвой, но сердце его билось с ужасом, потому что оно почувствовало давно заключенную в нем любовь.

Когда наступила поздняя ночь, Божко открыл окно в темное пространство, и в комнату прилетели бабочки и комары, но было так тихо всюду, что Божко слышал биение сердца Москвы Ивановны в ее большой груди; это биение происходило настолько ровно, упруго и верно, что, если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, оно могло бы регулировать теченье событий, — даже комары и бабочки, садясь спереди на кофту Москвы, сейчас же улетали прочь, пугаясь

гула жизни в ее могущественном и теплом теле. Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой, и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека.

Божко неотлучно, до нового светлого утра, глядел и глядел на Москву, когда девушка уже давно уснула в его комнате, — и сонная, счастливая свежесть, как здоровье, вечер и детство, входили в усталого этого человека.

На другой день Москва пригласила Божко на аэродром — посмотреть работу новых парашютов.

Небольшой аэроплан взял к себе внутрь Москву и полетел высоко в вековое пустынное небо. В зените аэроплан приостановил мотор, наклонился вперед и скинул из-под своего туловища светлый комочек, который без дыхания понесся в бездну. В то же время невысоко над землей медленно летел другой аэроплан и, сбавив работу трех своих моторов, желал посадки. На низкой высоте, над этим трехмоторным парящим самолетом, одинокое воздушное тельце, беззащитно мчавшееся с на-

растающим ускорением, распустилось в цветок, надулось воздухом и закачалось. Трехмоторный самолет сразу пустил все свои машины, чтобы уйти от парашюта, но парашют был слишком близок, его могло втянуть под винты в вихревые потоки, и умный пилот снова погасил моторы, давая парашюту свободу ориентации. Тогда парашют опустился на плоскость крыла и свернулся, а через несколько мгновений по накренившемуся крылу медленно и без испуга прошел небольшой человек и скрылся в машине.

Божко знал, что это прилетела из воздуха Москва; вчера он слышал ее равномерное, гулкое сердце, — теперь он стоял и плакал от счастья за все смелое человечество, жалея, что давал Москве Честновой в течение двух лет сто рублей в месяц, а не полтораста.

Ночью Божко опять, как обыкновенно, писал письма всему заочному миру, с увлечением описывая тело и сердце нового человека, превозмогающего смертельное пространство высоты.

А на рассвете, заготовив почту человечеству, Божко заплакал; ему жалко стало, что сердце Москвы может летать в воздушной природе, но любить его не может. Он уснул и спал без памяти до вечера, забыв про службу.

Вечером к нему постучался кто-то, и пришла Москва, счастливая по виду, как постоянно, и с прежним громким сердцем. Божко робко, от крайней нужды своего чувства, обнял Москву, а она его стала целовать в ответ. В исхудалом горле Божко заклокотала скрытая мучительная сила, и он больше не мог опомниться, узнавая единственное счастье теплоты человека на всю жизнь.

3

Каждое утро, просыпаясь, Москва Честнова долго смотрела на солнечный свет в окне и говорила в своем помышлении: «Это будущее время настает», и вставала в счастливой безотчетности, которая зависела, вероятно, не от сознания, а от сердечной силы и здоровья. Затем Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную скудную пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни!) в розовую чистоту, в цветущие пространства ее тела. Даже будучи сама собой, Москва Честнова могла глядеть на себя, как на постороннюю, и любоваться своим туловищем во время его мытья. Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, но здесь есть точная работа прошлых времен и

природы, — и позже, жуя завтрак, Москва мечтала что-то о природе — текущей водою, дующей ветром, беспрерывно ворочающейся, как в болезненном бреду, своим громадным терпеливым веществом… Природе надо было обязательно сочувствовать — она столько потрудилась для создания человека, — как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости…

По окончании школы воздухоплавания Москву назначили младшим инструктором при той же школе. Она теперь обучала группу парашютистов способу равнодушного прыжка из аэроплана и спокойствию характера при опускании в гулком пространстве.

Сама Москва летала, не ощущая в себе никакого особого напряжения или мужества, она лишь точно, как в детстве, считала, где «край», то есть конец техники и начало катастрофы, и не доводила себя до «края». Но «край» был гораздо дальше, чем думали, и Москва все время отодвигала его.

Однажды она участвовала в испытании новых парашютов, пропитанных таким лаком, который скатывал прочь влагу атмосферы и позволял делать прыжки даже в дождь. Честнову снарядили в два парашюта — другой дали в запас. Ее

подняли на две тысячи метров и оттуда попросили броситься на земную поверхность сквозь вечерний туман, развившийся после дождей.

Москва отворила дверь аэроплана и дала свой шаг в пустоту; снизу в нее ударил жесткий вихрь, будто земля была жерлом могучей воздуходувки, в которой воздух прессуется до твердости и встает вверх — прочно, как колонна; Москва почувствовала себя трубой, продуваемой насквозь, и держала все время рот открытым, чтобы успевать выдыхать внизывающийся в нее в упор дикий ветер. Кругом нее было смутно от тумана, земля находилась еще далеко. Москва начала раскачиваться, не видимая никем из-за мглы, одинокая и свободная. Затем она вынула папиросу и спички и хотела зажечь огонь, чтобы закурить, но спичка потухла; тогда Москва скорчилась, чтобы образовать уютное тихое место около своей груди, и сразу взорвала все спички в коробке, — огонь, схваченный вихревою тягой, мгновенно поджег горючий лак, которым были пропитаны шелковые лямки, соединявшие тяжесть человека с оболочкой парашюта; эти лямки сгорели в ничтожное мгновение, успев лишь накалиться и рассыпаться в прах, — куда делась оболочка, Москва не рассмотрела, так как ветер начал сжи-

гать кожу на ее лице вследствие жесткой, все более разгорающейся скорости ее падения вниз.

Она летела с горячими красными щеками, и воздух грубо драл ее тело, как будто он был не ветер небесного пространства, а тяжелое мертвое вещество, — нельзя было представить, чтобы земля была еще тверже и беспощадней. «Вот какой ты, мир, на самом деле! — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!» Она дернула кольцо запасного парашюта, увидела землю аэродрома в сигнальных огнях и закричала от внезапного мучения — раскрывшийся парашют рванул ее тело вверх с такой силой, что Москва почувствовала свои кости, как сплошь заболевшие зубы. Через две минуты она уже сидела на траве, покрытая парашютом, и стала выползать оттуда, вытирая слезы, выбитые ветром.

Первым к Москве Честновой подошел известный летчик Арканов, не погнувший за десять лет работы ни одного хвостового крюка, не знавший никогда ни неудачи, ни аварии.

Москва выползла из-под оболочки всесоюзной знаменитостью. Арканов и другой пилот взяли ее под руки и повели в комнату отдыха, при-

ветствуя по пути. На прощанье Арканов сказал Москве: «Нам жалко утратить вас, но, кажется, мы вас уже потеряли... Вы понятия не имеете о воздухофлоте, Москва Ивановна! Воздухофлот — это скромность, а вы — роскошь! Желаю вам всякого счастья!»

Через два дня Москву Честнову освободили на два года от летной работы вследствие того, что атмосфера — это не цирк для пускания фейерверков из парашютов.

Некоторое время о счастливом, молодом мужестве Москвы Честновой писали газеты и журналы; даже за границей полностью сообщили о прыжке с горящим парашютом и напечатали красивую фотографию «воздушной комсомолки», но потом это прекратилось, а Москва вообще не поняла своей славы: что это такое.

Она жила теперь на пятом этаже нового дома, в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна квартиры Честновой выходили поверх окрестных московских крыш, и вдалеке — на ослабевшем, умирающем конце пространства видны были какие-то дремучие леса и загадочные вышки; на заходе солнца там одиноко блестел

неизвестный диск, отражая последний свет на облака и на небо, — до этой *влекущей* страны было километров десять — пятнадцать, но, если выйти из дома на улицу, Москва Честнова не нашла бы туда дороги… Освобожденная из воздухофлота, Москва проводила свои вечера одна, к Божко она больше не ходила, подруг своих не звала. Она ложилась животом на подоконник, волосы ее свисали вниз, и слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии и раздается иногда голос человека из гулкой тесноты бегущих механизмов; подняв голову, Москва видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни… Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулкими равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтоб сваи входили прочно в глубину, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода

по трубам в теплый душ танцевальных зал и происходило зачатье лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей — во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы при этом она не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать.

Когда Москва свешивалась из своего окна в вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, ее звали куда-то в общий летний сумрак, обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и сливочных тянучек. Москва смеялась им, но молчала и не шла. Позже Москва видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши старых домов; через чердаки на железные кровли

выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства. После полуночи почти все видимые окна переставали светиться — дневной ударный труд требовал глубокого забвения во сне, — и шепотом, не беспокоя сигналами, проходили поздние автомобили; лишь изредка потухшие окна снова освещались на короткое время — это приходили люди с ночных смен, ели что-нибудь, не будя спящих, и сразу ложились спать; другие же — выспавшись, вставали уходить на работу — машинисты турбин и паровозов, радиотехники, бортмеханики утренних рейсов, научные исследователи и прочие отдохнувшие.

Дверь в свою квартиру Москва Честнова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего на полу на своей верхней одежде. Москва подождала, пока проснется ее усталый гость. Он проснулся и сказал, что будет тут жить в углу — больше ему негде. Москва поглядела на этого человека; ему было лет сорок, на лице его лежали окоченелые

рубцы миновавших войн, и кожа имела бурый, обветренный цвет большого здоровья и доброго сердца, а рыжеватые усы кротко росли над утомленным ртом.

— Я бы не вошел к тебе без спроса, лохматая красавица, — сказал неизвестный гость, — но телу нужно покой давать, а места нету... Я тебя не обижу, считай меня как ничто, вроде лишнего стола. Ты ни звука, ни запаха не услышишь от меня.

Москва спросила его: кто он такой, гость объяснил про себя все подробно, с предъявлением документов.

— Ну а то как же! — произнес вселившийся. — Я человек обыкновенный, у меня все в порядке.

Он оказался весовщиком дровяного склада, родом из Ельца, и Москва Честнова не решилась отдалять коммунизм из-за бедности в жилищах и своего права на дополнительную площадь, — она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Жилец стал жить, по ночам он вставал и подходил на цыпочках к постели спящей Москвы, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала; по утрам же он никогда не ходил в уборную при квартире, не желая загружать ее своею гадостью и шуметь водой,

а отправлялся в публичный клозет на дворе. Через несколько дней жизни в квартире Честновой весовщик уже укреплял каблуки на стоптанных туфлях Москвы, втайне чистил ее осеннее пальто от приставшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Москва сначала ругала весовщика за подхалимство, а потом, чтоб изжить такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет — стала штопать ему носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Вскоре комсомольская организация определила Честнову на временную работу в районный военкомат — для ликвидации упущений в учете.

4

Однажды в коридоре военкомата стоял худой и бледный вневойсковик с книжкой военного учета в руках. Ему казалось, что в райвоенкомате пахло так же, как в местах длительного заключения, — безжизненностью томящегося человеческого тела, сознательно ведущего себя скромно и экономично, чтобы не возбуждать внутри себя замирающегося влечения к удаленной жизни и не замучиться потом в тщетности, от тоски отчаяния. Равнодушная идеологичность убранства, сделанного по дешевому госбюджету,

и незначительность служащих лиц обещали пришедшему человеку бесчувствие, происходящее от бедного или жестокого сердца.

Вневойсковик ожидал служащую у одного окна, пока она дочитывала стихи в книге; вневойсковик полагал, что от стихов каждый человек становится добрее, — он сам читал книги до полуночи в молодости своей жизни и после того чувствовал себя грустно и безразлично. Служащая, дочитав стих, начала ставить вневойсковика на переучет, удивляясь тому, что этот человек, по данным учетного бланка, не был ни в белой, ни в Красной армии, не проходил всеобщего военного обучения, не являлся никогда на сборно-учебные пункты, не участвовал в территориальных соединениях и в походах Осоавиахима и на три года пропустил срок своей перерегистрации. Неизвестно, каким способом, в какой тишине данный вневойсковик сумел укрыться от бдительности домоуправлений со своей военно-учетной книжкой устаревшего образца.

Военнослужащая посмотрела на вневойсковика. Перед нею, за изгородью, отделявшей спокойствие учреждения от людей, стоял посетитель с давно исхудавшим лицом, покрытым морщинами тоскливой жизни и скучными

следами слабости и терпения; одежда на вневойсковике была так же изношена, как кожа на его лице, и согревала человека лишь за счет долговечных нечистот, въевшихся в ветхость ткани; он смотрел на служащую с робкой хитростью, не ожидая к себе сочувствия, и часто, опустив глаза, закрывал их вовсе, чтобы видеть тьму, а не жизнь; на одно мгновение он вообразил себе облака на небе — он любил их, потому что они его не касались и он им был чужой.

Поглядев нечаянно в даль военкомата, вневойсковик вздрогнул от удивления: на него смотрели два ясных глаза, обросших сосредоточенными бровями, не угрожая ему ничем. Вневойсковик много раз видел где-то такие глаза, внимательные и чистые, и всегда моргал против этого взгляда. «Это настоящая Красная армия! — подумал он с грустным стыдом. — Господи! Почему я зря пропустил всю свою жизнь, ради иждивения самого себя!..» Вневойсковик всегда ожидал от учреждений ужаса, изможденья и долготерпеливой тоски — здесь же он увидел вдалеке человека, сочувственно думающего по поводу него.

«Красная армия» встала с места — она оказалась женщиной — и подошла к вневойсковику. Он испугался прелести и силы ее лица, но из

сожаления к своему сердцу, которое может напрасно заболеть от любви, отвернулся от этой служащей. Подошедшая Москва Честнова взяла у него учетную книжку и оштрафовала его на пятьдесят рублей за нарушение учетного закона.

— У меня денег нету, — сказал вневойсковик. — Я лучше как-нибудь живьем штраф отплачу.

— Ну как же? — спросила Москва.

— Не знаю, — тихо произнес вневойсковик. — Мне так себе живется.

Честнова взяла его за руку и отвела к своему столу.

— Отчего вам так себе живется? — спросила она. — Вы хотите что-нибудь?

Вневойсковик не мог ответить; он чувствовал, как пахло от этой служащей красноармейской женщины мылом, потом и какою-то милой жизнью, чуждой для его сердца, таящегося в своем одиночестве, в слабом тлеющем тепле. Он нагнул голову и заплакал от своего жалкого положения, а Москва Честнова в недоумении отпустила его руку. Вневойсковик постоял немного, а потом обрадовался, что его не задерживают, и скрылся в свое неизвестное жилище, чтобы просуществовать как-нибудь до гроба без учета и опасности.

Но Честнова нашла его адрес в переучетном

бланке и через некоторое время пошла в гости к вневойсковику.

Она долго ходила в глуши Бауманского района, пока не отыскала один небольшой жакт, в котором находился вневойсковик. Это был дом с неработоспособным правлением и с дефицитным балансом расходов, так что его стены уже несколько лет не окрашивались свежей краской, а нелюдимый, пустой двор, где даже камни истерлись от детских игр, давно требовал к себе надлежащей заботы.

С печалью прошла Москва мимо стен и по смутно освещенным коридорам этого жакта, как будто ее обидели или она была виновата в чужой небрежной и несчастной жизни. Когда Москва Честнова вышла по ту сторону дома, обращенную к длинному сплошному забору, она увидела каменное крыльцо с железным навесом, над которым горел электрический фонарь. Она прислушалась к шуму в окружающем воздухе — за забором сбрасывали тес на землю и слышно, как внизывались лопаты в грунт; у железного навеса стоял непокрытый лысый человек и играл на скрипке мазурку в одиночестве. На каменной плите лежала шляпа музыканта, прожившая все долгие невзгоды на его голове, — и некогда

она покрывала шевелюру молодости, а теперь собирала деньги для пропитания старости, для поддержания слабого сознания в ветхой голой голове.

Честнова положила в эту шляпу рубль и попросила сыграть ей что-нибудь Бетховена. Не сказав никакого слова, музыкант доиграл мазурку до конца и лишь затем начал Бетховена. Москва стояла против скрипача по-бабьи, расставив ноги и пригорюнившись лицом от тоски, волнующейся вблизи ее сердца. Весь мир вокруг нее стал вдруг резким и непримиримым, — одни твердые тяжкие предметы составляли его, и грубая темная сила действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, казенного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста, как непосильный труд из жизненной нужды.

Музыкант глядел на Москву равнодушно и

без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью, — как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, *тянущую* волю вперед мимо обычного наслаждения, и предпочитал ее всему видимому. Под конец игры из глаз скрипача вышли слезы — он истомился жить, и, главное, он прожил себя не по музыке, он не нашел своей ранней гибели под стеной несокрушимого врага, а стоит теперь живым и старым бедняком на безлюдном дворе жакта, с изможденным умом, в котором низко стелется последнее воображение о героическом мире. Против него — по ту сторону забора — строгий медицинский институт для поисков долговечности и бессмертия, но старый музыкант не мог понять, что эта постройка продолжает музыку Бетховена, а Москва Честнова не знала, что там строится. Всякая музыка, если она была велика и человечна, напоминала Москве о пролетариате, о темном человеке с горящим факелом, бежавшем в ночь революции, и о ней самой, и она слушала ее как речь вождя и собственное слово, которое она всегда подразумевает, но никогда вслух не говорит.

На входной двери висела фанерная доска с надписью: «Правление жакта и домоуправле-

ние». Честнова вошла туда, чтобы узнать номер квартиры вневойсковика, — он указал в учетном бланке один номер дома.

До канцелярии жакта шел деревянный коридор, по обе стороны его жили, вероятно, многодетные семьи — там сейчас с обидой и недовольством кричали дети, деля пищу на ужин между собой. Внутри деревянного коридора стояли жильцы и беседовали на все темы, какие есть на свете, — о продовольствии, ремонте дворовой уборной, о будущей войне, о стратосфере и смерти местной, глухой и безумной прачки. На стенах коридора висели плакаты Мопра, Управления сберкасс, правила ухода за грудным ребенком, человек в виде буквы «Я», сокращенный на одну ногу уличной катастрофой, и прочие картины жизни, пользы и бедствий. Многие люди приходили сюда, в деревянный коридор домоуправления, часов с пяти вечера, сразу после работы, и простаивали на ногах, размышляя и беседуя, вплоть до полуночи, лишь изредка нуждаясь в какой-либо справке домоуправления. Москве Честновой было удивительно узнать это; она не могла понять, почему люди жались к жакту, к конторе, к справкам, к местным нуждам небольшого счастья, к самоистощению в пустяках, когда в городе были

мировые театры, а в жизни еще не были разрешены вечные загадки мучения и даже у наружной двери играл прекрасную музыку скрипач, не внимаемый никем.

Пожилой управдом, работавший в шуме людей — среди дыма и разных вопросов, — дал Честновой точную справку о всем вневойсковике: он жил в коридорной системе второго этажа, в комнате номер 4, пенсионер третьего разряда, общественный актив жакта много раз ходил к нему — уговаривать насчет необходимости своевременного переучета и оформления своего военного положения, но вневойсковик уже несколько лет обещал это сделать, собираясь с завтрашнего утра потратить весь день на формальные нужды, но до сих пор не выполнил своего обещания по бессмысленной причине; с полгода назад сам управдом посетил вневойсковика на этот предмет, увещевал его три часа, сравнивал его состояние с тоскою, скукой и телесной нечистоплотностью, как если бы он не чистил зубы, не мылся и вообще наносил сам себе позор, с целью критики советского человека.

— Не знаю, что и делать с ним, — сказал управдом. — Один такой во всем жакте.

— А чем он занимается вообще? — спросила

Москва.

— Я же тебе сказал: пенсионер третьей категории, сорок пять рублей получает. Ну, он еще в осодмиле состоит, пойдет постоит на трамвайной остановке, поштрафует публику и опять на квартиру вернется…

Москве стало грустно от жизни такого человека, и она сказала:

— Как нехорошо все это!..

Управдом вполне согласился с нею:

— Хорошего в нем нету!.. Летом он часто в парк культуры ходил, но тоже — зря. Ни оркестра не послушает, ни мимо зрелищ не погуляет, а как придет, так сядет около отделения милиции и просидит там целый день — то разговаривает понемногу, то ему поручение какое-нибудь дадут: он сделает пойдет, — любит он административную работу, хороший осодмилец.

— Он женатый? — спросила Москва.

— Нет, он неопределенный… Формально холост, но все ночи проводит молча с женщинами, уж сколько лет подряд. Это его принципиальное дело, жакт тут стоит в стороне… Но вот что — женщины к нему являются некультурные, неинтересные, такая, как вы, — первая. Не советую: убогий человек…

Москва ушла из правления дома. По-прежнему стоял музыкант у входа, но ничего не играл, а сам что-то слушал молча из ночи. Далекое зарево трепетало над центром города, волнуясь в бегущих тучах, и огромное загроможденное мраком небо открывалось вдруг мгновенным и острым светом, сверкнувшим из-под трамвайного провода. В близком клубе местного транспорта пел хор молодых работниц, увлекая силой вдохновения собственную жизнь в далекие края будущего. Честнова пошла в тот клуб и пела там и танцевала, пока распорядитель, заботясь об отдыхе молодежи, не потушил свет. Тогда Москва уснула где-то за кулисами сцены на фанерной бутафории, обняв по девической привычке временную подругу, такую же усталую и счастливую, какой была сама.

5

Небрежный и нечистоплотный от экономии своего времени, Самбикин чувствовал мировую внешнюю материю как раздражение собственной кожи. Он следил за всемирным течением событий день и ночь, и ум его жил в страхе своей ответственности за всю безумную судьбу вещества.

По ночам Самбикин долго не мог заснуть от воображения труда на советской земле, освещенного сейчас электричеством. Он видел сооружения, густо оснащенные тесом, где ходили неспящие люди, укрепляя молодые доски из свежего леса, чтобы самим держаться на высоте, где дует ветер и видно, как идет ночь по краю мира в виде остатка вечерней зари. Самбикин сжимал свои руки от нетерпения и радости, а потом вдруг задумывался во мраке, забывая моргать по полчаса. Он знал, что тысячи юношей-инженеров, сдавших свою смену, сейчас тоже не спят, а ворочаются в беспокойстве в общежитиях и в новых домах — по всей равнине страны, а иные, только улегшись на отдых, уже бормочут и постепенно одеваются обратно, чтобы уйти опять на постройку, потому что их ум начала мучить одна забытая днем деталь, грозящая ночной аварией.

Самбикин вставал с кровати, зажигал свет и ходил в волнении, желая предпринять что-либо немедленно. Он включал радио и слышал, что музыка уже не играет, но пространство гудит в своей тревоге, будто безлюдная дорога, по которой хотелось уйти. Тогда Самбикин звонил в институтскую клинику и спрашивал — есть ли сейчас срочные операции, он будет ассистиро-

вать. Ему отвечали, что есть: привезли ребенка с опухолью на голове, которая растет с ежеминутной скоростью, и мальчик темнеет сознанием.

Самбикин выбегал на московскую улицу; трамваи уже не ходили, по асфальтовым тротуарам звучно стучали высокие каблуки женщин, возвращавшихся домой из театров и лабораторий или от любимых ими людей. Самбикин, действуя своими длинными ногами, быстро добегал до Бауманского района, где строился медицинский экспериментальный институт специального назначения. Институт не был еще окончательно оборудован, и сейчас в нем работали только два отделения — хирургии и травматическое. Двор института был загружен трубами, досками, вагонетками и ящиками с научным инвентарем; забор детского масштаба, отделявший строительство от какого-то жилищного дома, накренился и вовсе поник.

На этом дворе Самбикин услышал вдруг жалкую музыку, тронувшую его сердце не столько мелодией, сколько неясным воспоминанием чего-то прожитого, оставленного в забвении. Он заслушался на минуту; музыка играла по ту сторону бедного забора. Самбикин влез на забор и увидел постаревшего лысого скрипача, игравше-

го в безлюдье, в два часа ночи. Самбикин прочел вывеску над входной дверью дома, у которого играл музыкант: «Правление жакта и домоуправление». Самбикин достал рубль и хотел дать его музыканту за работу, но скрипач отказался. Он сказал, что сейчас играет для себя, потому что ему тоскливо и он может спать только на утренней заре, а до нее еще далеко.

Около малой операционной залы уже висели два мягких баллона с кислородом и стояла старшая дежурная сестра. В конце коридора, в отдельной комнате-боксе, сплошь застекленной по стороне, обращенной в коридор, больного ребенка готовили к операции — ему быстро брили голову две сестры. За левым ухом у мальчика, заняв полголовы, вырос шар, наполненный горячим бурым гноем и кровью, и этот шар походил на вторую дикую голову ребенка, сосущую его изнемогающую жизнь. Ребенок сидел в кровати и не спал: ему было лет семь. Он смотрел опустевшими, уснувшими глазами и немного поднимал руки в воздух, когда его сердце заходилось от боли, мучаясь и не ожидая пощады.

В живом сознании Самбикина с точным ощущением встала болезнь ребенка, и он потер у себя за ухом, ища шаровидную опухоль — вторую

безумную голову, в которой сжимается смертный гной. Он пошел готовиться к операции.

Переодеваясь и думая, он слышал шум в своем левом ухе — это гной в голове ребенка химически размывал и разъедал последнюю костяную пластину, защищавшую его мозг; в уме мальчика сейчас уже стелется туманная смерть, жизнь держится еще под защитой костяной пленки, но в ней осталось толщины не более доли миллиметра, и слабеющая кость вибрирует под напряжением гноя.

— Что он видит сейчас в своем сознании? — спрашивал сам у себя Самбикин про больного. — Он видит сны, берегущие его от ужаса… Он видит *двух* своих матерей, моющих его в ванне, а это две сестры бреют его волосы. И он одного только боится: почему две матери?.. Он видит любимую кошку, которая живет с ним дома в комнате, и эта кошка впилась ему сейчас в голову…

Пришел старый хирург-оператор, которому должен помогать Самбикин. Старик был готов и приглашал своего ассистента. Вести операцию самостоятельно Самбикину еще не давали: ему было двадцать семь лет и хирургический стаж его продолжался всего второй год.

Все звуки в хирургическом институте тщатель-

но уничтожались, и сигнализация совершалась цветным светом. В комнате дежурного врача зажглись три лампы разных цветов — и вслед за тем почти бесшумно были совершены несколько действий: по пробковому ковру коридора проехала низкая тележка на резиновых колесах и отвезла больного в операционную залу; электромонтер переключил электрический свет на питание из институтской аккумуляторной батареи, чтобы свет не зависел от случайностей городской сети, и пустил в ход аппарат, нагнетающий озонированный воздух в операционную; дверь операционной залы беззвучно открылась, и в лицо больного ребенка подул прохладный и благоуханный ветер из специального прибора — мальчик получил усыпление и улыбнулся, освобожденный от последних следов страдания.

— Мама, я очень сильно заболел, меня сейчас резать будут, но мне ничуть не больно! — сказал он и стал беспомощным и чуждым самому себе. Жизнь словно отлучилась из него самого и сосредоточилась в отдаленном и грустном воображении снов; он видел предметы, всю сумму своих впечатлений, — эти предметы мчались мимо него и он узнавал их: вот забытый гвоздь, который он держал в руках давно, гвоздь теперь

заржавел, стал старый, вот черная маленькая собака, с ней он играл когда-то на дворе — она лежит мертвая в мусоре, с разбитой стеклянной банкой на голове, вот железная крыша на низком сарае, он влезал на нее, чтобы смотреть с высоты, она пустая сейчас, и железо скучает по нем, а его долго нет; стоит лето, тень матери лежит на земле, идет милиция, но ее оркестр играет неслышно…

Старый хирург предложил Самбикину вести операцию, а он будет ассистировать.

— Начнем! — сказал старик в светлой глуши залы.

Самбикин взял резкий, блестящий инструмент и вошел им в существо всякого дела — в тело человека. Острая, мгновенная стрела вышла позади глаз из ума мальчика, побежала по его телу — он следил за ней воображением — и ударила ему в сердце: мальчик вздрогнул, все предметы, знавшие его, заплакали по нем, и сон его воспоминаний исчез. Жизнь сошла еще ниже, она тлела простой, темной теплотой в своем терпеливом ожидании. Самбикин чувствовал руками, как греется все более тело ребенка, и спешил. Он спускал гной из разверстых покровов головы и проникал в кость, — он искал первичные очаги

заражения.

— Тише, медленнее! — говорил старый хирург. — Скажите пульс! — обратился он к старшей сестре.

— Аритмия, доктор, — сказала сестра. — Иногда не слышно вовсе.

— Ничего, инерция сердца всегда велика — выправится.

— Держите ему голову! — указал Самбикин сестрам. Он приступил к выборке костных участков, в порах которых таился гной.

Инструмент звенел, как при холодной металлообработке, Самбикин шел в ударах на ощупь — глубже или мельче, — на точном чувстве искусства; большие глаза его остекленели без влаги — ему некогда было моргать, — бледные щеки стали смуглыми от силы крови, пришедшей ему на помощь из глубины его сердца. Извлекая костяные секции, Самбикин глядел в них в свете рефлектора, нюхал, сжимал для лучшего ознакомления и передавал старшему хирургу; тот равнодушно бросал их в посуду.

Мозг приближался; выкалывая кости из черепа, Самбикин исследовал их теперь под микроскопом и все еще находил в них гнезда стрептококков. В некоторых местах головы ребенка Самбикин

дошел уже до последней костной пластинки, ограждающей мозг, и зачистил ее по поверхности от смертного серого налета. Его руки действовали так, как будто они сами думали и считали каждый допуск движения. По мере удаления стрептококков их становилось меньше, но Самбикин переходил на сильнейшие микроскопы, которые показывали, что число гноеродных телец, быстро убывая, целиком все же не исчезает. Он вспомнил знаменитое математическое уравнение, выражающее распределение теплоты по пруту бесконечной длины, и прекратил операцию.

— Тампонировать и бинтовать! — приказал он, ибо, чтобы совершенно уничтожить стрептококков, надо было искрошить не только всю голову больного, но и все его тело до ногтей на пальцах ног.

Самбикину было ясно, что разверстое, с тысячами рассеченных сосущих кровеносных сосудов, горячее, беззащитное тело больного жадно вбирало в себя стрептококков отовсюду — из воздуха, а особенно — из инструмента, который стерилизовать начисто невозможно. Нужно было давно перейти на электрическую хирургию — входить в тело и кости чистым и мгновенным синим пламенем вольтовой дуги, — тогда все, что носит

смерть, само будет убито и новые стрептококки, проникнув в раны, найдут в них сожженную пустыню, а не питательную среду.

— Кончено! — сказал Самбикин.

Сестры уже перевязывали голову больного. Они повернули его лицом к врачам.

Тепло жизни, пробиваясь изнутри, розовыми полосами шло по бледному лицу ребенка и быстро размывалось прочь; затем оно возникало снова и опять стушевывалось. Глаза его были почти открыты и высохли настолько, что региновое вещество немного сморщилось от сухости…

— Он мертвый! — сказал старый врач.

— Нет еще, — ответил Самбикин и поцеловал ребенка в увядшие губы. — Он будет жить. Дайте ему немного кислорода. Пить не давать до утра.

По выходе из клиники Самбикин встретил трясущуюся, судорожную женщину — мать ребенка. Ее не пускали по правилам и за поздней ночью. Самбикин поклонился ей и велел пропустить ее к сыну.

Загоралось утро. Самбикин посмотрел через забор на соседний жакт, все пусто было, скрипач ушел спать. Из двери вышел человек скромной наружности со сморщенной, изношенной годами и трудностью женщиной. Спутник ей убедитель-

но признавался в любви; Самбикин нечаянно заслушался его голоса — в этом голосе звучала темная грудная грусть, и это делало его трогательным, хотя человек говорил пошлость и глупость.

— А война будет, ты бросишь меня, — робко возражала женщина.

— Я? Нет, нисколько! Я последняя категория, я вневойсковик, почти ничто… Пойдем за сарай ляжем полежим, душа опять болит.

— Иль ты в комнате не долюбил меня? — счастливо удивилась женщина.

— Маленько — нет, — сказал вневойсковой любовник. — Сердце еще болит, не остыло.

— Ишь, хамлет какой! — улыбнулась женщина. — И здоровья ему не жалко!

Она была горда сейчас, что нравится и увлекает мужчин. Вневойсковик сжался от утренней прохлады в своем истертом, усталом пальто и поспешил под руку с женщиной, видимо желая как можно скорее отделаться от всего…

Самбикин пошел по Москве. Ему странно и даже печально было видеть пустые трамвайные остановки, безлюдные черные номера маршрутов на белых таблицах, — они вместе с трамвайными мачтами, тротуарами и электрическими часами на площади тосковали по многолюдству.

Самбикин задумался, по своему обыкновению, над жизнью вещества — над самим собой; он относился сам к себе как к подопытному животному, как к части мира, доставшейся ему для исследования всего целого и неясного.

Он думал всегда и беспрерывно, его душа сейчас же заболевала, если Самбикин останавливался мыслить, и он снова работал над воображением мира в голове, ради его преобразования. Ночью ему снились его разрушенные мысли, а он тщетно шевелился в постели, силясь вспомнить их дневной порядок, затем мучился и просыпался, радуясь утреннему свету и восстановленной ясности ума. Его длинное усохшее тело, доброе и большое, всегда шумно жило и дышало, точно этот человек был алчный — постоянно хотел есть и пить, и громадное лицо имело вид опечаленного животного, только нос его был настолько велик и чужд даже громадному лицу, что сообщал кротость всему выражению характера.

Домой Самбикин пришел уже в светлое время, когда летнее великое утро горело на небе так мощно, что Самбикину казалось — свет гремит. Он позвонил в институт, ему сказали — оперированный ребенок хорошо спит, температура снижается, мать его тоже уснула на другой кро-

вати. Передумав все о сегодняшней операции и все очередные проблемы, Самбикин почувствовал свое тоскующее, опустевшее сердце — ему надо было опять действовать, чтобы приобрести задачу для размышления и угомонить неясный и алчущий, совестливый вопль в душе. Спал он мало, и лучше всего после большой работы, тогда и сны в благодарность оставляли его. Нынче он действовал недостаточно, разум в голове не мог устать и хотел еще работать, отвергая сон. Пометавшись беспомощно по комнате, Самбикин пошел в ванну, разделся там и с удивлением оглядел свое тело юноши, затем пробормотал что-то и залез в холодную воду. Вода умиротворила его, но он тут же понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в вашей мечте…

6

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты, музыканты и рабочие

новых заводов. Никому не было более двадцати семи лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения привели в порядок мебельное убранство в двух залах — в одном для заседания, в другом для беседы и угощения.

Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Селин с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой от воображения музыки.

— Пойдем жевнем чего-нибудь! — сказал ей Селин.

— Жевнем, — согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет; там Селин, розовый мощный едок, съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных; она жила для игры, а не для пищеварения.

— Селин, почему ты ешь так много? — спросила Кузьмина. — Это, может, хорошо, но на тебя стыдно смотреть!

Селин ел с негодованием, он жевал как пахал — с настойчивым трудом, с усердием в своих

обеих надежных челюстях.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Семен Сарториус, две девушки подруги — обе гидравлики, композитор Левченко, астроном Сицылин, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор сверхвысотных самолетов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, — но за ними опять послышались люди, и еще пришли некоторые. Все уже были знакомы между собой — по работе, по встречам и по разным сведениям.

Пока не началось заседание, каждый предался своему удовольствию — кто дружбе, кто пище, кто вопросам на нерешенные задачи, кто музыке и танцам. Кузьмина нашла небольшую комнату с новым роялем и с наслаждением играла там Девятую симфонию Бетховена — все части, одна за другой, по памяти. У нее сжималось сердце от глубокой свободы и воодушевленной мысли этой музыки и от эгоистической грусти, что она сама так сочинять не умеет. Электротехник Гунькин слушал Кузьмину и думал о высокой частоте электричества, простреливающей Вселенную насквозь, о пустоте высокого грозного мира, всасывающего в себя человеческое сознание. Мульдбауэр видел в музыке изображение даль-

них легких стран воздуха, где находится черное небо и среди него висит немерцающее солнце с мертвым накалом своего света, где — вдалеке от теплой и смутно-зеленой земли — начинается настоящий серьезный космос: немое пространство, изредка горящее сигналами звезд — о том, что путь давно свободен и открыт… Скорее же покончить с тяжкой возней на земле, и пусть тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения земли — для великого воспитания земли — для великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия.

Немного спустя сюда же пришла Москва Честнова и молча улыбалась от радости видеть своих товарищей и слышать музыку, возбуждающую ее жизнь на исполнение высшей судьбы.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин; он только что был в институтской клинике и сам делал перевязку оперированному им мальчику. Он пришел, подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо — в напряжении своей заботы и ответственности. Весь его ум был наполнен

мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье, — и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения... Он хотел уже уйти из клуба, чтобы поработать ночью в институте над своим исследованием о смерти, но вдруг увидел проходящую Москву Честнову. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и светящееся воодушевление, скрытые за скромностью и даже робостью лица. Раздался звонок к началу заседания. Все пошли из комнаты, где находился Самбикин, одна Честнова задержалась, укрепляя чулок на ноге. Когда она управилась с чулком, то увидела одного Самбикина, глядевшего на нее. От стеснения и неловкости — жить в одном мире, делать одно дело и не быть знакомыми — она поклонилась ему. Самбикин подошел к ней, и они отправились вместе слушать заседание.

Они сели рядом, и среди речей, славы и приветствий Самбикин ясно слышал пульсацию сердца в груди Москвы.

Он спросил ее шепотом в ухо:

— Отчего у вас сердце так стучит?.. Я его слышу!

— Оно летать хочет и бьется, — с улыбкой

прошептала Москва Самбикину. — Я ведь парашютистка!

«Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, — подумал Самбикин. — Грудная клетка человека представляет свернутые крылья».

Он попробовал свою нагретую голову — там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой тесноты.

После собрания наступило время общего ужина и развлечений. Молодые гости разошлись по многим помещениям, прежде чем сесть к общему столу.

Механик Сарториус пригласил Москву Честнову танцевать, и она пошла кружиться с ним, с любопытством разглядывая великое круглое лицо знаменитого изобретателя в области точной индустрии, инженера-расчетчика мирового значения. Сарториус держал Москву крепко, танцевал тяжко и робко улыбался, выдавая свое сжатое влечение к Москве. Москва же смотрела на него как влюбленная — она быстро предавалась своему чувству и не играла женскую политику равнодушия. Ей нравился этот неинтересный человек, ростом меньше ее, с добрым и угрюмым лицом, который не вытерпел своего сердца и

пошел на крайнюю для себя смелость — приблизился к женщине и пригласил ее танцевать. Но вскоре это, наверно, ему наскучило, руки его уже привыкли к теплоте тела Москвы, горячего под легким платьем, и он начал что-то бормотать. Москва же, услышав такое, сразу обиделась.

— Сам меня обнимает, сам со мной танцует, а *думает* совсем другое! — сказала она.

— Это я так, — ответил Сарториус.

— Сейчас же скажите, что — так! — нахмурилась Москва и перестала танцевать.

Самбикин с ветром пронесся мимо них — он тоже танцевал, приурочившись к какой-то комсомолке большой миловидности. Москва улыбнулась ему:

— Неужели и вы танцуете? Вот странный какой!

— Надо жить всесторонне! — с хода ответил ей Самбикин.

— А вам охота? — крикнула ему Москва.

— Нет, я притворяюсь! — ответил ей Самбикин. — Это теоретически!

Комсомолка, обидевшись, сейчас же покинула Самбикина, и он засмеялся.

— Ну, говорите скорей! — с надуманной серьезностью обратилась Москва к Сарториусу.

«Неужели она дура? Жалко!» — подумал Сарториус. Здесь к ним подошел метеоролог Вечкин, затем Самбикин, и Сарториус не успел ничего ответить Москве. Встретились они лишь спустя час — за общим ужином.

Большой стол был накрыт для пятидесяти человек. Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей красоты, стояли через каждые полметра, и от них исходило посмертное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины-инженеры были одеты в лучший шелк республики — правительство украшало лучших людей. Москва Честнова была в чайном платье, весившем всего три-четыре грамма, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Москвы обозначился волнением ее шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего, грустного Вечкина, пришли в костюмах из тонкого матерьяла, простых и драгоценных; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью к стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.

Небольшой комсомольский оркестр играл на балконе за открытой дверью маленькие пьесы.

Пространный воздух ночи входил через дверь балкона в залу, и цветы на длинном столе дышали и сильнее пахли, чувствуя себя живыми в потерянной земле. Древний город шумел и озарялся светом, как новостройка, иногда смех и голос прохожего человека доносился с улицы сюда, в клуб, и Честновой Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех: все равно социализм настает! Ей было по временам так хорошо, что она желала покинуть как-нибудь самое себя, свое тело в платье, и стать другим человеком — женой Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине…

Люстры завода «Электроприбор» бледной и нежной энергией покрывали людей и богатое убранство; легкая предварительная закуска стояла на столе, а основной ужин еще грелся вдалеке в кухонных очагах.

Собравшиеся, которые были красивы от природы или от воодушевления и незаконченной молодости, долго устраивались со своими местами, ища лучшего соседства, но в конце концов желая сесть сразу со всеми вблизи.

И вот когда они уселись, тридцать человек, то их внутренние живые средства, возбужденные друг другом, умножились, и среди них и родился

общий гений жизненной искренности и счастливого соревнования в умном дружелюбии. Но остронастроенный такт взаимных отношений, приобретенный в трудной технической культуре, где победа не дается двусмысленной игрой, — этот такт поведения не допускал ни глупости, ни сантиментальности, ни самомнения. Присутствующие знали или догадывались об угрюмых размерах природы, о протяженности истории, о долготе будущего времени и о действительных масштабах собственных сил; они были рациональные практики и неподкупны к пустому обольщению.

Более других была нетерпелива и безумна Москва Честнова. Она выпила, никого не ожидая, стакан вина и покраснела от радости и непривычки. Сарториус заметил это и улыбнулся ей своим неточным широким лицом, похожим на сельскую местность. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, а мать-крестьянка его выносила в своих внутренностях рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом.

Самбикин также наблюдал за Честновой и думал над нею: любить ему ее или не надо; в общем она была хороша и ничья, но сколько мысли и чувства надо изгнать из своего тела и сердца,

чтобы вместить туда привязанность к этой женщине? И все равно Честнова не будет ему верна, и не может она никогда променять весь шум жизни на шепот одного человека.

«Нет, я любить ее не буду и не могу! — навсегда решил Самбикин. — Тем более придется как-то портить ее тело, а мне жалко, лгать день и ночь, что я прекрасный… Не хочу, трудно!» Он забылся в течении своего размышления, утратив в памяти всех присутствующих. Присутствующие же хотя и сидели за обильным и вкусным столом, но ели мало и понемногу, они жалели дорогую пищу, добытую колхозниками трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и классовым врагом. Одна Москва Честнова забылась и ела и пила как хищница. Она говорила разную глупость, разыгрывала Сарториуса и чувствовала стыд, пробирающийся к ней в сердце из ее лгущего, пошлого ума, грустно сознающего свое постыдное пространство. Никто не обидел Честнову и не остановил ее, пока она не изошла своею силой и не замолчала сама. Самбикин знал, что глупость — это естественное выражение блуждающего *чувства,* еще не нашедшего своей цели и страсти, а Сарториус наслаждался Москвой независимо от ее поведения; он уже любил ее как живую

истину и сквозь свою радость видел ее неясно и неверно.

Во время шума людей и уже позднего вечера в залу незаметно вошел Виктор Васильевич Божко и сел у стены на диване, не желая быть замеченным. Он *увидел* красную, веселую Москву Честнову и вздрогнул от боязни ее. К ней подошел какой-то молодой ученый человек и запел над нею:

Ты ходишь пьяная.
Ты вся уж бледная.
Такая милая
Подруга верная…

Москва, услышав это, закрыла лицо руками и неизвестно — заплакала или застыдилась себя. Сарториус в тот момент спорил с Вечкиным и Мульдбауэром; Сарториус доказывал, что после классового человека на земле будет жить проникновенное техническое существо, практически работой ощущающее весь мир… Древние люди, начавшие историю, тоже были техническими существами; греческие города, порты, лабиринты, даже гора Олимп, — были сооружены циклопами, одноглазыми рабочими, у которых

древними аристократами было выдавлено по одному зрачку — в знак того, что это — пролетариат, осужденный строить страны, жилища богов и корабли морей, и что одноглазым нет спасения. Прошло три или четыре тысячи лет, сто поколений, и потомки циклопов вышли из тьмы исторического лабиринта на свет природы, они удержали за собою шестую часть земли, и вся остальная земля живет лишь в ожидании их. Даже бог Зевс, вероятно, был последний циклоп, работавший по насыпке олимпийского холма, живший в хижине наверху и уцелевший в памяти античного аристократического племени; буржуазия тех ветхих времен не была глупой — она переводила умерших великих рабочих в разряд богов, ибо она втайне удивлялась, не в силах понять творчества без наслаждения, что погибшие молчаливо обладали высшей властью — трудоспособностью и душою труда — техникой.

Сарториус встал на ноги и взял чашку с вином. Короткого роста, с обыкновенным согретым жизнью лицом, увлеченный мысленным воображением, он был счастлив и привлекателен. Честнова Москва загляделась на него и решила когда-нибудь поцеловаться с ним. Он произнес

среди своих замолкших товарищей:

— Давайте выпьем за безымянных циклопов, за воспоминанье всех погибших наших измученных отцов и за технику — истинную душу человека!

Все сразу выпили, а музыканты заиграли старую песнь на стихи Языкова:

Там за валом непогоды
Есть блаженная страна,
Где не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Божко сидел покорно и незаметно; он радовался больше участников вечера, он знал, что непогода проходит и блаженная страна лежит за окном, освещенная звездами и электричеством. Он скупо, молчаливо любил эту страну и поднимал каждую крошку, падающую из ее добра, чтоб страна уцелела полностью.

Подали обильный ужин. Его бережно начали отведывать, но Семен Сарториус не мог уже ни есть, ни пить ничего. Мученье любви к Честновой Москве сразу занялось во всем его теле и сердце, так что он открыл рот и усиленно дышал, как будто ему стало неудобно в груди. Москва издали и

загадочно улыбалась ему, ее таинственная жизнь доходила до Сарториуса теплом и тревогой, а зоркие глаза ее глядели на него невнимательно, как на рядовой факт. «Эх, физика сволочь! — понимал Сарториус свое положение. — Ну вот что мне теперь делать, кроме глупости и личного счастья!»

Городская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряжением далеких машин; возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Сарториуса. Он вышел на балкон, поглядел на звезды и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!». Самбикин по-прежнему сидел за столом, не трогая пищи; он был *увлечен* своим размышлением дальше завтрашнего утра и смутно, как в тумане над морем, разглядывал будущее бессмертие. Он хотел добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность из трупов павших *существ.* Несколько лет назад, роясь в мертвых телах людей, он снял тонкие срезы с сердца, с мозга и железы половой секреции. Самбикин изучил их под микроскопом и заметил на срезах какие-то ослабевшие следы неизвестного вещества. После, испытывая эти почти погасшие следы на химическую реакцию, на электропроводность, на действие света, он открыл, что неизвестное веще-

ство обладает едкой энергией жизни, но бывает оно только внутри мертвых, в живых его нет, в живых накапливаются пятна смерти — задолго до гибели. Самбикин озадачился тогда на целые годы, и сейчас озадаченность его еще не прошла: труп, оказывается, есть резервуар наиболее напорной, резкой жизни, хотя и на краткое время. Исследуя точнее, размышляя почти беспрерывно, Самбикин начинал соображать, что в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, ядовитая для смертного гноя, смывающая прах утомления, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности. Но где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скупо и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несется по телу, срывает ту печать с запасной, сжатой жизни, и она раздается в последний раз как безуспешный выстрел внутри человека и оставляет неясные следы на его мертвом сердце… Свежий труп весь пронизан следами тайного замершего вещества, и каждая часть мертвеца хранит в себе творящую силу для уцелевших жить. Самбикин предполагал превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых. Он понимал

девственность и могущество той младенческой влаги, которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания, эта влага, добавленная в живого, но поникшего человека, способна его сделать прямым, твердым и счастливым…

Он стоял долго; все теперь было для него нерешенным и посторонним. Чужие люди ехали на трамвае по улице, и звуки движения и разговорная речь доносились до слуха Сарториуса точно издалека; он слушал их без интереса и любопытства, как больной и одинокий. Он захотел сейчас же уйти домой, лечь под одеяло и согреть свою внезапную боль до того, чтоб она отошла к утру, когда снова придется идти [на работу][5].

За его спиной наслаждались его сверстники сознанием своего успеха и *будущей* технической мечтой. Мульдбауэр говорил о слое атмосферы на высоте где-то между пятьюдесятью и стами километров; там существуют такие электромагнитные, световые и температурные условия, что любой живой организм не устанет и не умрет, но будет способен к вечному существованию среди фиолетового пространства. Это было «Небо»

---

[5] Примечания: 5
Слово вычеркнуто в рукописи, но замена не найдена.

древних людей и счастливая страна будущих: за далью низко стелющейся непогоды действительно находится блаженная страна. Мульдбауэр предсказывал близкое завоевание стратосферы и дальнейшее проникновение в синюю высоту мира, где лежит воздушная страна бессмертия; тогда человек будет крылатым, а земля останется в наследство животным и вновь навсегда зарастет дебрями своей ветхой девственности. «И животные это предчувствуют! — убежденно говорил Мульдбауэр. — Когда я гляжу им в глаза, мне кажется — они думают: когда же это кончится, когда же вы оставите нас! Животные думают: когда же люди оставят их одних для своей судьбы!»

Сарториус скучно улыбнулся; он хотел бы сейчас остаться в самом низу земли, поместиться хотя бы в пустой могиле и неразлучно с Москвой Честновой прожить жизнь до смерти. Однако ему жалко было оставить без своего ответа эти ночные звезды, с детства глядящие на него, быть безучастным к всеобщей жизни, наполненной трудом и *чувством* сближения между людьми, он боялся идти по городу безмолвным, склонив голову, с сосредоточенной одинокой мыслью любви, и не желал стать равнодушным к своему столу, набитому идеями в чертежах, к своей

железной пролежанной койке, к настольной лампе, его терпеливому свидетелю во тьме и тишине рабочих ночей… Сарториус гладил свою грудь под сорочкой и говорил себе: «Уйди, оставь меня опять одного, скверная стихия! Я простой инженер и рационалист, я отвергаю тебя как женщину и любовь… Лучше я буду преклоняться перед атомной пылью и перед электроном!» Но мир, стелющийся перед его глазами огнем и шумом, уже замирал в своих звуках, заходил за темный порог его сердца и оставлял после себя живым лишь единственное, самое трогательное существо на свете. Неужели он откажется от него, чтобы поклониться атому, пылинке и праху? Москва Честнова вышла к Сарториусу на балкон. Она ему сказала с улыбкой:

— Почему вы такой печальный… Вы меня любите или нет?

Она дышала на него теплотою улыбающегося рта, платье ее шелестело, — скука зла и мужества охватила Сарториуса. Он ответил ей:

— Нет. Я любуюсь другою Москвой — городом.

— Ну тогда ничего, — охотно примирилась Честнова. — Пойдемте ужинать. Там ест больше всех товарищ Селин. Весь объелся, сидит красный, а глаза все время печальные. Не знаете

почему?

— Нет, — тихо ответил Сарториус. — Я сам тоже печальный.

Москва пригляделась во тьме к его несоразмерному лицу, по нему шли слезы при открытых глазах.

— Лучше не плачьте, — сказала Москва. — Я тоже вас люблю…

— Вы врете, — не поверил Сарториус.

— Нет, правда, — совершенно верно! — воскликнула Честнова. — Пойдемте отсюда поскорей…

Когда они проходили под руку среди торжествующих друзей, Самбикин посмотрел на них своими глазами, забывшими моргать и отвлеченными размышлением в далекую сторону от личного счастья. У выхода перед грудью Москвы очутился Божко и с уважением произнес свою терпеливую просьбу. Честнова настолько обрадовалась ему, что схватила со стола кусок торта и сразу угостила Божко.

Виктор Васильевич служил теперь в тресте весоизмерительной промышленности и был *увлечен* всецело заботой о гирях и весах. Он попросил Москву Ивановну познакомить его с таким знаменитым инженером, который мог бы изобрести простые и точные весы, чтоб их можно

было сделать за дешевую цену для всех колхозов и совхозов и для всей советской торговли. Божко здесь же сообщил, не видя грусти Сарториуса, о великих и незаметных бедствиях народного хозяйства, о дополнительных трудностях социализма в колхозах, о снижении трудодней, о кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов, о массовом, хотя и невольном, обмане рабочего потребителя в кооперации и распределителях… И все это происходит лишь благодаря ветхости государственного весового парка, устарелой конструкции весов и недостатку металла и дерева для постройки новых весовых машин.

— Вы меня извините, что я пришел сюда невольно, — говорил Божко. — Я понимаю, что я скучный. Здесь говорили, а я слышал, как человек скоро будет летающим и счастливым. Я это буду слушать всегда и с удовольствием, но нам нужно пока немного. Нам нужно хлеб и крупу вешать в колхозах с правильностью.

Москва улыбнулась ему с кротостью своего преходящего нрава.

— Вы прекрасный, советский наш человек!.. Сарториус, ступайте завтра же в ихний трест, сделайте им чертеж самых дешевых, самых простых

весов, и чтоб правильные были!

Сарториус задумался.

— Это трудно, — сознался он. — Легче усовершенствовать паровоз, чем весы. Весы работают уже тысячи лет… Это все равно что изобрести новое ведро для воды. Но я приду в ваш трест и помогу вам, если сумею.

Божко дал адрес своего учреждения и ушел со счастьем в свою комнату, где его ожидал обычный труд по всемирной корреспонденции.

7

Они приехали за город почти с последним трамваем и назад не могли возвратиться. Далекое электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю, и самый бедный свет доходил до здешней ржаной нивы и лежал на ее колосьях, как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь.

Честнова Москва сняла туфли и пошла босиком по полевой мякоти. Сарториус со страхом и радостью следил за ней; что бы она ни делала сейчас, все ему приносило в сердце содрогание, и он пугался развертывающейся в нем тревожной и опасной жизни. Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней,

но с такой трогательностью, что, если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал.

Честнова дала ему понести туфли, он незаметно обнюхал их и даже коснулся языком; теперь Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека.

— Товарищ Сарториус, что же мы теперь будем делать? — спросила Москва. — Ведь ночь еще стоит и скоро ляжет роса…

— Не знаю, — угрюмо ответил Сарториус. — Мне, наверно, придется любить вас.

— Вот колхоз в лощине спит, — показала Честнова в даль. — Там хлебом сейчас пахнет и ребятишки сопят в овинах. А коровы лежат где-нибудь на выгоне, и над ними начинается туман рассвета… Как люблю я все это видеть и жить!

Сарториусу же были теперь безразличны все коровы и сопящие во сне ребятишки. Он даже хотел, чтобы земля стала пустынной и Москва бы не отвлекала никуда своего внимания, а целиком сосредоточилась на нем.

Под утро Москва и Сарториус сели в землемер-

ную яму, обросшую теплым бурьяном, спрятавшимся здесь от культурных полей, как кулак на хуторе.

Сарториус взял Честнову за руку; природа — все, что потоком мысли шло в уме, что гнало сердце вперед и открывалось перед взором, всегда незнакомо и первоначально — заросшей травою, единственными днями жизни, обширным небом, близкими лицами людей, — теперь эта природа сомкнулась для Сарториуса в одно тело и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног.

Всю свою юность Сарториус провел в изучении физики и механики; он трудился над расчетом бесконечности как тела, пытаясь найти экономический принцип ее действия. Он хотел открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природе и отражающую поэтому всю ее истину — хотя бы в силу живой случайности, и эту мысль он надеялся закрепить навеки расчетной формулой. Но он сейчас не сознавал никакой мысли, потому что в голову его взошло сердце и там билось над глазами. Сарториус погладил руку Москвы, твердую и полную, как резервуар скупого, тесно сдавленного чувства.

— Семен, ну чего же вы хотите от меня? — покорно спросила Честнова, готовая к добру.

— Я хочу жениться на вас, — сказал Сарториус. — Больше я не знаю чего хотеть.

Москва задумалась и съела былинку бурьяна молодым алчным ртом.

— И ведь правда, что больше нечего хотеть, когда любишь. А говорят, что это глупо!

— Пусть говорят, — сумрачно произнес Сарториус. — Они только говорят, а сами, наверно, не любят... А что же делать, когда я без тебя томлюсь!

— А ты обними меня, и я тебя.

Сарториус обнял ее.

— Ну что, тебе легче стало томиться?

— Нет, так же, — ответил Сарториус.

— Тогда нам придется жениться, — согласилась Москва.

Когда невинное ежедневное утро осветило местные колхозы и окрестности громадного города, Честнова и Сарториус еще находились в землемерной яме. Узнав всю Москву полностью, все тепло, преданность и счастье ее тела, Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не утомилась, а возросла и он, в сущности, ничего не достиг, а остался по-прежнему

несчастным. Значит, этим путем нельзя было добиться человека и действительно разделить с ним жизнь. Тогда как же быть? Сарториус ничего не знал.

Москва Честнова лежала навзничь; небо над нею было сначала водяным, потом стало синим и каменным, затем превратилось в золотистое и мерцающее, как будто прорастающее цветами, — взошло солнце за Уралом и приближалось сюда.

Москва выбралась из ямы, обтянула платье на себе, обулась и пошла в город одна. Сарториусу она сказала, что будет его женою впоследствии: пусть он пока работает в тресте весов и гирь, где служит Божко, она найдет его, когда нужно будет.

Беспомощный и ничтожный вылез вслед за нею Сарториус. Он стоял один на рассвете в пустоте недозревших полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище.

— Зачем же ты уходишь, Москва? Я ведь люблю тебя еще больше!

Москва обернулась к нему.

— Я тебя не бросаю, Семен! Я же сказала, что вернусь… Я тоже тебя люблю.

— А почему уходишь от меня? Иди сюда снова опять.

Честнова стояла в недоумении шагов за десять.

— Мне жалко, Семен…

— Чего тебе жалко?

— Мне жалко чего-то… Сколько я ни живу, а жизнь со мной никак не сбывается, как я хочу.

Москва нахмурилась и стояла в обиде на границе высокой ржи. Солнце блестело на шелке ее платья, и на волосах высыхали последние капли утренней влаги, которую она набрала в бурьяне. Легкий ветер дул с прохладных москворецких низин, и рожь неясно бормотала опухшими колосьями; свет солнца, как мысль и улыбка, наполнил всю местность, одна лишь Москва была невеселая, и красивое платье и тело ее, сделанные из той же светящейся природы, не соответствовали ее печальному лицу. Сарториус снова привел Москву в укромную траву и не мог понять, отчего им обоим стало так скучно.

— Отстань ты от меня! — отодвинулась вдруг Москва от Сарториуса. — Я все делала, в воздухе летала и с мужьями жила, — не ты ведь первый, грустный, милый мой!

Честнова отвернулась и легла вниз лицом. Вид ее большого, непонятного тела, согретого под кожей скрытой кровью, заставил Сарториуса

обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить вместе с нею часть своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и не нужно и на самом деле не решает любви, а лишь утомляет человека. Еще не дотерпев объятий Сарториуса до конца, Москва обернула к нему лицо и насмешливо улыбнулась, — она обманывала в чем-то своего любимого человека.

Сарториус встал на ноги таким же, как ничего не было. Это озадачило его самого, а плачущее, влекущее чувство его не получило никакого утешения, — сердце болело по Москве столь же тщетно, словно она умерла или была недостижима.

— Ты, наверно, не любишь меня! — сказал он, отгадывая тайну.

— Нет, я люблю, ты мне нравишься, — убеждала Москва. — Мне и самой ведь трудно.

Где-то вдали уже поехали по земле колхозные телеги, была пора идти в город на работу, рассеиваться и покидать друг друга.

Москва сидела на траве в обиде, а Сарториус примирился со своею любовью к ней; достаточно будет жить с Москвою в браке, любоваться ею, может быть — родить детей, и боль чувства впо-

следствии утихнет, сердце изотрется и замрет навсегда ради спокойной и плодотворной деятельности ума.

— Я видела в детстве, — сообщила Москва, — как ночью бежал человек по улице с огнем на палке, с факелом. Он бежал к людям в тюрьму поджигать ее…

— Многое было такое, — произнес Сарториус.

— Мне его жалко все время, его убили потом…

— Что ж такого! — удивился Сарториус. — Мертвых много лежит в земле, и, наверно, никогда не будет такого сердца, которое вспомнит сразу всех мертвых и заплачет о них. Это ни к чему.

Москва затихла на некоторое время; она глядела на все, как больная, померкшими глазами.

— Семен… Знаешь что: ты лучше разлюби меня… Я ведь уж многих любила, а ты — меня первую! Ты — девушка, а я женщина!

Сарториус молчал. Москва обняла его одной рукой.

— Верно, Семен: разлюби! Ты знаешь, сколько я думала и чувствовала? Ужасно! И не вышло ничего.

— Что не вышло? — спросил Сарториус.

— Жизни не вышло. Я боюсь, что она никогда не выйдет, и я теперь спешу… Я раз видела одну

женщину, она прислонилась лицом к стене и плакала. Она плакала от горя — ей было тридцать четыре года, и она горевала по своему прошлому времени так сильно, что я подумала — она потеряла сто рублей или больше.

— Нет, я люблю тебя, Москва, — угрюмо сказал Сарториус. — Мне с тобой хорошо будет жить!

— А мне с тобой будет нехорошо! — отвергла Москва. — И тебе будет плохо: ну зачем ты врешь, что хорошо!.. Сколько раз я хотела разделить свою жизнь с кем-нибудь, и теперь хочу, — я ничуть не жалела своей жизни и не буду ее жалеть никогда! На что она мне нужна без людей, без всего эсесера? Я комсомолка не оттого, что бедная девочка была…

Честнова говорила с огорчением, с серьезностью, как изжившая опытная старуха, и поблекла от слабости своего сердца, сжавшегося сейчас в ее груди, как в темной безвестности.

— Чтоб ты мне поверил, я тебя поцелую! — Она поцеловала одичавшего от грусти Сарториуса; он лишь следил со страхом, как быстро постарела ее очевидная красота, но это стало еще сильнее для его любви.

— Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью со-

единиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно — никак, только одно наслаждение какое-то… Ты вот жил сейчас со мной, и что тебе — удивительно, что ли, стало или прекрасно! Так себе…

— Так себе, — согласился Семен Сарториус.

— У меня кожа всегда после этого холодеет, — произнесла Москва. — Любовь не может быть коммунизмом: я думала-думала и увидела, что не может… Любить, наверно, надо, и я буду, это все равно как есть еду, — но это одна необходимость, а не главная жизнь.

Сарториус обиделся, что его любовь, собранная за всю жизнь, в первый же раз погибла безответно. Но он понимал мучительное размышление Москвы, что самое лучшее чувство состоит в освоении другого человека, в разделении тягости и счастья второй, незнакомой жизни, а любовь в объятиях ничего не давала, кроме детской, блаженной радости, и не разрешала задачи влечения людей в тайну взаимного существования.

— Как же нам с тобой быть теперь? — спросил Сарториус.

— Мы будем еще долго, — улыбнулась Москва. — Ты жди меня, ты работай с Божко на фабрике весов и гирь, я приду к тебе снова… А сейчас я

уйду.

— Куда? Посиди еще со мной, — попросил Сарториус.

— Нет, надо, — сказала Москва и встала с земли.

Солнце уже уменьшилось на небе и давало сосредоточенный накал. Вблизи гудели паровозы подъездных путей на ближнем строительстве; мелкие аэропланы летели по небу в учебных полетах, и пятитонные грузовики везли бревна по грунту, размалывая почву в пыль, — жара и работа с утра распространялись по земле.

Москва попрощалась с Сарториусом, обняв руками его голову. Она была снова счастлива, она хотела уйти в бесчисленную жизнь, давно томящую ее сердце предчувствием неизвестного наслаждения, — в темноту стеснившихся людей, чтобы изжить с ними тайну своего существования.

Она ушла довольная, сдерживая свое удовлетворение; ей захотелось сбросить платье и побежать вперед, будто она была сейчас на берегу южного моря.

Сарториус остался один. Он хотел, чтоб Честнова к нему возвратилась и они бы стали мужем и женой доверчиво и навсегда. Сарториус чувство-

вал, как в тело его вошли грусть и равнодушие к интересу жизни, — смутные и мучительные силы поднялись внутри его и затмили весь ум, всякое здравое действие к дальнейшей цели. Но Сарториус согласен был утомить в объятиях Москвы все нежное, странное и человеческое, что появилось в нем, лишь бы не ощущать себя так трудно, и вновь отдаться ясному движению мысли, ежедневному, долгому труду в рядах своих терпеливых товарищей. Он хотел откупиться от всякого нынешнего и будущего содрогания своей жизни посредством простой, любимой жены и решил поэтому дождаться возвращения Москвы.

8

Учреждение находилось накануне ликвидации. Лишь спустя время Сарториус понял, что предназначенное к ликвидации иногда может оказаться не только наиболее прочным, но даже обреченным на вечное существование. Это учреждение находилось в Старо-Гостином Дворе на антресолях, где некогда хранились товары, боящиеся сырости. Лестница из того учреждения спускалась вниз — в каменную галерею, окружавшую весь старинный торговый двор. На входной двери помещалась железная вывеска:

«Республиканский трест весов, гирь и мер длины — “Мерило труда”».

Управление этой полузабытой и бедной отрасли тяжелой промышленности представляло из себя одну большую сумрачную залу с низким потолком, устроенным в виде подземного свода; при этом потолок у стен опускался настолько низко, что служащие, сидевшие вблизи стен, почти касались его головами. В зале стояло несколько столов, и за каждым сидело по одному или по два человека, которые писали либо считали на счетах. Всех служащих было человек тридцать или не более сорока, однако шумом своей работы, движением, вопросами и восклицаниями они производили впечатление громадного учреждения первостепенной важности.

В тот же день Сарториуса приняли на должность инженера по новым весовым конструкциям, и он сел за плоский стол против Виктора Васильевича Божко.

Пошли дни его новой жизни. В несколько ночей Сарториус закончил свой последний проект для института опытного машиностроения, где он работал до того времени, и сосредоточился на самой древней машине в мире — весах. Ничто так мало не изменилось на протяжении последних

пяти тысяч лет истории, как весовая машина. Во времена циклопов, в античной Греции и Карфагене, в великой Персии, погибшей под ударами Александра Македонского, — всюду во всех временах и пространствах самой всеобщей и необходимой машиной были весы. Весы столь же стары, как оружие, и, может быть, они одно и то же с ним, — весы это военный меч, положенный своей серединой на ребро камня — для справедливого разделения добычи между победителями.

Божко, не умевший работать без умственной и сердечной любви к предмету порученного ему труда, широко объяснил Сарториусу решающее значение весов в жизни человечества.

— Еще покойник Димитрий Иванович Менделеев, — говорил он, — выше всего полюбил весы! Он свою периодическую систему элементов — и то меньше любил. Хотя, что ж! Там ведь все дело основано на тех же весах: атомный вес, больше ничто!

Божко знал также, почему весовой прибор есть наиболее незаметный и скудный предмет: потому что человек зорко всматривается лишь в то, что лежит на весах, — в колбасу или хлеб, но что под ними — он не замечает; а под хлебом и колбасой находятся весы — инструмент чести и

справедливости, простая нищая машина, считающая и *берегущая* священное добро социализма, измеряющая пищу рабочего и колхозника в меру его творящего труда и хозрасчета.

И с усердием, со скупостью к крошкам хлеба, пропадающим благодаря неточности весов, Сарториус углубился в свои занятия. Внутри его тайно ото всех встретились и сочетались два *чувства* — любовь к Москве Честновой и ожидание социализма. В его неясном воображении представлялось лето, высокая рожь, голоса миллионов людей, впервые устраивающихся на земле без тяготения нужды и печали, и Москва Честнова, идущая к нему в жены издалека, она обошла всю жизнь, пережила ее вместе с несметным числом людей и оставила годы терпения и чувства в темноте минувшей молодости; она возвращалась такой же, только в бедном платье, босая, с отросшими на работе руками, но более веселая и ясная, чем была прежде; она нашла теперь удовлетворение для своего блуждающего сердца…

Блуждающее сердце! Оно долго содрогается в человеке от предчувствия, сжатое костями и бедствием ежедневной жизни, и наконец бросается вперед, теряя свое тепло на холодных, прохлад-

ных дорогах.

Согнувшись над столом в учреждении, Сарториус как можно скорее работал над улучшением устройства весов. Управляющий трестом сообщил Сарториусу об опасности весовых бунтов в колхозах, по примеру Соляного бунта в старину, ибо недостаток весов означает собой недовес хлеба по трудодням либо хлеб выдается лишний, тогда получается обман государства. Кроме того, площадка товарных весов, если весы неточные, делается полем для кулацкой политики и классовой борьбы. Гирьевая проблема также чревата грозными событиями — уже во многих пунктах кладут вместо клейменых гирь жуткие пустяки, вроде кирпичей, чугунных болванок, и даже сажают в определенных случаях беременных женщин, уплачивая за прокат их туловища как за трудодень. Все это неминуемо поведет к потере сотен тысяч центнеров зерна.

Горюя по Честновой, боясь жить один в своей комнате, Сарториус иногда оставался ночевать в учреждении. В десять часов вечера сторож засыпал предварительно на стуле у входа, а затем уходил в фанерный кабинет управляющего и укладывался в мягком кресле. Шло время на больших официальных часах, пустые столы вызывали

тоску по служащим, иногда показывались мыши и кроткими глазами глядели на Сарториуса.

Он сидел один над тою же задачей, над которой думал некогда Архимед, а позже Менделеев. Задача ему не давалась, весы и так были хороши, однако нужны были другие и лучшие, чтобы меньше тратить металла на их изготовление. Сарториус покрывал целые полосы бумаги расчетами призм, рычагов, деформационных напряжений, себестоимостью матерьяла и прочими данными. Вдруг слезы самостоятельно выходили из его глаз и текли по лицу, так что Сарториус удивлялся этому явлению; в глубине его тела жило что-то, как отдельное животное, и молча плакало, не интересуясь весовой промышленностью. После полуночи, когда в открытую форточку окна — поверх всего города — доходила волна запаха дальних растений и свежих пространств, Сарториус опускал голову на стол, теряя точность размышления. Так же пахла Честнова когда-то вблизи него, природой и добротою. Он не ревновал ее сейчас: пусть она ест вкусно и помногу, не болеет, радуется, любит прохожих и спит потом где-нибудь в тепле и не помня никакого несчастья.

Раз или два в ночь внезапно раздавался теле-

фонный звонок, и тогда Сарториус поспешно слушал трубку, но его никто не звал, это была ошибка, — человек извинялся и навечно исчезал в безмолвии; из многих друзей никто не знал, куда делся Сарториус, он надолго покинул большую дорогу техники и забыл свою славу механика, которая могла бы стать всемирной.

Однажды к нему домой пришел в гости Самбикин. Хирург сказал Сарториусу, что спинной мозг в человеке обладает некоторой способностью рационального размышления, так что думать может не только один ум в голове; Самбикин недавно проверил это предположение на одном ребенке, которому он делал вторичную трепанацию головы; ему пришлось удалить[6]

— Что ж тут такого! — не обрадовался Сарториус.

— Это основная тайна жизни, в особенности тайна всего человека, — задумчиво сказал Самбикин. — Раньше утверждали, что спинной мозг работает только ради сердца и чисто органических функций, а головной мозг — высший координирующий центр… Это неправда: спинной мозг может мыслить, а головной принимает

---

[6] Примечания: 6
Фраза не закончена.

участие в самых простых, инстинктивных процессах…

Самбикин был счастлив от своего открытия. Он еще верил, что можно враз взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространства обычному серому взору человека. Сарториус немного улыбнулся наивности Самбикина: природа, по его расчету, была труднее такой мгновенной победы и в один закон ее заключить нельзя.

— Ну дальше! — спросил Сарториус.

У Самбикина заклокотали внутренности от шума его высших переживаний.

— Дальше вот что… Надо проверить еще тысячу раз в эксперименте. Но вполне может получиться, что тайна жизни состоит в двойственном сознании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли, и одну не можем! У нас ведь два органа на один предмет! Они оба думают навстречу друг другу, хотя и на одну тему… Ты понимаешь, это может явиться основанием действительно научной, диалектической психологии, которой в мире нет. То, что человек способен думать вдвойне по каждому вопросу, сделало его лучшим животным на земле…

— А другие животные? — спросил Сарториус. —

У них тоже есть голова и спина.

— Верно. Но здесь разница в пустяке, хотя пустяк этот решил всемирную историю. Надо было привыкнуть координировать, сочетать в один импульс две мысли — одна из них встает из-под самой земли, из недр костей, другая спускается с высоты черепа. Надо, чтоб они встречались всегда в одно мгновение и попадали волна в волну, в резонанс одна другой… А у животных, у них тоже против каждого впечатления встают две мысли, но они идут вразброд и не складываются в один удар. Вот в чем тайна эволюции человека, вот почему он обогнал всех животных! Он взял почти пустяком: два чувства, два темных течения он сумел приучить встречаться и меряться силами… Встречаясь, они превращаются в человеческую мысль. Ясно, что это ничего неощутимо… У животных тоже могут быть такие состояния, но редко и случайно. А человека воспитал случай, он стал двойственным существом… И вот иногда, в болезни, в несчастье, в любви, в ужасном сновидении, вообще — вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный «он», часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно…

Мы видим — нас двое и мы надоели друг другу. Мы чувствуем легкость, свободу, бессмысленный рай животного, когда сознание наше было не двойным, а одиноким. От животных нас отделяет один миг, когда мы теряем двойственность своего сознания, и мы очень часто живем в архейскую эпоху, не понимая такого значения… Но вновь сцепляются наши два сознания, мы опять становимся людьми в объятиях нашей «двусмысленной» мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произошли в себе самих… Как мне жутко быть одному теперь! Это вечное совокупление двух страстей, согревающих мою голову…

Самбикин, очевидно давно не спавший, не евший, изнемог и сел в отчаянии.

Сарториус угостил его консервами и водкой. Постепенно они оба смирились от усталости и легли спать нераздетые, при горящем электричестве, и сердце и ум продолжали заглушенно шевелиться в них, спеша отработать в свой срок обыкновенные чувства и всемирные задачи.

Уже давно на Спасской башне прозвучала полночь и умолкла музыка Интернационала; скоро

наступит рассвет, и в предвидении его самые нежные, мало гостящие птицы зашевелились в кустарниках и садоводствах, а затем поднялись и улетели прочь, оставляя страну, где лето уже начало остывать.

Когда взошла заря и пожелтели лампы, длинный Самбикин и небольшой Сарториус по-прежнему спали на одном диване и шумно дышали, как пустотелые. Стесненная сном забота об окончательном устройстве мира все же снедала их совесть, и они время от времени бормотали слова, чтобы изгнать из себя беспокойство. Где была, где спала сейчас Москва Честнова, какое лето жизни она искала себе в начале осени, оставив друзей в ожидании?

Под конец сна Сарториус улыбнулся; кроткий характером, он почувствовал, что его, мертвого, зарыли в землю, в глубокое тепло, а вверху, на дневной поверхности могилы, осталась плакать по нем одна Москва Честнова. Больше никого не было, — он умер безымянным, как человек, действительно свершивший все свои задачи: республика насыщена весами до затоваривания и составлен весь арифметический расчет будущего исторического времени, дабы судьба стала безопасна и никогда не пришла в упор отчаяния.

Он проснулся довольный, с решимостью сделать и довести до совершенства всю техническую арматуру, автоматически перекачивающую из природы в человеческое тело основную житейскую силу пищи. Но глаза его уже с утра поблекли от воспоминания по Москве, и он от страха страдания разбудил Самбикина.

— Самбикин! — спросил Сарториус. — Ты доктор, ты знаешь ведь всю причину жизни… Отчего она так долго длится и чем ее утешить или навсегда обрадовать?

— Сарториус! — шутя ответил Самбикин. — Ты механик, ты знаешь, что такое вакуум…

— Ну знаю: пустота, куда всасывается что-нибудь…

— Пустота, — сказал Самбикин. — Пойдем со мною, я тебе покажу причину всей жизни.

Они вышли и поехали на трамвае. Сарториус смотрел в окно и встретил около ста тысяч человек, но нигде не заметил лица Москвы Честновой. Она могла даже умереть, ведь время идет и случайности сбываются.

Они приехали в хирургическую клинику Института Экспериментальной Медицины.

— Сегодня я вскрываю четыре трупа, — сообщил Самбикин. — Нас здесь трое работают над

одной темой: добыть одно таинственное вещество, следы которого есть в каждом свежем трупе. Это вещество имеет сильнейшую оживляющую силу для живых усталых организмов. Что это такое — неизвестно! Но мы постараемся вникнуть…

Самбикин приготовился, как обычно, и повел Сарториуса в прозекторское отделение. Это была холодная зала, где четыре мертвых человека лежали в ящиках, имеющих лед между двойными стенками.

Два помощника Самбикина вынули из одного ящика тело молодой женщины и положили перед хирургом на наклонный стол, похожий на увеличенный пульт музыканта. Женщина лежала с ясными открытыми глазами: вещество ее глаз было настолько равнодушно, что могло блестеть и после жизни, если только оно не разлагалось. Сарториусу стало плохо; он решил из института бежать скорее в свой трест, явиться в местком и попросить какой-нибудь товарищеской помощи от ужаса своего тоскующего сердца.

— Хорошо, — сказал готовый к работе Самбикин и дал объяснение Сарториусу: — В момент смерти в теле человека открывается последний шлюз, не выясненный нами. За этим шлюзом,

в каком-то темном ущелье организма скупо и верно хранится последний заряд жизни. Ничто, кроме смерти, не открывает этого источника, этого резервуара — он запечатан наглухо до самой гибели… Но я найду эту цистерну бессмертия…

— Ищи, — произнес Сарториус.

Самбикин отрезал женщине левую грудь, затем снял всю решетку грудной клетки и с крайней осторожностью достиг сердца. Вместе с помощниками он выбрал сердце и инструментами бережно положил его в стеклянный цилиндр — для дальнейшего исследования; тот цилиндр взяли и унесли в лабораторию.

— На этом сердце тоже есть следы той неизвестной секреции, о которой я тебе говорил, — сообщил Самбикин своему другу. — Смерть, когда она несется по телу, срывает печать с запасной, сжатой жизни, и она раздается внутри человека в последний раз, как безуспешный выстрел, и оставляет неясные следы на его мертвом сердце… Но это вещество — высшая драгоценность по своей энергии. И странно, самое живое появляется в момент последнего дыхания… Природа хорошо страхует свои мероприятия!

Далее Самбикин начал поворачивать мертвую девушку, точно предъявляя Сарториусу ее упи-

танность и целомудрие.

— Она хороша, — неопределенно произнес хирург; у него прошла мысль о возможности жениться на этой мертвой — более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь. — А сейчас мы увидим общую причину жизни…

Самбикин вскрыл сальную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть: в них лежала сплошная колонка еще не обработанной пищи, но вскоре пища окончилась и кишки стали пустые. Самбикин медленно миновал участок пустоты и дошел до начавшегося кала, там он остановился вовсе.

— Видишь! — сказал Самбикин, разверзая получше пустой участок между пищей и калом. — Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа — нюхай!

Сарториус понюхал.

— Ничего, — сказал он. — Мы эту пустоту наполним, тогда душой станет что-нибудь другое.

— Но что же? — улыбнулся Самбикин.

— Я не знаю что, — ответил Сарториус, чувствуя жалкое унижение. — Сперва надо накормить людей, чтоб их не тянуло в пустоту кишок…

— Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, — со скукой возразил Самбикин. — Ничего нельзя.

Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем:

— Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде.

Инженер повернулся к выходу из отделения трупов. Он согнулся и пошел оттуда, чувствуя позади улыбку Самбикина. Он был опечален грустью и бедностью жизни, настолько беспомощной, что она почти беспрерывно должна отвлекаться иллюзией от сознания своего истинного положения. Даже Самбикин ищет иллюзий в своих мыслях и открытиях, — он тоже увлечен сложностью и великой сущностью мира в своем воображении. Но Сарториус видел, что мир состоит более всего из обездоленного вещества, любить которое почти нельзя, но понимать нужно.

9

Москве Честновой некуда было деться, когда она решила в жилище свое не возвращаться и

Сарториуса больше не любить. Долгие часы она ходила и ездила по городу, к ней никто не прикоснулся и не спросил ни о чем. Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось — люди ничем не соединены и недоумение стоит в пространстве между ними.

Под вечер она отправилась в тот жакт, где жил вневойсковик. Скрипач настраивал свою скрипку у входа в домоуправление, по ту сторону забора визжала круглая пила на строительстве медицинского института, и жители жакта собирались в коридоре для обычной беседы.

Вневойсковик Комягин лежал на железной койке в своей маленькой комнате. Он тщетно искал в себе какую-нибудь мысль, чувство или настроение и видел, что ничего в нем нет. Стараясь о чем-нибудь подумать, он уже вперед не имел интереса к предмету своего размышления и оставлял поэтому свое желание мыслить. Если же нечаянно появлялась в его сознании какая-либо загадка, он все равно не мог ее решить, и она болела в его мозгу до тех пор, пока он ее физически не уничтожал путем, например, усиленной жизни с женщинами и долгого сна. Тогда он пробуждался вновь порожним и спокойным, не помня своего внутреннего бедствия. Иногда в нем начиналось

страдание или раздражение, подобно бурьяну в покинутом месте, но Комягин быстро превращал их в пустое равнодушие посредством своих мер.

Но последние годы он уже устал бороться с собой как с человеком и изредка плакал в темноте, накрыв лицо одеялом, не мытым со дня его изготовления.

Однако было давнее время, когда Комягин жил необыкновенно. До сих пор на стенах его комнаты висели незаконченные картины масляной краской, изображающие Рим, пейзажи, различные избушки и рожь над оврагами. Это начинал когда-то рисовать Комягин, но ни одной картины не управился дорисовать, хотя прошло времени, как он их начал, лет десять или больше; поэтому избушки остались разоренными — без крыш, рожь не доросла до колоса, Рим походил на губернию. Где-то под кроватью, в изжитых вещах, валялась тетрадка с начатыми в молодости стихами и целый дневник, также не завершенный ничем, остановленный на полуслове, точно кто-то ударил Комягина и он уронил перо навсегда. Года три назад Комягин захотел составить опись своих вещей и предметов, но список этот также не мог окончить, успев внести туда лишь четыре пункта: себя самого, кровать, одеяло и

стул, а остальное ожидало своего учета в каких-то будущих, лучших временах.

Недавно Комягин повсюду искал пуговицу и нашел тетрадь со своими начатыми стихами. Он их писал из сельской жизни и прочел начало одного стиха:

Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села,

Звали молча к ним дороги, уходили на звезду.

И дышала степь в истоме сердцем тихим, телом голым,

Как в испуге на дрожащем, уплывающем мосту…

Конца стихотворения не было; единственный стул не стоял на ножках и нуждался в срочной починке, Комягин принес даже когда-то два гвоздя для этого дела, но к работе все еще не приступил.

Иногда Комягин полагал про себя: через месяц или два я начну новую жизнь — дорисую картины, закончу стихи, обдумаю полностью свое мировоззрение, оформлю документы, поступлю на твердую работу, стану ударником, полюблю женщину-подругу и женюсь… Он надеялся, что

через месяц-два в самом времени случится что-то особенное и оно, приостановившись, возьмет его в свое движение, но годы проходили мимо его окна без остановки и без счастливого случая. Тогда он подымался с кровати и уходил, как осодмилец, штрафовать публику в местах ее скопления.

И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, распространяя по небу удаляющийся долгий и грустный звук, отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление. В этот вечер Москва Честнова постучала в дверь Комягина. Не вставая с кровати, он сбросил левой рукою запорный крючок и пригласил гостью войти. Она вошла к нему, странная и знакомая, в своем дорогом платье, и оглядела эту комнату как свое привычное жилище. Вневойсковик решил сразу сдаться: документы у него были в беспорядке и оправданья нет. Но Честнова спросила его лишь, как он живет и не скучно ли ему так быть одному и ни к чему.

— Мне ничего, — сказал Комягин. — Я ведь и не живу, я только замешан в жизни, как-то такое, ввязали меня в это дело… Но ведь зря!

— Что зря? — спросила Москва.

— Неохота мне, — сказал Комягин. — Все время приходится надуваться: то думать, то говорить,

то куда-то идти, что-то действовать… Но мне ничего неохота, я все забываю, что живу, а вспомню — начинается жутко…

Москва осталась у него побыть, удивляясь обстановке жизни этого давно начатого и неконченного человека. Комягин согрел ей кашу на ужин, потом показал свою любимую картину из неизвестного для Честновой времени. Комягин достал ту картину из своего укромного хлама под кроватью; картина не была вполне дорисована, но мысль на ней изображалась ясно.

— Если б государство не возражало, я бы тоже так жил, — указал Комягин.

На картине был представлен мужик или купец, небедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном худом крыльце и мочился с высоты вниз. Рубаху его поддувал ветер, в обжитой мелкой бородке находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Позади мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились, наверно, банки с вареньем, пироги и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной пристройке — видна была только одна голова ее — и с выражением

дуры глядела в порожнее место на дворе. Мужик только что очнулся ото сна, а теперь вышел опроститься и проверить — не случилось ли чего особенного, — но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей, и человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтоб уже скорее прожить жизнь без памяти.

Позже к Комягину пришла его старая, разведенная жена, истертая женщина, измученная с давних пор. Она приходила к Комягину очень редко и, видимо, еще трогала его чувство воспоминанием прежней привязанности. Комягин устроил угощение своих гостей, но бывшая жена, молча выпив чаю, вскоре собралась уходить, чтобы не мешать мужу оставаться с новой толстой девкой, как она оценила Честнову. Для этой женщины все были толстыми, лишь ею одной никто не интересовался. Однако Комягин вывел Честнову в коридор и попросил ее погулять немного, а потом вернуться, если ей нужно.

— Я ведь томлюсь, когда не поживу с женщиной, — признался Комягин. — Мне некуда деться, интереса все равно нету… Вы же со мной, извините, все равно знакомы не будете.

— Нет, я буду, — сказала Москва, смущенная

горем Комягина. — Вы ступайте к ней.

Но Комягин еще постоял с нею в коридоре.

— Вы не обижайтесь…

— Я не обижаюсь, вы мне нравитесь немного, — ответила ему Честнова.

Комягин все же огорчился и наклонил голову.

— Она ведь мне женою была… Она плохо пахла, рожала от меня детей, а дети умерли… Мы вместе с ней спали нечистые. Она мне стала как брат, она теперь худеет и дурнеет, — любовь наша уже превратилась во что-то лучшее — в нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятиях…

— Я это понимаю, — тихо согласилась Москва. — Ты такой маленький гад, который живет в своей земляной дырочке. Я девочкой их видала, когда лежала в поле вниз лицом.

— Это вполне понятно, — охотно согласился Комягин. — Я человек ничто.

Москва нахмурилась: «Ну зачем, зачем он есть на свете? Из-за одного такого все люди кажутся сволочью, и каждый бьет их чем попало насмерть!»

— Я когда-нибудь приду к вам и буду женой, — сказала Москва.

— Я вас буду дожидаться, — согласился Комягин.

Но Москва быстро передумала, как еще не затвердевшее и неверное существо:

— Нет, не ждите, я никогда не приду в этот дом, — ты жалкий мертвец!

Она стала раздраженной и несчастной и прислонилась головой к стене.

В коридоре потух свет из экономии. Комягин ушел в свою комнату, и оттуда долго слышались сквозь временную стену звуки измученной любви и дыханье человеческого изнеможения. Москва Честнова прижалась грудью к канализационной холодной трубе, проходящей с верхнего этажа вниз; она присмирела от стыда и страха, и ее сердце билось страшнее, чем у Комягина за перегородкой. Но когда она сама делала то же самое, она не знала, что постороннему человеку бывает так же грустно, и неизвестно отчего.

Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни — не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус.

Она вышла наружу, была уже ночь. Громадные облака, освещенные лишь собственным слабым светом, прилегали близко к поверхности городских крыш и уносились в тьму полей, в скошенные пространства пустой, оголтелой земли.

Честнова пошла к центру, глядя во все попутные ярко освещенные окна жилищ и останавливаясь у некоторых из них. Там пили чай с семьей или гостями, прелестные девушки играли на роялях, из радиотруб раздавались оперы и танцы, спорили юноши по вопросам Арктики и стратосферы, матери купали своих детей, шептались двое-трое контрреволюционеров, поставив на стуле у двери гореть открытый примус, чтоб их слов не расслышали соседи… Москва настолько интересовалась происходящим на свете, что вставала носками туфель на выступы фундамента и засматривалась внутрь квартир, пока ее не осмеивали прохожие.

Она провела несколько часов в таком наблюдении и почти всюду замечала радость или удовольствие, однако ей самой делалось все более печально. Все люди были заняты лишь взаимным эгоизмом с друзьями, любимыми идеями, теплом новых квартир, удобным чувством своего удовлетворения. Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно. В домах ей не было радости, в тепле печей и в свете настольных абажуров она не видела покоя. Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы сама была не человеком, а огнем и электричеством

— волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле.

Москве уже давно хотелось есть, поэтому она вошла в ночной ресторан. Денег у нее не было никаких, но она села и взяла ужин. Все время оркестр играл какую-то безумную европейскую музыку, содержащую центробежные силы; после танцев под эту музыку хотелось свернуться телом в теплоту и лечь надолго в тесный, уединенный гроб. Не обратив на это внимания, Москва приняла участие в танцах среди зала; ее приглашал почти всякий человек из публики, находя в ней что-то утраченное в самом себе. Вскоре иные уже плакали, уткнувшись в платье Москвы, потому что опились вина, другие тут же исповедовались с точными подробностями. Сферический зал ресторана, оглушенный музыкой и воплями людей, наполненный мучительным дымом курения и газом сдавленных страстей, этот зал словно вращался — всякий голос в нем раздавался дважды и страдание повторялось; здесь человек никак не мог вырваться из обычного — из круглого шара своей головы, где катались его мысли по давно проложенным путям, из сумки сердца, где старые чувства бились, как пойманные, не впуская ничего нового, не теряя привычного,

и краткое забвение в музыке или в любви ко встречной женщине кончалось либо раздражением, либо слезами отчаяния. Чем позже шло время, чем более сгущалось веселье, тем быстрее вращался сферический зал ресторана, и многие гости забыли, где дверь, и в испуге кружились на одном месте посреди, предполагая, что они танцуют. Нестарый, долго молчавший человек, с темным светом в глазах, с наслаждением и садизмом угощал Москву, точно он внедрял в нее не сладкое кушанье, а собственное доброе сердце. Но Честнова вспоминала другие вечера, проведенные со своими сверстниками; она видела там за открытыми летними окнами простое поле, открытое в плоскость бесконечности, и в груди ее товарищей не вращалась эта сферическая, вечно повторяющаяся мысль, приходящая к своему отчаянию, — там была стрела действия и надежды, напряженная для безвозвратного движения вдаль, в прямое жесткое пространство.

Ночь склонялась к утру. Где-то спал Комягин с худою женщиной, сидел Сарториус над решеньем всех проблем, один и тот же такт играл и варьировал оркестр, как будто катая его по внутренней поверхности полого безвыходного шара; собеседник Москвы бормотал вековую

мысль о своей любви и печали, об одиночестве и припадал устами к чистой коже у локтя Москвы. Честнова молчала. Тогда ее знакомый, выпив немного вина для паузы, снова говорил ей о своей привязанности, о будущем возможном счастье, если Москва ответит ему так же любовью.

— Бросьте вы буксовать на одном и том же месте, — ответила ему Честнова. — Если полюбили, то перестаньте…

Собеседник Москвы не согласился.

— Мы рожаемся и умираем на груди женщины, — он слегка улыбнулся, — так полагается по сюжету нашей судьбы, по всему кругу счастья…

— А вы живите по прямой линии, без сюжета и круга, — посоветовала Москва; она чуть тронула свои груди указательным пальцем. — Посмотрите, на мне вам трудно будет умереть, я не мягкая…

Сильный добрый свет возник во тьме глаз этого внезапного товарища Честновой; он вгляделся в обе ее груди и сказал:

— Вы правы, дорогая моя. Вы еще очень жесткая, вас, наверно, не мяли насмерть… У вас даже грудные соски глядят вперед, как два пробойных острия… Как это странно и тяжело видеть мне!

Он отвел голову в тоске; ясно было, что его лю-

бовь к Москве усиливалась от всякой замеченной новости в ней, даже от цвета чулок. Так же ее любил и Сарториус, вероятно — и Самбикин… Москва равнодушно поглядела на своего приятеля; ей не хотелось встречать в новых лицах тех, кого она оставила раньше. Если перед ней сидит такой же человек, что и Сарториус, то лучше вернуться к первому Сарториусу и не покидать его никогда.

Перед рассветом заиграли самый энергичный фокстрот, который действовал даже на пищеварение. Москва вышла танцевать со своим новым другом; они танцевали почти одни среди зала, опустошенного долгим весельем, как бедствием. Многие посетители уже дремали, некоторые глядели как мертвые, объевшись пищей и мнимыми страстями.

Музыка вращалась быстро, как тоска в костяной и круглой голове, откуда выйти нельзя. Но скрытая энергия мелодии была настолько велика, что обещала когда-нибудь протереть косные кости одиночества или выйти сквозь глаза, хотя бы слезами. Честнова понимала те пустяки, какие она делает сейчас ногами и руками, но ей нравилось многое, даже ненужное.

Наставал рассвет за окном сферического зала

ресторана. Снаружи росло дерево; теперь его было видно в свете зари. Ветви дерева росли прямо вверх и в стороны, никуда не закругляясь, не возвращаясь назад, и кончалось дерево резко и сразу — там, где ему не хватило сил и средств уйти выше. Москва глядела на это дерево и говорила себе: «Это я, как хорошо! Сейчас уйду отсюда навсегда».

Она попрощалась с кавалером, но он загоревал по ней.

— Куда вы? Не надо спешить… Пойдемте отсюда куда-нибудь еще. Ну погодите немного, я расплачусь…

Москва молчала. Он предложил дальнейшее:

— Уйдем отсюда в поле — впереди нас ничего нет в мире, только дует какой-нибудь ветер из тьмы! А во тьме всегда хорошо…

Он напряженно улыбался, скрывая огорчение, считая последние секунды до разлуки.

— Ну нет! — сказала весело Москва. — Ишь вы, дурак какой нашелся… До свидания, благодарю вас.

— Куда вас можно поцеловать — в щеку или в руку?

— В эти места нельзя, — смеялась Москва. — Можно в губы. Дайте — я сама вас…

Она поцеловала его и ушла. Человек остался расплачиваться без нее, удивляясь бессердечию молодого поколения, которое страстно целуется точно любит, а на самом деле — прощается навечно.

Честнова шла одна на заре по столице. Она шла важно и насмешливо, так что дворники загодя отводили свои поливные рукава и ни одна капля не попала на платье Москвы.

Жизнь ее еще была долга, впереди простиралось почти бессмертие. Ничто не пугало ее сердце, и на защите ее молодости и свободы дремали где-то пушки вдали, как спит гроза зимою в облаках. Москва посмотрела на небо; там видно было, как шел ветер подобно существу и шевелил наверху смутный туман, надышанный ночью человечеством.

На Каланчевской площади за дощатой изгородью шахты сопели компрессоры метрополитена. У рабочего входа висел плакат: «Комсомолец, комсомолка! Иди в шахту метро!..»

Москва Честнова поверила и вошла в ворота; она желала быть везде соучастницей и была полна той неопределенностью жизни, которая настолько же счастлива, как и ее окончательное разрешение.

10

Сарториус решил проблему весов для колхозов. Он выдумал способ взвешивания хлеба на кварцевом камне. Этот камень был невелик, всего в несколько граммов. При сжатии его грузом кварцевый камешек выделял слабое электричество, которое усиливалось радиолампами и двигало, сколько нужно, стрелку циферблата, где отмечался вес. Радио было всюду — и на ссыпунктах, и в колхозных жилищах, и в клубах, поэтому весы состояли только из деревянной платформы, кварцевого камешка и циферблата, что было дешевле прежних сотенных весов раза в три и не требовало железа.

Теперь Сарториус переводил весь весовой парк республики на электричество. Он хотел пассивную мировую постоянную — тяготение земли — заменить активной постоянной — энергией электрического поля. Это способно было дать весовым механизмам острое чувство точности и делало весовые машины дешевыми.

Лето окончилось, пошли дожди, такие же долгие и скучные, как в раннем детстве при капитализме. Сарториус редко ходил домой; ему там было страшно оставаться со своею тоскою

по любимой пропавшей Москве. Поэтому он с усердной сосредоточенностью занимался чертежами, и его сердце успокаивалось, сознавая пользу сбережения для государства и колхозников миллионов рублей благодаря техническому улучшению весового парка.

Здесь же, в Старо-Гостином Дворе, в учреждении бедняцкой, полузабытой промышленности, Сарториус нашел не только почет за свой труд, но и человеческое утешение в своей печали.

Виктор Васильевич Божко, бывший председателем месткома весового треста, узнал тайну Сарториуса. Однажды, как обычно, Сарториус занимался поздним вечером. В тресте остался лишь один бухгалтер, подбивая квартальный баланс, да еще Божко склеивал вдали очередную стенгазету. Сарториус загляделся в окно, там люди целыми толпами ехали в трамваях из театров и гостей, им было весело друг с другом, и жизнь их шла надежно к лучшему, лишь техника напрягалась под ними — гнулись рессоры вагонов и утомленно гудели моторы.

Тем более озабоченно склонялся Сарториус над своей работой. Надо было решить не только задачу весов, но и железнодорожный транспорт и прохождение кораблей в Ледовитом океане и

попытаться определить внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мученье и гибель. Самбикин ошибался, когда указывал душу мертвого гражданина, помещенную в пустоте кишок между калом и новой пищевой начинкой. Кишки похожи на мозг, их сосущее чувство вполне рационально и поддается удовлетворению. Если бы страсть жизни средоточилась лишь в темноте кишок, всемирная история не была так долга и почти бесплодна; всеобщее существование, основанное даже на одном разуме желудка, давно бы стало прекрасным. Нет, не одна кишечная пустая тьма руководила всем миром в минувшие тысячелетия, а что-то другое, более скрытное, худшее и постыдное, перед чем весь вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка, — что не пролезает в сознание и поэтому не могло быть понято никогда прежде: в сознание [разум][7] ведь попадает лишь подобное ему, нечто похожее на самую мысль. Но теперь! Теперь — необходимо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями

[7] Примечания: 7

Здесь и далее в квадратные скобки заключен авторский вариант — в случаях, когда выбор не определился.

во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впиться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком…

— Как много надо трудиться нам! — вслух сказал Сарториус. — Не приходи, Москва, мне сейчас некогда…

В полночь Божко скипятил чай электрической грелкой и с почтением начал угощать Сарториуса. Он сердечно уважал молодого, трудолюбивого инженера, который с охотой пришел работать в малозначную, безвестную промышленность, оставив в стороне славу авиации, разложения атома и сверхскоростной езды. Они пили чай и вели беседу об изжитии брака гирь, о двадцать первом правиле проверки весоизмерителей и о прочих подобных, по форме скучных, предметах. Но за этим у Божко скрывалась страсть целого сердца, потому что точная гиря влекла за собою долю благоденствия колхозной семьи, помогала расцвету социализма, обнадеживала в конце концов душу всех неимущих земного шара. Гиря, конечно, небольшое дело, но Божко

и себя сознавал невеликим, поэтому для счастья его всегда было достаточно материала.

Столица засыпала. Лишь вдалеке где-то стучала машинка в поздней канцелярии и слышалось, как сифонят трубы МОГЭСа, но большинство людей лежали в отдыхе, в объятиях или питались в темноте квартир секретами своих скрытых душ, темными идеями эгоизма и ложного блаженства.

— Поздно, — сказал Сарториус, напившись чаю с Божко. — Все уже спят в Москве, одна только сволочь, наверно, не спит, вожделеет и томится.

— А это кто ж такие, Семен Алексеевич? — спросил Божко.

— Те, у которых есть душа.

Божко был готов из любезности к ответу, но промолчал, так как не знал, что сказать.

— А душа есть у всех, — угрюмо произнес Сарториус; он в усталости положил голову на стол, ему было скучно и ненавистно, ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди.

— Разве с точностью открыто, что повсеместно есть душа? — спросил Божко.

— Нет, не с точностью, — объяснил Сарториус. — Она еще неизвестна.

Сарториус умолк; его ум напрягался в борьбе со своим узким, бедствующим чувством, беспрерывно любящим Москву Честнову, и лишь в слабом свете сознания стоял остальной разнообразный мир.

— А нельзя ли поскорей открыть душу, что она такое, — интересовался Божко. — Ведь и вправду: пусть весь свет мы переделаем и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать!.. Даже тело наше не такое, как нужно, в нем скверное лежит.

— В нем скверное, — сказал Сарториус.

— Когда я юношей был, — сообщил Божко, — я часто хотел — пусть все люди сразу умрут, а я утром проснусь только один. Но все пусть останется: и пища, и все дома, и еще — одна одинокая красивая девушка, которая тоже не умрет, и мы с ней встретимся неразлучно…

Сарториус с грустью поглядел на него: как мы все похожи, один и тот же гной течет в нашем теле!

— Я тоже думал так, когда любил одну женщину.

— Кого же это, Семен Алексеевич?

— Честнову Москву, — ответил Сарториус.

— А, ее! — бесшумно произнес Божко.

— Вы ее тоже знали?

— Косвенно только, смутно, Семен Алексеевич, я был ни при чем.

— Ничего! — опомнился Сарториус. — Мы теперь вмешаемся внутрь человека, мы найдем его бедную, страшную душу.

— Пора бы уж, Семен Алексеевич! — указал Божко. — Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце. Изуродовала нас история-матушка!

Вскоре Божко улегся спать на столе, приготовив для Сарториуса постель в кресле управляющего. Божко был теперь еще более доволен, поскольку лучшие инженеры озаботились переделкой внутренней души. Он давно втайне боялся за коммунизм: не осквернит ли его остервенелая дрожь [чужеродный дух], ежеминутно подымающаяся из низов человеческого организма! Ведь древнее, долгое зло глубоко въелось в жизненную плоть, даже само тело наше есть, наверно, одна сплоченная терпеливая язва или такое жульничество, которое нарочно отделилось от всего мира, чтобы победить его и съесть в одиночку…

Наутро, когда проснулся Божко, он увидел, что Сарториус вовсе не ложился. Он заготовил целую

пачку чертежных схем и расчетов для электрического весового парка, но одновременно лицо его имело высохшие следы слез и морщины борьбы с неотвязным отчаянием тоскующего чувства.

В тот же день на вечер Божко созвал президиум месткома, где тактично доложил о личном горе инженера Сарториуса и наметил меры по уменьшению его страдания.

— Мы привыкли вмешиваться только во что-то общее и широкое, — говорил Божко на президиуме, — а надо попробовать помочь также частному и глубокому. Продумайте это, товарищи, по-советски и человечески, — вы помните, как Сталин нес урну с прахом инженера Федосеенко… Хотя горе товарища Сарториуса необыкновенно, благодаря его чувству, но утешить его надо обыкновенной мерой, потому что в жизни, как я заметил, хотя, быть может, и неверно, самое сильное — это что-нибудь обыкновенное: я ведь так полагаю…

Машинистка Лиза, член месткома, с легковерной готовностью полюбила про себя Сарториуса, но потом ей стало стыдно. Она была нежна и нерешительна, ее лицо почти всегда имело розовый цвет от совестливого напряжения с людьми. Девственница, она рано полнела, темные волосы ее росли все более густо и наружность делалась

такой привлекательной, что многие обращали внимание и думали о Лизе как о своем счастье. Один Сарториус замечал ее как-то косвенно и ничего не предполагал о ней.

«Через два дня Божко посоветовал Сарториусу поглядеть на Лизу, — она очень мила и добра, но несчастна от скромности.

В дальнейшем времени, благодаря общему делопроизводству, Сарториус ближе познакомился с Лизой, и однажды он в недоумении погладил ее руку, лежавшую на машинном столике, не зная, что сказать. Лиза не взяла руки и промолчала; был уже вечер, луна быстро, как время, всходила на небо за стенами учреждения, точно отмечая ежеминутную истекающую молодость.

Лиза и Сарториус вышли вместе на улицу, занятую таким тесным движением людей, что, казалось, здесь же происходило размножение общества. Они поехали в окрестность города на трамвае, там была уже поздняя осень, в кочковатых полях стояла холодная сухость, и некогда росшая рожь, освещенная зарей московского полночного зарева, теперь была скошена, и место лежало пустынным. В страхе от своего воспоминания Сарториус обнял Лизу, широко оглядывая одинокую тьму ночи; Лиза в ответ прильнула к

нему, согреваясь и приобретая его руками, как разумная хозяйка.

С тех пор Сарториус нашел в учреждении утешение своей души и заунывная боль его по Москве Честновой превратилась в грустную память о ней как о погибшей... За каменные весы он получил много денег, одел на них Лизу в роскошь и некоторое время жил легко и даже весело, предаваясь любви, посещению театров и текущим удовольствиям. Лиза была верна ему и счастлива, лишь одного она боялась — как бы Сарториус не оставил ее; поэтому она подолгу смотрела в его лицо, когда он спал, и думала о том, чтобы как-либо безболезненно и незаметно испортить наружность Сарториуса, хотя он и так был недостаточно красив, — тогда уж его, как урода, не полюбит другая женщина и он будет жить с нею до самой смерти. Однако Лиза ничего выдумать не умела и не знала, как сделать, чтобы Сарториус для всего мира стал ненавистным, — и, когда он улыбался во сне неизвестному легкому сновидению, у Лизы показывались слезы от горя ревности и нарождающейся ярости.

Ум Сарториуса успокоился, в нем опять непроизвольно, как в семеннике, производились мысли и фантазии, и он просыпался, наполнен-

ный открытиями и далекими представлениями; он воображал себе бедняцкий южносоветский Китай и шведского ученого Мальмгрена, замерзшего во льду, уже забытого всем светом. И с беспокойством от ответственности своей жизни, со страхом от ее скорости, легкомыслия и мнимой утоленности, Сарториус работал все более поспешно, боясь умереть или снова полюбить Москву Честнову и тогда замучиться.

Наступила зима. Многие ночи Сарториус просидел в учреждении, в то время как Лиза печатала что-то вдали на машинке. Он спроектировал электрические весы, которые взвешивали звезды на расстоянии, когда они показывались над горизонтом востока, и его за это поцеловал замнаркома тяжелой промышленности; но Сарториус постепенно терял интерес и к весам, и к звездам: он чувствовал в себе смутное волнение, не объяснимое его счастливой молодостью, и тайна человеческой жизни была для него неясна; он чувствовал себя так, как будто до него люди не жили и ему предстоит перемучиться всеми мученьями, испытать все сначала, чтобы найти для каждого тела человека еще не существующую, великую жизнь. В тоске и нестерпимости, лишь бы утомиться и переменить мысли, он целовал

свою Лизу, и та принимала всерьез его чувство. Но после он долго спал с испитым сердцем и просыпался в отчаянии. Москва Честнова была права, что любовь это не коммунизм [будущее] и страсть грустна.

11

Зимою в два часа ночи подъемник 18-й шахты метрополитена сработал по аварийному сигналу — наверх была поднята девушка-шахтер, и вызвана карета «скорой помощи». У той девушки была размята правая нога в верхней полной части, выше колена.

— Вам очень больно или нет? — наклонился к ней серый от усталости и страха прораб.

— Ну конечно, но только не очень! — здраво ответила шахтерка. — Я еще, может быть, встану сейчас…

Она действительно встала с носилок, прошла несколько шагов и упала в снег. Из нее вышла кровь; на снегу, освещенном прожектором, кровь казалась желтой, истощенной еще задолго в теле, но лицо упавшей глядело блестящими глазами, и губы были красные от здоровья или от высокой температуры.

— Как же это случилось с вами? — допрашивал

ее прораб, помогая ей лечь на подстилку.

— Не помню, — ответила раненая, — на меня вагонетки наскочили и зажали в слепой проход… Но вы отойдите теперь, я буду спать, а то боль чувствовать неохота.

Прораб отошел, готовый сам себе оторвать ногу, лишь бы эта девушка уцелела полностью. Приехал автомобиль и увез уснувшую шахтерку в хирургическую клинику.

В экспериментальной клинике находился Самбикин в качестве ночного дежурного врача; срочных больных не привозили, поэтому он сидел наедине с мертвой материей и пытался выбрать из нее то малоизвестное веселое вещество, которое было припасено для долгой, но не случившейся жизни.

Перед Самбикиным лежал на опытном столе некогда оперированный им ребенок. Он долго томился в больнице, однако вчера умер и перед смертью стал на короткое время безумным, потому что в костяных скважинах на его голове, где производилась операция, появился гной и сразу, со скоростью сгорания, отравил его сознание. Сестра рассказывала Самбикину, что маленький больной закрыл на минуту спокойные, хорошо наполненные глаза, а открыл их пустыми и скуч-

ными, как пробитыми насквозь.

Самбикин в долгом одиночестве гладил голое тело умершего, как самую священную социалистическую собственность, и горе нагревалось в нем, пустынное, не разрешимое никем.

К полночи он раскопал инструментом сердце в груди покойного, затем вынул железу из области горла и стал исследовать эти органы приборами и препаратами, выискивая, где хранится неистраченный заряд живой энергии; Самбикин был убежден, что жизнь есть лишь одна из редких особенностей вечно мертвой материи и эта особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим нужно так же мало, чтобы ожить, как мало нужно было, чтобы они скончались. Более того, живое напряжение снедаемого смертью человека настолько велико, что больной бывает сильнее здорового, а мертвый жизнеспособней живущих.

Самбикин решил мертвыми оживлять мертвых, но его позвали к раненой живой.

Шахтерку положили на стол перевязочной и накрыли лицо двойной кисеей — она спала.

Самбикин осмотрел ее ногу; кровь вырывалась с давлением наружу и слегка вспенивалась; кость была раздроблена по всему сечению, и внутрь

раны въелись различные нечистоты. Но окружающее целое тело имело нежный смуглый цвет и такую свежую опухшую форму поздней невинности, что шахтерка заслуживала бессмертия; даже сильный запах пота, исходивший из ее кожи, приносил прелесть и возбуждение жизни, напоминая хлеб и обширное пространство травы.

Самбикин распорядился о приготовлении изувеченной к операции на завтрашний день.

Наутро Самбикин увидел на операционном столе Москву Честнову; она была в сознании и поздоровалась с ним, но нога ее стала темной, и жилы на ней, переполненные мертвой кровью, набухли, как у склерозной старухи. Москва уже была вымыта, и ей сбрили волосы в паху.

— Ну, теперь до свиданья! — сказал Самбикин, растирая свои большие руки.

— До свиданья, — ответила Москва и стала блуждать глазами, потому что сестра дала ей вдохнуть усыпляющее вещество.

Она забылась и пошевелила шелестящими губами в жажде горячего тела.

— Уснула, — сказала сестра, обнажая всю Москву.

Самбикин долго работал над ногой, пока не отделил ее начисто, дабы избавить организм от

гангрены. Москва лежала спокойная; неопределенное грустное сновидение плыло в ее сознании — она бежала по улице, где жили животные и люди, — животные отрывали от нее куски тела и съедали их, люди впивались и задерживали, но она бежала от них далее, вниз, к пустому морю, где кто-то плакал по ней; туловище ее ежеминутно уменьшалось, одежду давно содрали люди, наконец остались торчащие кости, — тогда и эти кости начали обламывать попутные дети, но Москва, чувствуя себя худой и все более уменьшающейся, терпеливо убегала дальше, лишь бы никогда не возвращаться в страшные покинутые места, откуда она убежала, лишь бы уцелеть, хотя бы в виде ничтожного существа из нескольких сухих костей… Она упала на жесткие камни, и все, кто рвал и ел ее в бегстве, навалились на нее тяжестью.

Москва проснулась. Склонившись, ее обнимал Самбикин и пачкал кровью ее груди, шею и живот.

— Пить! — попросила Москва.

В операционной никого не было, своих помощниц-сестер Самбикин давно услал, где-то в далеком углу шипела газовая горелка.

— Я теперь хромая, — сказала Честнова.

— Да, — ответил Самбикин, не оставляя ее. — Но это все равно, я не знаю, что сказать вам…

Он поцеловал ее в рот; изо рта выходил удушающий запах хлороформа, но он мог теперь дышать всем, чем попало, что она выдыхала из себя.

— Обождите, я ведь больная, — попросила Москва.

— Извините, — отстранился Самбикин. — Есть вещи, которые уничтожают все, это — вы. Когда я увидел вас, я забыл думать, я думал, что умру…

— Ну ладно, — неясно улыбнулась Москва. — Покажите мне мою ногу.

— Ее нет, я велел отослать ее себе домой.

— Зачем? Я ведь не нога…

— А кто же?

— Я не нога, не грудь, не живот, не глаза, — сама не знаю кто… Унесите меня спать.

На следующий день здоровье Москвы ослабело, начался жар и пошла кровавая моча. Самбикин стучал себя по голове, чтобы опомниться от любви, анализировал свое состояние физиологически и психически, смеялся, усиленно морща лицо, но ничего не мог достигнуть. Суета и напряжение работы оставили его, он ходил, как бездельник, по дальним улицам в одиночестве, занятый скучной неподвижной мыслью любви. Иногда он

прислонялся головой к дереву на ночном бульваре, чувствуя нестерпимое горе; редкие слезы опускались по его лицу, и он, стыдясь, собирал их языком вокруг рта и проглатывал.

Во вторую ночь Самбикин взял сердце и шейную железу умершего ребенка, приготовил из них таинственную суспензию и впрыснул ее в тело Честновой. Так как он спать теперь почти не мог, то проблуждал по городу до рассвета, а утром встретил в клинике мать покойного мальчика — она пришла брать своего сына для похорон. Самбикин отправился с нею, помог ей в необходимых хлопотах, а после полудня уже шел рядом с худою, дрожащей женщиной за повозкой, где лежал мальчик с пустой грудью в гробу. Неизвестная, странная жизнь открылась перед ним — жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и в привязанности. Эта жизнь была настолько же велика, как и жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна.

Москва Честнова поправлялась долго, она пожелтела, и руки ее высохли от неподвижности. Но в окне она видела голые худые ветви какого-то дворового больничного дерева; ветви скреблись по оконному стеклу в течение долгих мартовских ночей, они зябли и тосковали, чувствуя срок

наступающего тепла. Москва слушала движение влажного ветра и ветвей, постукивала им в ответ пальцем по стеклу и не верила ни во что бедное и несчастное на свете — не может быть! «Я скоро выйду к вам!» — шептала она наружу, прильнув ртом к стеклу.

Однажды в апреле, уже вечером, когда в клинике нужно было спать, Честнова услышала где-то далеко игру на скрипке. Она прислушалась и узнала музыку — это играл скрипач в том недалеком жакте, где жил Комягин. Изменяется время, жизнь и погода, — наступала весна, кооперативный музыкант играл еще лучше, чем прежде: Москва слушала и воображала ночные овраги в полях и птиц, летящих в нужде сквозь холодную тьму вперед.

Днем, как обычно, Москву часто навещали ее подруги по прошлой работе в земле; после операции приходил два раза треугольник шахты метрополитена и приносил ей торты в коробках за счет профсоюза.

«Выздоровлю, пойду замуж за Комягина, — думала Москва по ночам, слушая, как распространяется в огромном воздухе музыка жактовского скрипача. — Я теперь хромая баба!»

Ее выписали в конце апреля. Самбикин принес

ей новые прочные костыли — на весь долгий путь остающейся жизни. Но идти Москве было некуда, она жила до больницы в сорок пятом общежитии метростроя, а теперь то общежитие куда-то перевели, она не знала.

Самбикин, открыв дверь автомобиля, ждал адреса, куда ее везти, но Москва улыбалась и молчала. Тогда Самбикин повез ее к себе.

Через несколько дней, не дожидаясь окончательного заживления раны на ноге Москвы, Самбикин уехал с нею на Кавказ, в дом отдыха на черноморском берегу.

Каждое утро, после завтрака, Самбикин провожал Москву на берег шумного моря, и Москва часами смотрела в невозвратное пространство. «Уйду, уйду я куда-нибудь», — шептала она одно и то же. Самбикин молчал близ нее, его внутренности болели, точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая мысль любви к обедневшему, безногому телу Москвы. Самбикин стыдился такой своей жалкой жизни; в мертвые послеобеденные часы он уходил в горную рощу и там бормотал, ломал сучья, пел, умолял всю природу отвязаться от него и дать наконец покой и работоспособность, ложился в землю и чувствовал, как все это неинтересно.

Возвращаясь к вечеру, Самбикин зачастую не мог даже добраться до Честновой, настолько она была окружена вниманием, заботой и навязчивостью полнеющих на отдыхе мужчин. Уродство Москвы теперь было мало заметно, — ей привезли протез из Туапсе и она ходила без костылей, с одной тростью, на которой все, кому Москва нравилась, уже успели вырезать свои имена и даты и нарисовать символы безумных страстей. Разглядывая свою трость, Москва понимала, что надо удавиться, если бы рисунки были искренними: знакомые люди рисовали, в сущности, только одно: как бы они хотели рожать от нее детей. Один раз Москве захотелось винограда, но весной он не вырастает. Самбикин обходил колхозные окрестности, однако всюду виноград уже давно был превращен в вино. Москва сильно опечалилась — после потери ноги и болезни у нее появилась разная блажь в виде нетерпенья по поводу какого-нибудь пустяка. Она, например, каждый день мыла себе голову, потому что все время чувствовала в волосах грязь и даже плакала от огорчения, что грязь никак не проходит. Когда Москва, как обычно, мыла однажды вечером голову над чашкой в саду, к изгороди подошел пожилой горец и стал молча смотреть.

— Дедушка, принеси мне винограду! — попросила его Москва. — Или у вас нет его?

— Нету, — ответил горный человек. — Откуда он теперь!

— Ну тогда не гляди на меня, — сказала Честнова. — Неужели у вас ни одной ягодки нету, ты же видишь — я хромая…

Горец ушел без ответа, а наутро Москва увидела его снова. Он дождался, когда Москва вышла на крыльцо дома, и подарил ей новую корзину, где под свежими листьями лежал бережно отобранный виноград, весом более пуда. После корзины горец подал Москве маленькую вещь — цветную тряпочку; Москва развернула ее и увидела там человеческий ноготь с большого пальца. Она не понимала.

— Возьми, русская дочка, — объяснил ей старый крестьянин. — Мне шестьдесят лет, поэтому я дарю тебе свой ноготь. Если б мне стало сорок, я бы принес тебе свой палец, а если б тридцать, я тоже отнял бы себе ту ногу, которой и у тебя нету.

Москва нахмурилась, чтоб спокойно сдержать свою радость, а потом повернулась, чтобы убежать, и упала, ударившись в камень порога неживым деревом ноги.

Горец не хотел знать про человека все, а только

лучшее, поэтому он сейчас же ушел в свое жилище и больше не был никогда.

Прошло время отдыха и лечения, Москва оправилась окончательно и освоила деревянную ногу, как живую. По-прежнему каждый день ее провожал Самбикин на берег моря и оставлял одну.

Движение воды в пространстве напоминало Москве Честновой про бо'льшую участь ее жизни, о том, что мир действительно бесконечен и концы его не сойдутся нигде, — человек безвозвратен.

Ко дню обратного отъезда любовь Самбикина к Москве уже превратилась для него в такую умственную загадку, что Самбикин всецело принялся за ее решение и забыл в своем сердце страдальческое чувство.

12

Сарториус потерял славу всесоюзного инженера; он целиком сосредоточился в делах малозаметного учреждения, и его постепенно упустили из виду бывшие товарищи и знаменитые институты. Он все реже и реже ходил ночевать домой, оставаясь на отдых в том же учреждении, поэтому его по праву жительства выписали однажды из домовой книги, а вещи

сдали в камеру при отделении милиции. Сарториус, поглощенный своей молчаливой жизнью, взял вещи из камеры и свалил их в том углу, где обычно дремал трестовский сторож — в борьбе с возможным грабежом имущества.

С тех пор учреждение окончательно стало для Сарториуса семейством, убежищем и новым миром: там он жил с верной девушкой Лизой, имел широкую дружбу с сослуживцами, и местком — во главе с Божко — оберегал его от всякого горя и несчастья.

Днем Сарториус был почти всегда счастлив и удовлетворен текущей работой, но по ночам, когда он лежал навзничь на папках старых дел, внутри его рождалась тоска, она вырастала из-под его нагрудных костей, как дерево поднималось к потолочному своду Старо-Гостиного Двора и шевелилось там черными листьями. Так как Сарториус почти не умел мечтать, он мог лишь мучиться и наблюдать — что это такое.

Ум его все более беднел, спина слабела от занятий, но Сарториус терпеливо выносил самого себя; лишь изредка у него болело сердце — настойчиво и долго, в далекой глубине тела, раздаваясь там как темный вопиющий голос. Тогда Сарториус уходил за шкаф с давними делами и стоял

в промежутке инвентаря некоторое время, пока не проходила в одиночестве и однообразии эта болящая скука чувства.

По ночам Сарториус спал мало. Он ходил в гости в семью машинистки Лизы, пил чай с нею и с ее небольшою матерью-старушкой, которая любила говорить о современной литературе, а особенно о путях развития изобразительных искусств, — и кротко улыбался от отчаяния. Иногда сюда же приходил и Виктор Васильевич Божко: когда-то, ранее Сарториуса, Лиза намечалась для Божко в качестве невесты, но, увлекшись делами учреждения, житейской атмосферой со всеми сослуживцами, Божко не видел пока острой надобности уединяться квартирным браком и даже склонил Лизу на утешение Сарториуса. Польза и счастье сослуживца затмили для Божко стихию сердечных страстей, а очагом, согревающим его личную душу, ему служил трест весов и гирь. Теперь, заставая Сарториуса и Лизу у общей старушки, Виктор Васильевич прилагал свое усердие к тому, чтобы они обручились; его прельщало, что молодые люди и полюбя друг друга останутся в том же учреждении и профсоюзе и не выйдут из небольшой, но тесной системы весовой промышленности.

Если же Сарториус не посещал Лизу, он ходил много верст по городу, подолгу наблюдал, как вешают хлеб и овощи в магазинах на электрических весах его конструкции, и вздыхал от теснящегося в нем заунывного процесса неизменного существования. Затем, когда ночные пустые трамваи поспешно мчались в последние рейсы, Сарториус подолгу всматривался в чуждые непонятные лица редких пассажиров. Он ожидал увидеть где-нибудь Москву Честнову, ее милые волосы, свисающие вниз через раскрытое трамвайное окно, когда ее голова лежит на подоконнике и спит на ветру движения.

Он любил ее постоянно; ее голос звучал для него всегда в ближайшем воздухе — стоило ему вспомнить любое слово Москвы, и сейчас же он видел в своем воспоминании знакомый рот, верные нахмуренные глаза и теплоту ее кротких уст. Иногда она снилась Сарториусу, жалкая или уже усопшая, лежащая в бедности последний день перед погребением. Сарториус просыпался в горе и в жестокости и сейчас же принимался за какое-нибудь полезное дело в своем учреждении, чтобы затмить в себе столь печальную и неправильную мысль. Обычно же Сарториус снов не видел, не обладая способностью к пустому переживанию.

Почти одинаково, лишь с небольшими изменениями, прошло время в течение многих месяцев. Женщины давно оделись в теплые шапки, открылись катки, деревья на бульварах уснули, храня снег на ветвях до весны, электрические станции работали все более напряженно, освещая растущую тьму, — Москвы Честновой нигде не было: ни в натуре, ни по справкам в адресном столе.

Среди одного зимнего дня Сарториус посетил доктора Самбикина. Тот вернулся с ночной работы в клинике и сидел неподвижно, следя за течением очередной загадки в своем уме.

Странно, что оба товарища встретились после разлуки без радости, хотя Самбикин, как обычно, увидел в посещении Сарториуса многозначительное явление. Он даже озадачился.

Затем выяснилось, что Самбикин любил Москву бессмысленно и сознательно отошел от нее, чтобы решить в стороне всю проблему любви в целом, потому что это слишком серьезная задача, — бросаться же с головой в неизвестное дело недопустимо. И только после достижения ясности своего чувственного вопроса Самбикин думает встретиться с Москвой, дабы прожить с ней остаток времени до смертного сожжения.

— Она теперь хромая, — сказал еще Самби-

кин, — и живет в комнате члена осодмила товарища Комягина. Фамилия ее тоже стала не Честнова.

— Зачем же ты бросил ее хромую и одну? — спросил Сарториус. — Ты ведь любил ее.

Самбикин чрезвычайно удивился:

— Странно, если я буду любить одну женщину в мире, когда их существует целый миллиард, а среди них есть наверняка еще более высшая прелесть. Это надо сначала точно выяснить, здесь явное недоразумение человеческого сердца — больше ничего.

Сарториус, узнав адрес Москвы, оставил Самбикина одного. Доктор не проводил Сарториуса до двери и сидел по-прежнему в полной задумчивости по поводу всех важнейших задач человечества, желая всемирной ясности и договоренности по всем пунктам счастья и страдания.

Вечером Семен Сарториус вошел во двор жакта в Бауманском районе, где жил Комягин. Институт Экспериментальной Медицины был достроен за забором дома и освещен чистым огнем электричества. У входа в домоуправление сидел старый нищий с лысой головой, а шапка его лежала на земле пустотою вверх, и поперек нее находился смычок от скрипки. Сарториус положил в шапку

немного денег и спросил у бедняка: почему у него лежит смычок.

— Это мой знак, — сказал старый человек. — Я ведь собираю не милостыню, а пенсию: я всю жизнь с упоением играл в Москве, меня слышали здесь все поколения населения с удовольствием — пусть дают на харчи, пока смерти еще не время!

— А вы бы играли на скрипке — к чему побираться! — посоветовал Сарториус.

— Не могу, — отказался старик. — У меня руки трепещут от волнения слабости. А это для искусства не годится — я халтурщиком быть не могу. Нищим — могу.

В длинном коридоре старого дома пахло еще долголетними остатками йодоформа и хлорной извести; здесь, вероятно, когда-то в Гражданскую войну был госпиталь и лежали красноармейцы, — теперь живут жильцы.

Сарториус подошел к двери Комягина; за дверью слышался тихий голос Москвы Честновой; должно быть, она лежала в постели и говорила с мужем-сожителем.

— Ты помнишь, я тебе рассказывала, как я в детстве видела темного человека с горящим факелом — он бежал ночью по улице, а была темная осень

и такое низкое небо, что некуда… дышать…

— Помню, — сказал мужской голос. — Я же тебе давал указания, как я бегал тогда на врагов: это был я.

— Тот был старый, — грустно сомневалась Москва.

— Пускай старый. Когда человек живет в виде маленькой девчонки, ей шестнадцатилетний кажется пожилым стариком.

— Это верно, — произнесла Москва; ее голос был немного лукав, немного печален, точно она была сорокалетней женщиной девятнадцатого века и дело шло в большой квартире. — Ты теперь сгорел и обуглился.

— Вполне правильно, Муся, — сказал Комягин: он ее звал сокращенно. — Я исчезаю, я старая песня, мой маршрут кончается, я скоро свалюсь в овраг личной смерти…

Муся промолчала, потом сказала:

— И птица, какая пела твою песню, давно улетела в теплые края. Ты какой-то весь жалкий человек, как бывший мужик!

— Истерся весь, — ответил Комягин. — Все понятно. Теперь ничего не люблю, кроме порядочка в нашей республике.

Муся кротко засмеялась, как она умела.

— Ты рядовой запаса второго разряда! Как я тебя встретила такого среди огромного количества?

Он объяснил:

— А мир ведь не очень велик, я два раза специально вдумывался в это. Когда на глобус глядишь или на карту, кажется — много, а так — не очень, и все ведь учтено и записано: можно в полчаса глазами пробежать весь регистр населения и территории — с именем, отчеством, фамилией и основными данными характеристики!

В коридоре потух свет благодаря наступлению какого-то максимального времени ночи и экономическому надзору уполномоченного по энергии. Сарториус прислонился головой к холодной канализационной трубе, которую когда-то обнимала Москва, и слышал в ней с перерывами потоки нечистот верхних этажей.

— И даже хорошо, что вся земля мала: на ней можно смирно жить! — говорил Комягин.

Муся-Москва молчала. Наконец стукнула ее деревянная нога. Сарториус понял, что она села.

— Комягин, неужели ты был большевиком? — спросила она.

— Ну зачем, — не был, нет, никогда!

— А почему тогда ты с факелом бежал в семнадцатом году, когда я еще только росла?

— Нужно было, — сказал Комягин. — В то время не было же ведь ни милиции, ни осодмила — тем более. Жителям приходилось самооборонятьcя ото всех врагов.

— А где мы жили и ты — там были почти нищие и одни голодающие… У моего отца имущество стоило рубля три, и то его надо было сорвать с тела и вырвать из пуза, — чего вы сторожили, дураки, зачем ты с факелом бежал?

— Инспектором самоохраны был, бежал — посты проверял… Когда всего мало, то, значит, бедность, а ее надо охранять тем более, это самое драгоценное: деревянная ложка делается серебряной! Вот тебе что!

— А стрельнул кто, и в тюрьме крик голосов начался?.. Ты мне не ври!

— Чего врать! Правда — хуже. Стрельнул одинокий [тайный] хулиган, а в тюрьме митинг был, там кормили хорошо и никто на волю не уходил — приходилось с боем выдворять на свободу. Я тоже щи там ел у надзирателя по знакомству.

Москва долго снимала одежду, сопела и шевелила деревянной ногой — она, наверно, укладывалась до утра.

Сарториус ждал в страхе дальнейшего конца. По коридору изредка ходили жильцы в общую

уборную, но к чужому человеку в темноте они не присматривались, как привычные ко многим и всяким непонятным явлениям.

— Ты слепой в крапиве, — сказала Москва за дверью. — Не ложись со мной, гадость такая!

— Скрипишь, деревянная нога! — терпеливо указал ей Комягин. — Ты жизни нашей сугубой не знаешь…

— Нет, я знаю. Убить тебя надо, вот в чем жизнь.

— Погоди, я ни одного дела еще не доделал, важнейших мыслей не додумал…

— Ну когда ж ты успеешь это, ведь ты стареешь… На что ты надеешься?

Комягин скромно сообщил, что он надеется выиграть по займу несколько тысяч рублей и тогда одумается от мыслей и закончит все начатые дела.

— Но ведь это, может, нескоро будет! — печально говорила Москва.

— Если даже за час до смерти, и мне достаточно! — определил Комягин. — Все равно, хоть и не выиграю, хоть и не сделаю свою жизнь нормальной, все равно — я решил — как почувствую естественную погибель, так примусь за все дела и тогда все закончу и соображу — в какие-нибудь

одни сутки, мне больше не надо. Даже в час можно справиться со всеми житейскими задачами!.. В жизни ничего особенного нету — я специально думал о ней и правильно это заметил. Ведь это только так кажется, что нужно жить лет сто, и едва лишь тебе хватит такого времени на все задачи! Отнюдь неверно! Можно прожить попусту лет сорок, а потом сразу как приняться за час до гроба, так все исполнить в порядочке, зачем родился!..

Они больше не говорили. Комягин, судя по звукам, улегся на полу и долго вздыхал от огорчения, что время идет, а дела его стоят. Сарториус стоял в унынии, не имея никакого решения. Он слышал, как кто-то запер наружную выходную дверь и ушел спать в свою комнату последним человеком. Но Сарториус не боялся пробыть всю ночь во тьме коридора; он ждал — не умрет ли вскоре Комягин, чтобы самому войти в комнату и остаться там с Москвой. Он не спал в ожидании, наблюдая в темной тишине, как постепенно следует время ночи, полное событий. За третьей дверью, считая от канализационной трубы, начались закономерные звуки совокупления; настенный бачок пустой уборной сипел воздухом, то сильнее, то слабее, знаменуя работу могучего

водопровода; вдалеке, в конце коридора, одинокий жилец принимался несколько раз кричать в ужасе сновидения, но утешить его было некому, и он успокаивался самостоятельно; в комнате против двери Комягина кто-то, специально проснувшись, молился богу шепотом: «Помяни меня, господи, во царствии твоем, я ведь тоже тебя поминаю, — дай мне что-нибудь фактическое: пожалуйста, прошу!» В других номерах коридора также происходили свои события — мелкие, но непрерывные и необходимые, так что ночь была загружена жизнью и действием равносильно дню. Сарториус слушал и понимал, насколько он беден, обладая лишь единственным, замкнутым со всех сторон туловищем: Москва и Комягин спали за дверью; укрощенно билось их сердце, и по коридору слышалось всеобщее мирное дыхание, точно в груди каждого была одна доброта.

Сарториус томился. Он осторожно постучал в дверь, чтобы кто-нибудь проснулся и что-нибудь произошло. Чуткая Москва заворочалась и позвала Комягина. Тот отозвался в раздражении: что ей надо ночью, когда и днем от него пользы нет.

— Проверь свои облигации, — сказала Москва. — Зажги свет.

— А что? — испугался Комягин.

— Может быть, выиграл… Если выиграл, начнешь жить по правилу, если нет — ляжешь и умрешь. Ты один такой в Советском Союзе, как тебе не стыдно?

Комягин с напряжением собирал ослабевшие мысли в своей голове.

— Что мне такое Советский Союз — Советский Союз! Про него все теперь бормочут, а я живу в нем, как в теплоте за пазухой…

— Хватит тебе жить, умри по-геройски, — как ехидна, настойчиво предлагала Москва.

Комягин размышлял: ничего особенного, в самом деле, не будет, если даже умереть, — уже тысячи миллиардов душ вытерпели смерть, и жаловаться никто не вернулся. Но жизнь его, видимо, еще сковывала своими костями, заросшим мясом и сетями жил, — слишком надежна и привычна была механическая прочность собственного существа. Он полез на коленях в свои незавершенные архивы и стал листать облигации, а Москва ему читала перечень выигравших серий по сборнику Наркомфина. Выигрыш нашелся в сумме десяти рублей, но так как у Комягина была лишь четверть этой удачной облигации, то чистого дохода ему причиталось два с половиной рубля: жизнь лишь незначительно

усугублялась, а итоги ее опять свести было нельзя безубыточно.

— Ну что теперь будешь? — спросила Москва.

— Умру, — согласился Комягин. — Жить не приходится. Отнеси завтра в отделение милиции книжку штрафных квитанций — тебе рублей пять процентов очистится: станешь кормиться после меня.

Он лег затем на что-то и умолк.

Вскоре Москва снова прошептала вопрос:

— Ну как, Комягин? — Она его звала по одной фамилии, как чужого. — Ты опять спишь, а потом проснешься?

— Едва ли, — ответил Комягин, — я сейчас задумался… Что если б я в осодмиле лет десять еще поработал — я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингисханом быть!

— Кончай свой разговор! — рассердилась Москва. — Авантюрист! Время себе у государства воруешь!

— Нет, — отказался Комягин и нежно произнес: — Мусь, поласкай меня, я тогда скорей исчахну, к утру ангелом буду — умру.

— Я тебя вот поласкаю! — грозно отозвалась Москва. — Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не издохнешь!

— Ну кончено, кончено! Говорят, перед смертью надо всю жизнь припомнить — ты не ругайся, я ее вспомню срочно.

Наступило молчание, пока в уме Комягина очередью проходили долгие годы его существования.

— Вспомнил? — поторопила вскоре Москва.

— Нечего вспоминать, — сказал Комягин. — Одни времена года помню: осень, зиму, весну, лето, а потом опять осень, зиму… В одиннадцатом и двадцать первом году лето было жаркое, а зима голая, без снега, в шестнадцатом — наоборот — дожди залили, в семнадцатом осень была долгая, сухая и удобная для революции… Как сейчас помню!

— Но ты же много любил женщин, Комягин, это, наверно, твое счастье было.

— Какое тебе счастье в человеке вроде меня! Не счастье, а бедность одного вожделения! Любовь ведь горькая нужда, более ничего.

— Ты ведь не очень глуп, Комягин!

— По-среднему, — согласился Комягин.

— Ну довольно, — сказала Москва ясным голосом.

— Довольно, — так же сказал Комягин.

Они снова умолкли, уже надолго. Сарториус

равнодушно ожидал за дверью жилища, пока Комягин погибнет, чтобы войти в комнату. Он чувствовал, как у него начинают болеть глаза от тьмы и долгого мучения сердца.

Наконец Комягин попросил, чтобы Муся укрыла ему голову одеялом потуже и обвязала пониже то одеяло бечевой, чтоб оно не сползло. Москва сошла с кровати деревянной ногой и укутала Комягина как нужно, затем улеглась обратно со вздохами.

Ночь длилась как стоячая. Сарториус сел на пол в усталости: еще никто не проснулся в коридоре, утро еще находилось где-нибудь над зеркалом Тихого океана. Но все звуки прекратились, события, видимо, углубились в середину тел спящих, зато одни маятники часов-ходиков стучали по комнатам во всеуслышание, точно шел завод важнейшего производства. И действительно, дело маятников было важнейшее: они сгоняли накапливающееся время, чтобы тяжелые и счастливые чувства проходили без задержки сквозь человека, не останавливаясь и не губя его окончательно.

В комнате Комягина маятник не постукивал; оттуда слышалось одно чистое, ровное дыхание уснувшей Москвы; другого дыхания слышно не

было — Сарториус не мог его уловить. Подождав еще немного, он постучал в дверь.

— Кто там? — сразу спросила Москва.

— Я, — сказал Сарториус.

Не вставая, Честнова скинула дверной крючок пальцем целой ноги.

Сарториус вошел. В комнате горел свет, не потушенный со времени проверки облигаций. На полу, на постилке, лежал Комягин, с головою, наглухо завернутой в толстое одеяло; кругом груди одеяло держалось тонкой впивающейся веревкой. Москва была одна на кровати, покрытая простыней; она улыбнулась Сарториусу и стала с ним беседовать. Потом Сарториус спросил ее:

— Как ты сюда попала, в чужую комнату, и зачем?

Москва ответила, что ей некуда было деться. Самбикин сначала любил ее, но потом задумался над ней, как над проблемой, и беспрерывно молчал. Ей и самой стало совестно жить среди прежних друзей, в общем убранном городе, будучи хромой, худой и душевной психичкой, поэтому она решила укрыться у своего бедного знакомого, чтобы переждать время и снова повеселеть.

Она сидела на кровати, Сарториус находился

рядом с ней. Вскоре она опустила свое побледневшее лицо, ее большие темные волосы укрыли ее щеки, и она заплакала в чаще своих кос. Сарториус начал успокаивать ее посредством объятий, но ей это было все равно; она стыдилась и глубоко прятала деревянную ногу под юбку.

— Он спит? — спросил Сарториус про Комягина.

— Не знаю, — сказала Москва. — Может быть, умер — он сам хотел. Попробуй его ноги.

Сарториус попробовал концы ног Комягина, они были одеты, как в галстуки, в остатки носков — целы были только верхние части, а подошвы и пальцы обнажились наголо. Пальцы ног и пятки оказались холодными до самых костей, и все тело лежало в беспомощном положении.

— Наверно, умер, — сказал Сарториус.

— Пора ему, — тихо произнесла Москва.

Сарториус молча обрадовался, что никого нет живого в помещении, кроме него с прежней, любимой Москвой, еще более милой и сердечной для него, что счастье и слава ее временно остановились, оттого перед нею все опять лишь впереди, и у него не было никакого сожаления к Комягину. Ночь шла давно, оба они утомились и легли рядом лежать на постели.

Комягин был неподвижен на далеком полу; чтобы не запачкать постилки, ему Москва еще с вечера наложила на пол старые «Известия» 1927 года, и теперь свет освещал сообщения о минувших событиях. Сарториус обнял Москву, и ему стало хорошо.

Часа через два по коридору пошли ходить люди, готовясь к службе и работе. Сарториус очнулся и сел на кровати; Москва спала рядом, и лицо ее было во сне смирное и доброе, как хлеб, — не совсем похожее на обычное. Комягин лежал в прежнем виде, электричество горело ярко и освещало всю комнату, где все требовало переделки или окончания. Сарториус понял, что любовь происходит от не изжитой еще всемирной бедности общества, когда некуда деться в лучшую, высшую *участь*. Он потушил свет и лег, чтобы опомниться от наступившего состояния. Слабый свет, точно лунный, начал распространяться по стене над дверью, проникая через окно с утреннего неба, и когда он озарил всю комнату, в ней стало еще более тесно и грустно, чем ночью при огне.

Сарториус подошел к окну; за ним был виден зимний дымный город; очередной рассвет пробирался по обвисшему животу равнодушной тучи, из которой нельзя ждать ни ветра, ни грозы. Но

миллионы людей уже зашевелились на улицах, неся в себе разнообразную жизнь; они шли среди серого света трудиться в мастерские, задумываться в конторах и в чертежных бюро, — их было много, а Сарториус сидел один, неразлучно с собою никогда. Душа и мысль его, заодно с однообразным телом, были устроены до смерти одинаково.

Мертвец Комягин лежал свидетелем вновь сбывшейся любви Сарториуса [случившихся комнатных событий], но не двигался и не завидовал; Москва спала в отчуждении, повернувшись к стене прелестным лицом.

Сарториус испугался, что ему изо всего мира досталась лишь одна теплая капля, хранимая в груди, а остального он не почувствует и скоро ляжет в угол, подобно Комягину. Сердце его стало как темное, но он утешил его обыкновенным понятием, пришедшим ему в ум, что нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей. Сарториус погладил свое тело по сторонам, обрекая его перемучиться на другое существование, которое запрещено законом природы и привычкой человека к самому себе. Он был исследователем и не берег себя для тайного счастья, а сопротивление

своей личности предполагал уничтожить событиями и обстоятельствами, чтобы по очереди могли в него войти неизвестные чувства других людей. Раз появился жить, нельзя упустить этой возможности, необходимо вникнуть во все посторонние души — иначе ведь некуда деться; с самим собою жить нечем, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба [можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма].

Сарториус прислонился лицом к оконному стеклу, наблюдая любимый город, каждую минуту растущий в будущее время, взволнованный работой, отрекающийся от себя, бредущий вперед с неузнаваемым и молодым лицом.

— Что я один?! Стану как город Москва.

Комягин пошевелился на полу и вздохнул своим же надышанным воздухом.

— Муся! — позвал он в неуверенности. — Я застыл здесь внизу: можно, я к тебе лягу?

Москва открыла один глаз и сказала:

— Ну ложись!

Комягин начал освобождаться от удушающего его одеяла, а Сарториус ушел за дверь и в город без прощанья.

13

Он стал как неживой некоторое время. К машинистке Лизе он ходить перестал, потому что она твердо вышла замуж за Виктора Васильевича Божко, а трест весов и гирь был обращен к своей ликвидации и весь опустошен от служащих. Одна только курьерша жила в безлюдном, охладелом помещении учреждения — у нее родился ребенок, и она кормила и содержала его на мягкой пачке устарелых дел.

Сарториус дважды посетил свою старую службу, посидел за голым столом, попробовал набросать проект взвешивания чего-то невесомого и не почувствовал никакого ощущения — ни печали, ни удовольствия. Все кончилось — служебное семейство, отводившее душу людям, было распущено, общий чайник больше не согревался к двенадцати часам, и стаканы стояли в шкафу пустыми, постепенно заселяемые мелочью каких-то бумажных бледных насекомых. Ребенок курьерши то плакал, то утешался, часы-ходики шли над ним вперед, и мать его ласкала с обычной материнской любовью. Она со страхом ждала въезда в помещение нового учреждения, потому что ей негде было жить, но то новое учреждение нака-

нуне своего переезда тоже было ликвидировано, так что площадь зачислили в резерв жилфонда и впоследствии заселили семейными жильцами.

Сарториус стал видеть все более плохо, его глаза слепли. Он пролежал в своей комнате целый месяц, прежде чем начал опять понемногу смотреть наболевшим зрением. Курьерша из бывшего треста приходила к нему через день, приносила пищу и вела хозяйство.

Два раза его посетил Самбикин вместе с глазным врачом, и они вынесли свое медицинское заключение, что глаза имеют причиной заболевания отдаленные недра тела, возможно сердце. Вообще, сказал Самбикин, конституция Сарториуса находится в процессе неопределенного [разрушения] превращения, и сам озадачился этой мыслью на многие дни.

Наконец Сарториус вышел из дома. Его обрадовало многолюдство на улице; энергия мчавшихся машин зародила в его сердце воодушевление, непрерывное солнце светило на открытые волосы прохожих женщин и в свежие древесные листья деревьев, вымокшие во влаге своего рождения.

Опять наступила весна; время все более удаляло жизнь Сарториуса. Он часто моргал от ослепле-

ния светом и наталкивался на людей. Ему было хорошо, что их так много, что, следовательно, ему существовать необязательно — есть кому и без него сделать все необходимое и достойное.

Одно тяжелое и темное чувство владело им. Он нес свое тело как мертвый вес — надоевшее, грустное, пережитое до бедного конца. Сарториус вглядывался во многие встречные лица; его томила, как бледное наслаждение, чужая жизнь, скрытая в неизвестной душе. Он сторонился и тосковал.

Десять тысяч народа приблизительно находилось в движении на Каланчевской площади. Сарториус с удивлением остановился около таможни в удивлении, точно никогда не видел такого зрелища.

«Сейчас скроюсь и пропаду среди всех!» — неопределенно и легко думал он о своем намерении.

К нему подошел какой-то туманный человек, которого нельзя запомнить и не забудешь.

— Товарищ, вы не знаете, где здесь начинается Доминиковский переулок? Может, знаете случайно, я тоже знал, но потерял нить.

— Знаю, — сказал Сарториус, — он вон где! — И показал направление, вспоминая этот знакомый

голос и не помня такого лица.

— А не знаете, есть там производство гробов или уже оно куда-нибудь переведено в связи со строительством и реорганизацией? — продолжал узнавать прохожий.

— Неизвестно… Кажется, что-то есть, гробы и венки, — объяснял Сарториус.

— А транспорт?

— Наверно, есть.

— Должно быть, автомобили с тихим ходом.

— Возможно. Едут на первой скорости и везут покойника.

— Ну да, — согласно произнес тот человек, не понимая первой скорости.

Они замолчали. Прохожий со страстью поглядел на людей, цепляющихся в трамваи на ходу, и даже сделал по направлению к ним одно неопределенное движение ярости.

— Я вас знаю, — сказал Сарториус, — я помню ваш голос.

— Вполне вероятно, — равнодушно сознался человек. — Мне многих приходилось штрафовать за нарушения, и при этом кричишь, как понятно.

— Может быть, я вспомню: как вас зовут?

— Имя — ничто, — сказал прохожий. — Важен точный адрес и фамилия, и то мало: надо предъ-

явить документ.

Он вынул паспорт, и Сарториус прочел в нем фамилию: Комягин, пенсионер, и адрес. Человек ему был неизвестен.

— Мы с вами чужие, — произнес Комягин, видя разочарование Сарториуса. — Вам показалось только. Это часто что-то кажется серьезное, а потом — ничего. Ну, вы стойте здесь, я пойду узнаю про гроб.

— У вас жена умерла? — спросил Сарториус.

— Жива. Она сама ушла. Гроб я гадаю для себя.

— Но зачем?

— Как зачем? Необходимо. Я хочу узнать весь маршрут покойника: где брать разрешение для отрытия могилы, какие нужны факты и документы, как заказывается гроб, потом транспорт, погребение и чем завершается в итоге баланс жизни: где и по какой формальности производится окончательное исключение человека из состава граждан. Мне хочется заранее пройти по всему маршруту — от жизни до полного забвения, до бесследной ликвидации любого существа. Говорят, что этот маршрут труден по форме. И верно, дорогой товарищ: умирать не надо, граждане нужны… А вы видите, что делается на площади: граждане мечутся, нормально ходить

не приучаются. Сколько раз в свою бытность товарищ Луначарский проповедовал ритмическое движение масс, а теперь приходится их штрафовать. Прозаика жизни! Да здравствует героическая милиция республики!..

Комягин ушел на Доминиковский переулок. Кроме Сарториуса его заслушались еще четверо посторонних и один бродячий ребенок. Этот ребенок, лет двенадцати, пошел скорой походкой вслед за Комягиным и заявил ему созревшим голосом:

— Гражданин, ты все равно умирать идешь, отдай мне домашние вещи — я им ножки приделаю.

— Ладно, — сказал Комягин. — Пойдем со мною, ты унаследуешь мою утварь, а свою участь жизни я возьму с собою дальше. Прощай, моя жизнь, — ты прошла в организационных наслаждениях.

— Ты добрый, что умираешь, — благодушно произнес разумный ребенок. — А мне для карьеры средства нужны…

Душа Сарториуса испытывала страсть любопытства. Он стоял с сознанием неизбежной бедности отдельного человеческого сердца; давно удивленный зрелищем живых и разнообразных людей, он хотел жить жизнью чужой и себе не

присущей.

Возвращаться ему было необязательно — жилище его пусто, трест ликвидирован, родные сослуживцы поступили в обжитые места других учреждений, Москва Честнова пропадала где-то в пространстве этого города и человечества, — от этих обстоятельств Сарториусу становилось веселее. Основная обязанность жизни — забота о личной судьбе, ощущение собственного, постоянно вопиющего чувствами тела — исчезла, быть непрерывным, одинаковым человеком он не мог, в нем наступала тоска.

Сарториус сделал движение рукой — по универсальной теории мира выходило, что он совершил электромагнитное колебание, которое взволнует даже самую дальнюю звезду. Он улыбнулся над таким жалобным и бедным представлением о великом свете. Нет, мир лучше и таинственней: ни движение руки, ни работа человеческого сердца не беспокоят звезд, иначе все давно бы расшаталось от содрогания этих пустяков.

Сарториус пошел сквозь встречный народ по площади, увидел одну работницу метростроя в рабочих штанах — такую же по фигуре, как Москва Честнова, и глаза его заболели от воспоминанья любви; жить нельзя неизменным чувством.

Он попробовал уговорить метростроевку на предварительную дружбу, но она засмеялась и поспешила от него, грязная и красивая.

Сарториус вытер свои слепнущие глаза, потом хотел уговорить свое сердце, заболевшее по Москве и по всем прочим существам, но увидел, что размышление его не действует. Но от неуважения к себе страдание его было нетрудным.

Бродя по городу далее, он часто замечал счастливые, печальные или загадочные лица и выбирал, кем ему стать. Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на себе не оставляло его. Он думал о мыслях в чужой голове, шагал несвоей походкой и жадно радовался пустым и готовым сердцем. Молодость туловища превращалась в вожделение ума Сарториуса; улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются.

Сарториус поехал на Крестовский рынок, чтобы купить нужное для своего будущего существования. Он сильно заботился о своей новой жизни.

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в *сухих* страстях и в риске

отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоячих и бормочущих людей, — иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно приценялись к ним, щупая и удручаясь, рассчитывая на вечное приобретение. Здесь продавали старую одежду покроя девятнадцатого века, пропитанную порошком, сбереженную в десятилетиях на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что меридиан земного шара мал для измерения их пути между людьми; в толпе торговали еще и такими вещами, которые потеряли свой смысл жизни, — вроде капотов с каких-то чрезвычайных женщин, поповских ряс, украшенных чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентльменов, брелоков на брюшную цепочку и прочего, — но шли среди человечества как символы жесткого качественного расчета. Кроме того, много продавалось носильных вещей недавно умерших людей — смерть существовала — и мелкого детского белья, заготовленного для зачатых младенцев, но потом мать, видимо, передумывала рожать и делала аборт, а оплаканное мелкое белье нерожденного продавала вместе с заранее купленной погремушкой.

В специальном ряду продавались оригинальные портреты в красках, художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами уездных городов; каждый из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью. Позади фигур иногда виднелась церковь в ландшафте [природе] и росли дубы счастливого лета, всегда минувшего.

Сарториус долго стоял перед этими портретами прошлых людей. Теперь их намогильными камнями вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи: «Здесь погребено тело купца 2-й гильдии города Зарайска, Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было… Помяни мя, Господи, во царствии твоем» — «Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой… Нам плакать и страдать, а ей на Господа взирать…»

Вместо бога сейчас вспомнил умерших Сарториус и содрогнулся от ужаса жить среди них — в том времени, когда не сводили лесов, убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал

и плакал по вечерам при керосиновой лампе или в светящий полдень лета — в обширной, шумящей природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука. Она не Москва Честнова, она Ксения Иннокентьевна Смирнова, ее больше нет и не будет.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, вилки, части от какой-то балюстрады, гирю в двенадцать пудов, сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски, дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей, — еще далее простирались сапожники, делающие работу на месте, и пищевые старухи с холодными блинами, с пирожками, начиненными мясными отходами, сальниками, согретыми в чугунах под ватными пиджаками покойных мужей-стариков, с кусками пшенной каши и всем, что утоляет голодное страдание местной публики, могущей есть всякое добро, которое только бы глоталось и более ничего.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они хватали из рук ситец, старые валенки, булки, одну калошу и убегали в дебри бродящих тел, чтобы заработать

полтинник или рубль на каждом похищении. В сущности, они с трудом оправдывали ставку чернорабочего, а изнемогали больше.

Среди рынка возвышалось несколько деревянных будок для милиционеров. Милиционеры смотрели оттуда вниз, в это мелкое море бушующего ограниченного империализма, где трудящихся заменили, но были трущиеся.

Дешевая пища с заметным шумом переваривалась в людях, поэтому каждый себя чувствовал с тягостью, точно был сложным предприятием, и нечистый воздух восходил отсюда вверх, как дым над Донбассом.

В глубине базара часто раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался на помощь, и вблизи бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения. Одного слабого человека, одетого в старосолдатскую шинель, торговка булками загнала в мочевую лужу около отхожего места и стегала его по лицу тряпкой; на помощь торговке появился кочующий хулиган и сразу разбил в кровь лицо ослабевшего человека, свалившегося под отхожий забор. Он не издал крика и не тронул своего лица, заливаемого кровью с висков, — он спешно съедал сухую похищенную

булку, мучаясь сгнившими зубами, и вскоре управился с этим делом. Хулиган дал ему еще один удар в голову, и раненый едок, вскочив с энергией силы, непонятной при его молчаливой кротости, исчез в гуще народа, как в колосьях ржи. Он найдет себе пищу повсюду и будет долго жить без средств и без счастья, зато часто наедаясь.

Пожилой мужчина демобилизованного вида стоял на одном месте неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетою. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки, — сказал после некоторой бдительности наблюдения Сарториуса тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей первая категория.

— Ну давай одну штуку, — попросил Сарториус.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка.

Тот же торговец предложил Сарториусу и паспорт, если он требуется, но Сарториус приобрел себе паспорт позже — у человека, продававшего червей для рыбной ловли. В паспорте был

записан уроженец города Нового Оскола Иван Степанович Груняхин, 31 года, работник прилавка, командир взвода в запасе. Сарториус заплатил за документ всего шестьдесят пять рублей и вдобавок отдал свой паспорт двадцатисемилетнего человека с высшим образованием, известного в широких *кругах* своей специальности.

С базара Груняхин не знал куда идти. Он доехал до большой площади и сел на железную перекладину лестницы, ведшей в будку регулирования уличного движения. Светофоры меняли свой свет, неслись люди в машинах, грузовики везли балки и бревна, милиционер двигал контакт и напрягал внимание, — многие неизвестные люди стояли по сторонам бегущего движения и забывали свою одинокую жизнь в наблюдении чужой. Груняхину казалось, что глаза его больше не болят и Москва Честнова не потребуется ему никогда, ибо много хороших женщин ходило здесь через дорогу, но сердце его ни к кому не лежало.

К вечеру он поступил в орс одного незначительного завода в Сокольниках, делавшего какое-то подсобное оборудование, и новому работнику дали место в общежитии, поскольку человек не имел ничего, кроме своего небольшого одетого те-

ла с круглым и по виду неумным лицом наверху.

Через несколько дней Груняхин уже вошел в страсть своей работы: он ведал заготовкой порций хлеба к обеду, нормировкой овощей в котел и рассчитывал мясо, чтобы каждому досталось по справедливому куску. Ему нравилось кормить людей, он работал с честью и усердием, кухонные весы его блестели чистотой и точностью, как дизель.

По вечерам, томимый одиночеством и свободой, Груняхин скитался по бульварам до последних трамваев. Когда же наступал второй час ночи и вагоны на большой скорости спешили в парк, Иван Груняхин садился в их пустынные помещения и оглядывал их с интересом, точно тысячи людей, бывшие здесь днем, оставили свое дыхание и лучшее *чувство* на пустых местах. Кондукторша, иногда старая, иногда молодая, милая и сонная, сидела здесь одна и дергала бечеву на безлюдных остановках, чтобы скорее кончался последний маршрут.

Став вторым человеком своей жизни, Груняхин подходил к кондукторше и заговаривал с ней о постороннем, не имеющем отношения ко всей окружающей видимой действительности, но зато она начинала чувствовать в себе неви-

димое. Одна кондукторша с прицепного вагона согласилась на слова Груняхина, и он ее обнял на ходу, а потом они перешли в задний тамбур, где видно более смутно, и неслись в поцелуях три остановки, пока их не заметил какой-то человек с бульвара и не закричал им «ура!».

С тех пор он изредка повторял свое знакомство с ночными кондукторшами — иногда удачно, но чаще всего нет. Однако его все более занимала не такая частная, текущая бесследно любовь, а неизвестный человек Груняхин, судьба которого поглощала его.

Работая далее в орсе, он постепенно увлекся своим трудом и окружением и начал даже упиваться жизнью. Он приобрел себе шкаф, наполнил его книгами и стал изучать мировую философию, наслаждаясь всеобщей мыслью и тем, что добро в мире неизбежно, даже скрыться от него никому нельзя. Законы золотого правила механики и золотого сечения по большому кругу действовали всюду и постоянно. Выходило, что благодаря лишь действию одной природы маленькая работа всегда даст большие успехи и каждому достанется кусок из золотого сечения — самый громадный и сытный. Следовательно, не столько труд, но ухищрение, умелость и душа,

готовая на упоение счастьем, определяли судьбу человека. Еще Архимед и александриец Герон ликовали по поводу золотых правил науки, которые обещали широкое блаженство человечеству: ведь одним граммом на неравноплечном рычаге можно поднять тонну, даже целый земной шар, как рассчитывал Архимед. Луначарский же предполагал зажечь новое солнце, если нынешнее окажется недостаточным или вообще надоевшим и некрасивым.

Утешенный чтением, Иван Груняхин работал хорошо на производстве. В течение одного месяца он, по указанию начальника орса, целиком изменил унылое убранство столовой на роскошное и влекущее. Груняхин заключил на год договор с трестом зеленого строительства, а также с Мосмебелью и другими организациями. Он поставил сменные горшки с цветами и постелил ковровые дорожки; затем усилил циркуляцию воздуха и сам починил электромотор для второго, испорченного вентилятора, с трудом вспомнив электротехнику и более не интересуясь ею. На стенах столовой и сборочного цеха Груняхин повесил крупные картины с изображением эпизодов древнеисторической жизни: падение Трои, поход аргонавтов, смерть Александра Македон-

ского, — и директор завода похвалил его за вкус.

— Нам нужно, чтоб было загадочно и хорошо, как будто несбыточно, — сказал директор Груняхину. — Но все это пустяки по сравнению с нашей реальностью! Однако — пусть висит: история раньше была бедна и спрашивать с нее много нечего.

Под влиянием общего приличия и благополучия Груняхин застыдился и начал приобретать в свое личное пользование нижнее белье, ботинки, фрукты и стал уже мечтать о любящей, единой жене. Иногда он вспоминал о прошлом бедном тресте весов и гирь, когда он еще был Сарториусом, — там было грустно и тепло от своего сердца и жены не требовалось; но теперь, став другим человеком, Груняхину нужно было хотя бы искусственное согревание семьей и женщиной.

В цехе новых конструкций работал старшим монтером Константин Арабов, человек лет тридцати, член общества «Динамо», превосходный собою, знавший наизусть Пушкина. Его встречал несколько раз дежурный инженер Иван Степанович Груняхин, но не обращал внимания, — как часто бывает, что люди, участь которых войдет в ваше сердце, долго живут незаметно… Арабов увлекся одной бригадиршей, французской

комсомолкой Катей Бессонэ-Фавор, забавной и разумной девушкой, и ушел с нею жить в любви навсегда, оставив жену с двумя сыновьями — одному было одиннадцать лет, а другому восемь. Жена Арабова, еще молодая, но грустная, приходила некоторое время на завод к концу работы, чтобы поглядеть на своего мужа, от которого ее сердце, должно быть, не могло сразу отвыкнуть. Потом она перестала ходить; чувство ее любви пришло в изнеможение и прекратилось. Вскоре Груняхин узнал от Кати Бессонэ, что одиннадцатилетний сын Арабова застрелился из оружия соседа по квартире и оставил записку, как большой человек. Катя, горюя, говорила в слезах, что где-то в комнате заскучал и самостоятельно умер ребенок — в то время, когда она упивалась счастьем с его отцом. Груняхин вздрогнул от испуга и удивления перед такой смертью, точно слабый вопль раздался перед ним среди всеобщего молчания. Он пожалел, что не знал раньше того ребенка, упустив из виду это *существо.*

Катя Бессонэ, мучимая своим сознанием, отвергла от себя Арабова, который хотел успокоить свое отчаяние в еще более страстной любви с нею, как это обычно бывает. Но и одинокой она быть не могла, поэтому Бессонэ пошла в кино с

Груняхиным, а оттуда они вместе направились к бывшей жене Арабова. Катя знала, что похороны умершего состоялись сегодня утром, и хотела помочь матери в ее вечной разлуке с самым верным для нее маленьким человеком.

Жена Арабова встретила их равнодушно. Она была чисто и хорошо одета, точно убрана к скромному торжеству, спокойна и не плакала. Катю Бессонэ она, конечно, знала, а Груняхина только видела однажды на заводе и не понимала, зачем он здесь.

Катя обняла ее сама первая, а жена Арабова стояла с опущенными руками и ничем ей не ответила, ей было теперь все равно, что с нею случается. Она механически завела примус и скипятила чай чужим для нее гостям. Груняхину понравилась эта женщина, с лицом некрасивым и нелепым до жалости; нос ее был велик и тонок, губы серые и глаза бесцветные, умолкшие от одинокого труда по домашнему хозяйству; тело ее, несмотря на небольшие годы, уже засушилось и напоминало фигуру мужчины, а опавшие груди висели точно без дела.

Напившись чаю, гости собрались уходить. Свидание не привело к утешению, и у самой Кати Бессонэ осталось внутри раздражение от

бессилия своего слишком чувствующего, но бездеятельного сердца. Но при выходе хозяйка внезапно обернулась в пустоту своей комнаты. Груняхин внезапно оглянулся туда же, и ему показалось, что все предметы стали вдруг подобиями, искажениями какого-то знакомого, общего человека, может быть — его самого, все они, значит, обратили свое внимание на присутствующих людей и угрюмо усмехнулись на всех своим неясным лицом и положением. Бывшая жена Арабова, наверно, увидела то же самое, потому что она вдруг заплакала от своего вечного горя и отвернулась от стыда перед посторонними. Она инстинктивно знала, что помощи от других быть не может и лучше спрятаться одной.

Огорчившись такой жизнью, Груняхин вышел на улицу с Бессонэ-Фавор и сказал ей:

— Вы слышали, что есть золотое правило механики. Некоторые думали посредством этого правила объегорить целую природу, всю жизнь. Костя Арабов тоже хотел получить с вами или из вас — как это сказать? — кое-что, какое-то бесплатное золото… Он его ведь получил немного…

— Немного — да, — согласилась Бессонэ.

— Ну сколько получил — не больше грамма! А на другом конце рычага пришлось нагрузить для

равновесия целую тонну могильной земли, какая теперь лежит и давит его ребенка…

Катя Бессонэ нахмурилась в недоумении.

— Не живите никогда по золотому правилу, — сказал ей еще Груняхин. — Это безграмотно и несчастно, я инженер и поэтому знаю, природа более серьезна, в ней блата нет. Ну до свидания, вон ваш автобус идет.

— Подождите, — попросила Катя Бессонэ.

— Нет, мне некогда, — ответил Груняхин. — Мне неинтересно, я не люблю, когда упиваются сами собой, а потом не знают, куда деваться, и ходят со мной. Надо жить аккуратно.

Бессонэ-Фавор неожиданно засмеялась.

— Ну идите, идите, — сказала она. — Чего вы от меня требуете, как будто я сама себя делала. Я не нарочно такая, я нечаянно. Ну я больше не буду, вы простите…

Груняхин возвратился в комнату жены Арабова. Она встретила его с прежним равнодушием, а он, перейдя порог, предложил ей выйти за него замуж — больше предлагать было нечего. Женщина побледнела, словно в ней сразу собралась болезнь, и не ответила. Иван Степанович остался сидеть в комнате, пока не наступила поздняя ночь и движение на улице прекратилось. Тогда

он поневоле заснул, а жена Арабова постелила ему место на коротком диване и велела лечь как следует.

Утром, как обычно, Груняхин пошел на работу, но вечером возвратился. Матрена Филипповна Чебуркова (фамилию мужа Арабова она перестала носить после его измены) не привечала нового человека и не выгоняла его. Он ей дал деньги — положил их на стол, она же автоматически скипятила ему чай и согрела что-то поесть из остатков своей еды. Через несколько дней вечером пришел дворник и велел Матрене Филипповне прописывать нового жильца — пусть что хочет делает: прогоняет его или выходит за него замуж, а так жить никто не позволит. Дворник был из некогда раскулаченных и поэтому держался за закон со всей точностью: он сам испытал и пережил государственную силу.

— Ты гляди, гражданка Чебуркова, как бы тебе не проштрафиться: казна убытка не любит.

— Ну уж ладно… Раньше небось не штрафовали, а как стала безмужняя, ослабшая…

— А ты прописывай его, — указал дворник на Груняхина, — не теряй женскую норму, а то и площадь упустишь, и сама будешь как Пышка в кино, только худощавая.

— Завтра пропишешь, успеешь, — сказала Матрена Филипповна. — Теперь бабы думают не сразу.

— Видать! — произнес дворник и ушел. — Прежде, было, совсем не думали, а жили без глупости, как умные, — сказал он за дверью.

Через два дня Груняхин прописался временным жильцом, но Чебуркова велела ему переписаться на постоянную жизнь.

— Кто поверит, чтоб в одной комнате с кухней мужик с бабой врозь жили! — раздражительно заявила она. — А я тебе не девка, я женщина, — вот завтрашний день в загс со мной пойдешь, не живая буду! А то ступай, откуда пришел!

Все прошло формально и скоро, и жизнь Груняхина смирилась в чужой комнате. Он работал, Матрена Филипповна хозяйствовала, выражала разное недовольство и редко вспоминала сына — скорее всего лишь затем, чтобы после слез наступило то облегчение, которое равно наслаждению сердца; другое счастье она испытывать не могла, или ей не встречалось случая. Втайне для нее самой смерть сына стала постепенно причиной тихого счастья ее жизни — после кратких слез, в медленных подробных воспоминаниях; и она призывала Ивана Степановича участвовать

в ее бедном чувстве, где, однако, было согревающее тепло темного упоенья собственной скорбью и все терпение ее души. В такое время она всегда становилась более доброй и кроткой, чем требовал ее характер. Груняхин даже любил, когда Матрена Филипповна *вдруг* начинала плакать о своем погибшем ребенке, — тогда и Ивану Степановичу перепадала от жены какая-нибудь нежность или льгота.

Обыкновенно же Чебуркова ходить мужу никуда не позволяла, кроме работы, и следила по часам — вовремя ли он возвращается, а в собрания она не верила и начинала плакать и браниться, что второй муж тоже подлец и изменяет ей. Если муж все же запаздывал, Матрена Филипповна, отворив ему дверь, начинала его бить любым предметом — старым валенком, вешалкой вместе с одеждой, самоварной трубой от бывшего когда-то самовара, башмаком со своей ноги и другой внезапной вещью, — лишь бы изжить собственное раздраженье и несчастье. В эти минуты Иван Степанович с удивлением смотрел на Матрену Филипповну, а она жалостно плакала — оттого, что одно горе ее превратилось в другое, но не исчезло совсем. Груняхин, видевший уже многую жизнь, особо не мучился от такого обращения.

Второй сын Матрены Филипповны глядел на ссору матери с новым отцом равнодушно, так как мать всегда одолевала отца. Но когда Иван Степанович схватил однажды руки жены, потому что она стала драть ногтями его горло, то мальчик сделал предупреждение:

— Товарищ Груняхин, не бей маму! А то я тебе живот шилом проткну, сукин сын!.. Не твой дом — и ты не задавайся!

Груняхин сразу опомнился: он забылся лишь нечаянно, и то от сильной боли. Перед ним в жарком поту отчаяния, в усталости, с усердием всего своего сердца волновалась Матрена Филипповна — она защищала мужа от разврата и обеспечивала его семейную верность. Иван Степанович слушал, терпел и учился.

По ночам он думал рядом с женой, что все это так и быть должно, иначе его жадное, легкое сердце быстро износилось и погибло бы в бесплодной привязанности к разным женщинам и друзьям, в опасной готовности броситься в гущу всей роскоши, какая происходит на земле.

Утром второй сын Матрены Филипповны — тоже Семен, как раньше назывался Груняхин, — сказал Ивану Степановичу:

— Что ж ты спишь с моей матерью? Ты дума-

ешь, мне приятно глядеть на вас? Приятно или нет?

Груняхин оробел от вопроса. Жены не было, она ушла на базар за пищей. Наступал выходной день, когда люди живут домашними чувствами, общими размышлениями и водят детей в кино. Иван Степанович тоже пошел в кино с Семеном поглядеть советскую комедию. Семен остался доволен, хотя картину покритиковал — для него были мелки такие проблемы, он сам пережил больше. Дома Матрена Филипповна сидела перед портретом прошлого мужа и плакала о нем, а когда увидела Ивана Степановича, то застыдилась и перестала; большей любви Груняхину было не надо, стеснение Матрены Филипповны он понял как высшую нежность и кроткое доверие к нему. Своего мучения от этой женщины он не считал, потому что человек еще не научился мужеству беспрерывного счастья — только учится.

Ночью, когда жена и сын уснули, Иван Степанович стоял над лицом Матрены Филипповны и наблюдал, как она вся беспомощна, как жалобно было сжато ее лицо в тоскливой усталости и глаза были закрыты как добрые, точно в ней, когда она лежала без сознания, покоился древний ангел. Если бы все человечество лежало спящим, то по

лицу его нельзя было бы узнать его настоящего характера и можно было бы обмануться.

Фро

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание: провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонись, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком от-

четливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства; она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью, — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая, милая жизнь. Но сама она не могла любить как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний

Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой

регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?». При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника. «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а

обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером, худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому посто-

янно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкафа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо

игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам: женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои кроткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год — и он тут будет... скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду — твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже мещанка…

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были…

— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна…

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто либо запьянствовал или в семействе драма□шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает — все как полагается!

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь, она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные

сосны за окном и думать про мужа.

— Ну, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование… Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!», «Ту□ту□ту□ту: паровоз, ру□ру□ру□ру: самолет, пыр□пыр□пыр□пыр: ледокол… Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори: ту□ту□ру□ру, шевелися каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..»

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где□то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был

рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но, пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете, — спросила она его, — что курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка… Постоянно тут публичность разная находится, лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не

могут — надо посорить пойти…

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется… Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату! — сказала она.

— На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам. — Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой…

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже

спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами — и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шесть-

десят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежу они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвернется! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала… Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная… А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в

буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила… Ну, давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю… Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси. — Много там осталось?

— Не, — ответила тамошняя Фрося, — тут малость, поскребышки одни…

— Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы для дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел нарядчик.

— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там, — деньги получите, — там видно будет: кто в клуб танцевать,

кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и

сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился, почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну конечно, да! — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей

ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что ж, при социализме[illegible]то все комнаты такие будут ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше.

— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бебе», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро? Вы не русская?

— Ну конечно, нет!

Диспетчер размышлял:

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Не важно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало все три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он

почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась

еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, — и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье — скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается, — во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему

два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой,

уныло говорила: «Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор — может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом…

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество

стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно — он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец ненадолго умолкал; потом опять спраши-

вал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею…

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил…

— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали…

— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку…

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородой с макаронами.

В дверь постучали, Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки

висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежу, ране недели не обернешься…

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок — там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, — и закрыла дверь квартиры.

— Играй! Отчего ты не играешь? — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой.

Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на

вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз

поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: «Обойдемся так».

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой, Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с

женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад, казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

«Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь!» — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма

или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит, что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и, даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? Не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всех адресатам в целости. А письма

Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да, — говорила

Фрося. — Это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что', одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать.

Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.

После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слушала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чая, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо; он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг — я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить… Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала… У тебя деньги есть?

У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился.

В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что, — решил он, — может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».

Телеграмма назначалась Федору на Дальний

Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

— Стало быть, так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дома.

Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон. Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть…

— Скучно, — согласился старик. — Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом!

— Спасибо, Нефед Степанович…

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говори-

ла Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго…

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру…

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, — сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал “а”, должен говорить “б”», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы “а” обязательно говорить “б”, а если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое□как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь

человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, — и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека… Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дома ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа, у них обоих все время увеличивался теперь аппетит.

Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу

поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта… Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал — мешать вам буду…

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал…

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь — неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь.

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости.

— Сейчас, — ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла одна среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь

стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

Такыр

1

Давно в ночное время сорок или больше всадников ехали мирным шагом в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы Копет-Дага оберегающе и неясно стояли по сторонам прохладного ущелья — меж Персией и равниной вольных туркменов. Древняя иранская дорога уже тысячу лет несла на себе либо торжествующее, либо плачущее, либо мертвое человеческое сердце. И в ту давно минувшую ночь четырнадцать человек шли пешком, рядом с линией конного отряда, связанные одной веревкой. Среди пеших было девять молодых женщин и одна маленькая девушка. Она шла без веревки и отставала от усталости. Душа пеших людей настолько утомилась, что они перестали чувствовать свое существование и шли как без дыхания. Но сорок всадников были счастливы и осторожно хранили свое удовлетворение, чтобы приехать с ним на родину, которая была еще далеко за горами, в темноте пустыни. Один же конный человек был мертвым: его убили курды в Иране, и теперь он ехал, низко

склонившись, привязанный к седлу и к шее своей *уцелевшей* лошади, чтобы его семейство имело возможность увидеть его и заплакать.

В полночь наступил свет в долине — от луны, преодолевшей высоту гор, и речной поток от этого света стал как бы неслышным. Отряд приурочился в тень старой чинары, *растущей* к небу и не умирающей много веков. Конные спешились, снизили лошадей, как верблюдов, уложили рядом пленников и сами легли. На выходах из ущелья еще могли появиться курды в погоню, несущие пограничную персидскую службу, еще стояли на ближних горах сторожевые башни, сложенные из берегового камня и глины. В этих башнях раньше селились обыкновенно дежурные солдаты персидских аулов и базаров, чтобы стеречь дорогу от туркменских аламанов и заранее известить об опасности в Персии посредством дыма из внутренних очагов — по всей очереди башен в глубину своей родины. Самым же опасным был русский пограничный разъезд, пост которого отряд миновал вчерашнею ночью кругом по горам. Туркмены знали про то и держали ружья близ груди, чтобы убить всякого показавшегося врага. Это было позднее время последних аламанов.

Вскоре персидские пленники уснули, и горе в них прекратилось от потери сознания. Лишь в одной маленькой женщине по имени Заррин-Тадж ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувствовала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Хорасана, откуда ее увели. Иногда ей слышались издали звуки, помимо шума потока, — она думала тогда, что это, наверное, из Ирана в Туран уезжает поезд, который Заррин-Тадж видела однажды в детстве и запомнила, как гудит его бегущий дым. Туркмены, усталые от набега и бедствий пустынной жизни, закрывали по одному глазу, чтобы дремать и видеть наполовину; лежащие лошади вытянули морды вровень с землей и громко дышали, не трогая близкой травы. Заррин поднялась с места. Ночной ветер медленно дул из Персии по ущелью, слышен был запах цветов, одинокая птица напевала где-то далеко в слепых горах, потом она умолкла; лишь река неслась и работала на камнях — всегда и вечно, во тьме и в свете, как работает раб в туркменской равнине или неостывающий самовар в чайхане. Персиянка поглядела на старинную чинару — семь больших стволов разрасталось из нее и еще одна слабая ветвь; семь братьев и одна сестра. Нужно

было целое племя людей, чтобы обнять это дерево вокруг, и кора его, изболевшая, изъеденная зверями, обхватанная руками умиравших, но сберегшая под собой все соки, была тепла и добра на вид, как земляная почва. Заррин-Тадж села на один из корней чинары, который уходил вглубь, точно хищная рука, и заметила еще, что на высоте ствола росли камни. Должно быть, река в свои разливы громила чинару под корень горными камнями, но дерево въело себе в тело те огромные камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, кротко подняв с собою то, что должно его погубить. «Она тоже рабыня, как я! — подумала персиянка про чинару. — Она держит камень, как я свое сердце и своего ребенка. Пусть горе мое врастет в меня, чтобы я его не чувствовала». Заррин-Тадж заплакала. Она была беременна второй месяц от курда-пастуха, потому что ей надо было любить хотя бы одного человека. Ближний туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро привыкнет быть женой, если *умеет* плакать, и смирно *умрет* под яшмаком в Туркменистане.

Луна скрылась за черные горы, стало опять глухо, ветер шел тенью по лицу Заррин-Тадж, она легла на землю среди всех…

«Гель-Эндам давно увели эрсари, — шептала персиянка себе в сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться, — Фатьма утонула в Дарье, а милая, лучшая моя Ханом-Ага, я слышала, живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рожает детей. Я тоже буду с ними».

Персиянка уснула, успокоившись воспоминанием о подругах, которые так же прошли когда-то через это прохладное травяное ущелье и не умерли.

Наутро верховые туркмены вывели пленников из гор Копет-Дага; тогда некоторые курдские и персидские женщины, как только увидели чужую пустыню и странное небо, с другим светом, чем на родине, заплакали от наступившей печали. Но Заррин-Тадж не плакала. Выросшая в нагорной хорасанской роще, она с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская смерть, и не понимала, зачем там живут.

Туркмены переждали день во впадине горного подножья. Они считались с курдами, которые иногда идут в преследование через русскую границу до самых открытых песков, и не хотели растратить победу на краю родины.

Всю другую ночь и еще полдня туркмены гнали пленников в даль своих мертвых песков. Потом отдыхали и ночевали в глиняной курганче аула, обнимали пленных девушек и снова шли дальше. Вскоре Заррин-Тадж узнала своего мужа и хозяина — Атах-бабу, туркмена из племени текэ, человека более сорока лет. Он имел бороду и всегда одинаковые темные глаза, не устающие и не счастливые. Атах-баба изредка звал к себе Заррин-Тадж и отставал ото всех, чтобы жить с нею на песке. Лежа внизу, персиянка прислушивалась, как движется понемногу песок сам по себе: у него тоже была небольшая разнообразная жизнь. Вблизи стояла в ожидании лошадь Атах-бабы и рассматривала обоих людей. Во время любви, раскинув свои руки, Заррин-Тадж пересыпала ими песок, наблюдала высоту над собою и думала постороннее. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. «С ним я проживу», — молча полагала Заррин, видя, что это не страшно и не интересно; для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести Атах-бабы и его бороды.

2

На двенадцатую ночь после родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган. Здесь жило несколько семейств из рода Канджин, племени текэ. Атах-бабу встретили четыре его жены и обрадовались ему лишь одним выражением своих лиц, а к Заррин-Тадж отнеслись без внимания. Атах отвел персиянку в кибитку и велел ее кормить и класть спать в семействе. Сам Атах отправился отдать убитого в аламане родственника, уже истлевшего в пути, отчего лошадь его, надышавшись трупом, мало пила воды на водопоях.

Заррин-Тадж села на полу кибитки в недоумении перед чужбиной. На родине она с шести лет собирала хворост и отсохшие сучья в горных рощах Хорасана для своего господина, у которого жила за пищу два раза в день. Там жизнь была привычна, и годы юности проходили без памяти и следа, потому что тоска труда стала однообразна и сердце к ней притерпелось. *Лучшее* время то, которое быстро уходит, где дни не успевают оставлять своей беды.

Одна старая жена Атах-бабы спросила у персиянки по-курдски, какого она рода и в чьей

кибитке родилась.

— Я не знаю, когда рожалась, — сказала Заррин-Тадж. — Я уже давно была.

Она действительно не помнила отца и матери и не заметила, когда произошла жить: она думала, что так было вечно.

Вдруг послышался плач и шум озлобления. Три босых и жалобных женщины вошли в кибитку и сели вокруг персиянки на поджатых ногах. Сначала они непонятно, грустно заговорили, а потом подползли к Заррин-Тадж, обхватили ее и стали царапать ногтями по лицу ее и худому телу. Персиянка сжалась и стала маленькой для своей защиты, но втайне она замечала, что злоба женщин бедна силой, и терпела боль без испуга. Пришедший назад Атах-баба постоял немного в молчании, а потом сказал: «Этого довольно, она молода, а вы старые д****!» — и выгнал чужих женщин прочь.

Они ушли и снаружи опять заплакали по убитому мужу.

Ночью Атах-баба лег спать рядом с пленницей, и, когда все уснули и пустыня, как прожитый мир, была у изголовья за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшее в нужде и дороге. Было все тихо, одно дыхание вы-

ходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине, — может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Заррин-Тадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его. Но когда Атах-баба ожесточился страстью, то две других жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептали что-то, а потом сказали мужу:

— Атах! Атах! Ты не жалей ее, пусть она закричит.

— Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь?

— Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла!

— Ишь ты, хитрый какой!

Заррин-Тадж не слышала их до конца, она уснула от утомления и равнодушия среди любви.

3

Заррин-Тадж стала жить кочевницей. Она доила верблюдиц и коз, считала овец и доставала воду из колодцев на такыре — по сто и по двести бурдюков в день. Больше она никогда не видела птиц и забыла, как шумит ветер в древесных листьях. Но время молодости идет медленно. Еще долго тело персиянки томилось жизнью, точно непрестанно готовое к счастью.

Когда овцы начинали худеть или дохнуть от бестравия, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдие, где земля свежее и еще стоит нетронутой бедная трава. Весь небольшой род снимался с обжитого места и шел через горячий такыр в направлении одинакового пустого пространства. Впереди ехал аксакал и *умные* мужья на ишаках. Ишачки везли бугры сложенных кибиток и старых жен, позади брели вразброд, как безумные, овечьи стада, а Заррин-Тадж и прочие рабы шли пешком, унося на себе тяжелое серебро, подарки мужу старых друзей и еду в горшках.

Персиянка радовалась, если приходилось идти по песчаным холмам, утопая ногами в их теплоту. Она следила, как ветер тревожит и уносит дальше какое-то давно засохшее растение, рожденное, может быть, в синих смутных долинах Копет-Дага или на сырых берегах Амударьи. Но часто нужно было проходить долгие такыры, самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли в легкие ветви, и ветер взял их с собою.

Новое место всегда было труднее старого. Надо было расчищать и готовить колодцы, устраивать пастбища и разыскивать вдалеке, где уцелел занесенный песками саксаул.

С течением времени Заррин-Тадж начала отвыкать от своих интересов и от самой себя. Когда Атах-баба ел плов, а мясные остатки доставались только другим его женам, персиянка не мучилась от голода и зависти. Она всегда молчала и постоянно заботилась среди животных, не сознавая своей души, чтобы она ни о чем не тосковала.

Иногда она ложилась от утомления среди такыра, пустота и свет окружали ее. Она глядела на природу — на солнце и на небо — с изумлением своего сердца: «Вот и все!» — шептала Заррин-Тадж, то есть вот вся ее жизнь чувствуется в уме, и обыкновенный мир стоит перед глазами, а больше ничего не будет.

Она пробовала свое тело руками — кости были уже близко, кожа засыхала от усталости, руки сработались до жил — это исчезает понемногу ее жизнь: луна восходит медленно, но закатывается скоро.

Через несколько месяцев Заррин-Тадж родила маленькую девочку. Атах-баба обрадовался этой чужеродной жизни, потому что девочка останет-

ся у него рабыней, и велел назвать ее Джумалью.

Персиянка прижала ребенка к себе и поняла, что не все еще прожито ею. Была зима, с такыра текла в колодцы дождевая вода, осел кричал с такою грустью, что будто он остался на свете круглой сиротою и теперь заболел печалью.

Через некоторое время Заррин-Тадж ослабела, ее здоровье пропало, она легла и не могла подняться; ребенок лежал при ней и согревался о ее горячее тело. Кибитку продувало из-под низу, мертвый такыр шумел от потоков дождя. Атах-баба стоял над персиянкой, и слезы его капали на ее кошму; он страдал, что не может жить с нею дальше, такой худой, не помнящей его. Он ежедневно ел баранье мясо и сало, тяжкая сила любви скоплялась в его сердце, не зная облегчения с милой женщиной, которая лежала горячая и безумная. Изредка, в заглохшие ночи, Атах-баба откладывал ребенка от Заррин-Тадж и обнимал ее в тоске своей мертвой силы. Но время шло, как шумит ветер над песками и уносит весенних птиц в зеленые влажные страны. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут

караваны верблюдов, скачут всадники вдаль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо, почти про себя: еще неизвестно, чья сила победит в жизни — птички или караванов и гудящих поездов. Заррин-Тадж проснулась и решила жить, как эта птица, пропавшая в сновидении. Она выздоровела. Однако Атах-баба хранил ее ради ребенка и не велел несколько дней работать.

Другие жены давали ей пищу на кошму с бранью, оттого что она лежит здоровая, а они, старые и больные, мучаются одни в скучном труде.

Заррин-Тадж вскоре встала сама. Ей нечего было ни думать, ни чувствовать, поэтому легче было шевелиться в беспрестанной заботе по хозяйству и изживать понемногу свое сердце. Она стала опять спокойной, когда положила Джумаль в повязку за спиной и, склонившись, стала доить коз, собирать на топливо ишачьи остатки и вытаскивать воду из колодца. Если бы даже она была счастлива, она все равно занималась бы этими делами, потому что, чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно.

Джумаль долго лежала за спиною у матери, свернувшись в комок от страха пережитого рождения и слушая с удивлением звук своего

собственного сердца — в ожидании, когда оно остановится, чтобы уснуть; потом Джумаль начала постепенно ходить самостоятельно и понимать свое существование. «Это я!» — чувствовала она неизвестное и трогала хрящи своих будущих костей. Но еще долго Джумаль не отходила от матери и гладила ее низко согнутую спину, горячую и влажную, где она лежала, грелась и спала. Ей стало нравиться жить, и она ела глину, траву, овечий помет, уголь, сосала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было материнского молока.

Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже привыкла и не боялась, что оно остановится.

4

Долго шло ее детство. Каждый день горело солнце на небе, начинался и кончался ветер, играли и плакали дети в затишье песчаных холмов, потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдали, и легкая луна, как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо старе-

ющей матери, всегда занятой работой. Выдаивая верблюдицу, мать глядела на луну, на этот свет нищих и мертвых, потом персиянка ложилась на кошму и успевала только немного ласкать свою дочь, потому что сон быстро разлучал ее с нею.

Весною Заррин-Тадж в первый раз показала дочери на птиц, летевших высоко над песком неизвестно куда. Птицы кричали что-то, точно жалели людей, и вскоре пропали навсегда.

— Кто они? — спросила Джумаль.

— Они счастливые, — сказала мать, — они могут улететь на дальние реки, за горы, где растут листья на деревьях и солнце прохладно, как луна.

Джумаль не знала, что это такое, и не тосковала о реках и листьях. Она росла здесь, между барханами, и с высоты песков, насыпанных ветром, видела, что земля повсюду одинакова и пуста. Мать же плакала иногда и прижимала к себе девочку — она теперь была для нее дальней рекою, забытыми горами, цветами деревьев и тенью на такыре.

— Тебе хорошо там было, на реке и на горе? — спросила Джумаль.

— Нет, я там мучилась, — сказала Заррин-Тадж.

— А зачем думаешь, что хорошо?

— Я не думаю, мне кажется, — ответила Заррин-Тадж.

Маленькая Джумаль озадачилась; она взяла мать за палец и посоветовала ей:

— Тебе кажется… А ты люби меня одну, вот тебе и будет хорошо! А горы и реки — не надо.

При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрою, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье.

В низкой былинке травы, сухой и жесткой, как жестяная стружка, заключалось все, чем питались верблюды и овцы. Ослы помнили, вероятно, другую еду в забытом мире и часто кричали в своей нужде по ней.

По кочевым дорогам Джумаль ехала на самом маленьком ишаке. Пустыня шла мимо ее опущенных ног, она глядела на громадную голову осла, больше, чем у лошади, на его уши, в которые попадает ветер, и думала, что осел — это остаток

великана, но стал маленьким от горя, работы и едкой еды.

5

Когда прошло долгое время и Джумаль стала двенадцатилетней девушкой, она стала полной и хорошей. Лицо ее покрылось красотой, точно на нем выступила любовь и страсть ее неизвестного отца к Заррин-Тадж. Ничто — ни нищета рабыни, ни уныние — не помешало Джумаль стать ясной, взрослой и чистой. И пища ее, как она ни была бедна и однообразна по виду, была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри ее постоянно горел свет. Мыться ей было негде, — воды еле хватало только овцам, — и когда Джумаль становилось тяжко от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением.

Однажды Атах-баба довел кибитки до угрюмого места, где лежала на целый день пути одна темная глина, и велел остановиться. Такого печального такыра ни Джумаль, ни Заррин-Тадж еще не видели. Поэтому, вероятно, здесь давно

никто не селился и у края такыра ютилась добрая трава, прячась от жары и гибели в песок. К своей середине такыр понижался, и там в глинистой тьме стояла ветхая каменная башня. В той башне Атах-баба разместил свою семью. Заррин-Тадж и все другие женщины кочующего рода стали расчищать колодец, бывший вблизи древней башни. Никто не знал, чья это башня и что в ней делали в старое время — молились или убивали. Нижняя наружная стена башни была убрана голубыми изразцами, а маленький купол был покрыт плитами синего цвета, и золотая змея лежала нарисованной на этих плитах.

Джумаль вместе со всеми матерями работала на колодце: она относила влажный песок в отдаление и находила в нем чьи-то кости. На краю песков слабо виднелись небольшие горы, — уснувшие тучи до зимы лежали на них, — а в другую сторону, говорил Атах-баба, была Амударья и богатая Хива. Ночью *Джумаль* лежала около стены в нижнем помещении башни. Она слышала, как шевелятся скорпионы в глинистых ущельях, следила через открытый вход за одною звездой, которая движется в сумраке, как кочевница, и понимала заунывный звук текущего песка у подножия башни. Слезы и счастье

находились около ее сердца, но Джумаль дышала осторожно и с недоумением непонимания значения жизни.

Атах-баба приподнялся с кошмы и начал подкрадываться к Заррин-Тадж через других спящих жен. Джумаль подождала время, а потом позвала мать, чтоб она испугалась Атаха. Но мать промолчала, а Атах-баба нашел ее. Джумаль повернулась лицом вниз, в шерсть своей подстилки, и озябла от горя. В это время неизвестный темный человек сошел вниз из верхнего помещения башни и остановился среди лежавшего семейства, сделав рукою знак мира и приветствия. Джумаль подошла к нему и ответила на его приветствие. Пришедший человек был чужд и ни на кого не похож; он был громаден и худ, лицо его глядело добрым, как у животного, и глаза, несмотря на сумрак, смотрели на маленькую Джумаль с такою печалью, точно он был мертв.

Заррин-Тадж, увидев дочь и другого человека, сказала им:

— Это наше дело на нашей кошме, а вы уйдите отсюда, — и она снова обняла своего хозяина и мужа.

Джумаль схватила руку пришедшего гостя и заплакала по матери, однако гость не мог успоко-

ить плачущую: он бросился бежать вон по такыру в дальнюю ночь, потому что Атах-баба вскочил и погнался за ним. Джумаль, увидя это и свою жалкую мать, также побежала вслед за гостем.

Их бег звенел по такыру. Но отчаяние сильнее злобы, и безвестный гость, миновав спящие кибитки, пропал вперед во тьму от обессилевшего Атах-бабы. Джумаль бежала следом за ними неизвестно куда; она теперь почувствовала, что ей настала пора жить одной, с нею нет никого, даже мать живет отдельно от нее — своим сердцем и своей неволей. Она легла на холодную, ночную глину и умолкла от одиночества. Под нею тоже была умолкшая земля…

Атах-баба шел обратно с погони, постаревший и опухший со времени последнего персидского аламана. Он увидел Джумаль, молодую и с жалобным телом, — она выросла на его стадах и стала теперь угрюмой от юности. Атах поднял Джумаль с земли и сжал ее небольшое неумелое тело, унося его в глушь такыра. Джумаль впилась ногтями в горло Атах-бабы. Но если бы даже ему отрезали сейчас голову, он не оставил бы ее, поэтому он не чувствовал боли от девушки, с жадностью нюхая запах полыни и ветра в ее волосах.

На другой день Джумаль не вернулась домой.

Одна ушла на дальний край такыра, пела там одна, выдумывая песни, и жить больше не хотела. За такыром начиналась новая земля — песок был смешан с суглинком, здесь трава росла гуще, и овцы, впившись в нее, мочили землю жадными слюнями.

Вечером, когда Джумаль уснула, ее нашла мать, разбудила и повела домой, потому что Атах-баба ее продал и уже получил половину калыма — четыреста русских рублей и шестьдесят голов разного скота. Джумаль считалась грнак, то есть она не имела чистой туркменской породы, и ценилась наравне с курдянкой.

Жених ее, пожилой Ода-Кара, сидел на ковре с Атахом и рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что делается в Гассан-Кули и по берегам Аму, что в Бухаре, говорят, опять открылся базар рабов. Ода-Кара знал многое, но он говорил, что ум его начинает путаться в бороде, потому что ему не хватает молодой жены для утешения.

Атах-баба согласился, что без утешения жить никому нельзя: пусть лучше из человека выходит плоть, чем слезы.

— Но ты, Ода, уже взял недавно жену из кибитки Курбан-Нияза, — сказал Атах. — Она тоже не

стара еще, и лицо ее хорошо.

— Я взял ее, — согласился Ода-Кара. — Но пусть будет теперь другая. У меня жили в семействе шесть старых жен, одна умерла, а овцы окотились, и ослицы дали приплод. Кто будет с ними справляться? Старые жены стареют, потом помирают, — надо взять двух молодых, чтоб они не скоро померли.

— Ты недорого ценишь молодых, — сказал Атах-баба, — и калым не враз даешь.

Ода-Кара возразил:

— Нет, дорого! Я много думал — кого мне взять: трех старых, привычных старух или двух молодых. Но старые мясо не жуют и много его глотают, а молодые едят мало, но много беспокоятся. Я решил взять молодых.

Атах-баба засмеялся. Ода-Кара тоже захохотал.

— Беспокоиться будут, Ода, твои новые жены… Где у тебя, старика, любовь осталась для них?

— У меня есть две жены, которых я никогда не касался, — улыбаясь, произнес Ода. — Они прожили в хозяйстве тридцать лет, и я их спрашивал: «Старухи, где же ваша любовь, куда она вышла?»

— А они тебе что? — улыбался Атах.

— А они: слезами и потом ушла в песок — говорят. А я им говорю: «Нет, *лучше я* пойду спрошу

про то у старых ишаков с кобелями!»

Заррин-Тадж и Джумаль сидели снаружи башни, у входа, и слышали разговор. Постаревшая персиянка плакала и прижимала к себе свою дочь.

Джумаль тоже ласкалась к матери и не обижалась на нее за то, что было ночью, — ее детское сердце еще жило без памяти.

— Мама, к нам гость приходил из темноты, когда ты спала с Атахом, — сказала Джумаль. — Он на такыр убежал.

Заррин-Тадж сказала дочери, что другие женщины слышали про этого одинокого гостя из песков. Он воевал с русскими далеко, в том краю, где леса и озера. Его русские взяли в аламан, а он убежал от них в пески и теперь живет один в страхе и бегстве.

— Значит, он скоро умрет: ему ведь нечего есть! — догадалась Джумаль.

— Он бежит второй год, — сказала мать. — Он лепит горшки из глины и оставляет их на кочевых дорогах. За это ему бросают битых овец, а горшки берут… Ода говорил, что гость бывает и в аулах, там он чинит самовары в чайхане, шьет чужие халаты и кормится…

Джумаль задумалась. Ее влекла таинствен-

ность жизни, пространство и далекий шум, который ей слышался несколько раз, когда она спала ухом на земле. Заррин-Тадж встала, чтобы подать новый чай гостю и мужу, но вдруг вся потемнела лицом и потеряла свою силу, не дойдя до ковра, где сидел Ода-Кара. Она непочтительно легла около гостя, и влажное бешенство смерти выступило у нее на губах. Ода-Кара вскочил и ушел в испуге, а Атах-баба пихнул жену ногой, чтобы она отвернула от него свое страшное лицо. Заррин-Тадж повернулась сама и затихла. Она чувствовала жар, который сжигает ее усталые кости и внутренности, и ей становилось легче, точно все, что так давно изболелось и утомилось в ней, потягивалось и потрескивало.

6

Наутро кочевье было пусто. Атах-баба еще ночью велел гнать стадо и бросил на месте все предметы и имущество ежедневной жизни. Род убегал от чумы, которой заболела персиянка в ветхой башне, и теперь на сто лет это место останется безлюдным, потому что народ в песках живет слухом и долгой памятью. Джумаль залезла по стоптанным, когда-то каменным ступеням и спряталась в верхней комнате башни; там ле-

жала на полу деревянная ложка, валялся кусок чурека и стояли три недоделанных горшка; здесь, наверно, жил и прятался неизвестный гость, убежавший опять в пески.

Спустившись немного по ступеням вниз, Джумаль видела, что делается внизу, около матери: Заррин-Тадж лежала одна на каменном полу, черная и спокойная от сознания своей грустной смерти. К ней пришла поглядеть на нее издали Зулейха, персиянка, похищенная в юности вместе с Заррин-Тадж. Потом явились перс Касем и два батрака — Агар и Лала; они не боялись заболеть и погибнуть и коснулись руками каменного ложа, на котором лежала умирающая, и ушли, унося в себе чувство вечного прощания. Джумаль не подходила к матери, потому что ее могли *увезти* отсюда, и ждала, когда люди отойдут далеко.

Пришедший после всех Атах-баба оглядел все помещения, жалея, что пропадают ковры, кошма и посуда. Он остановился вдалеке от Заррин-Тадж и громко сказал ей свои слова — те, которые обычно шепчут мертвому на ухо в промежутках между поцелуями, чтобы умирающая запомнила их и передала через смерть к Богу на небо.

— Скажи там, пожалуйста, Богу, тебе все равно, ты ведь мертвая, — скажи там, чтоб я один остал-

ся на свете! Овец стало мало — они дохнут, — я один с ними справлюсь, а люди пусть станут душами и живут у Бога на небе, где ты будешь жить.

Он ушел, но скоро вернулся опять, вместе с Ода-Карой, чтобы найти и взять с собою Джумаль, за которую уже были уплачены средства. Тогда Джумаль побежала вниз, приникла к матери и обняла ее всеми силами. Заррин-Тадж еще чуть дышала, и душа ее жила в жизни.

Ода-Кара и Атах побоялись брать эту невесту, обнимавшуюся с чумой, и ушли, проклиная общие убытки: один недополучил, а другой уплатил ни за что.

— Смерть, говорил Мохаммед, это великая разлучница людей, — сказал Ода-Кара, — а меня она разлучила с овцами и баранами.

7

Все люди, стада и собаки ушли далеко. Такыр был пуст и глух, как туркменское небо. Джумаль стала заводить хозяйство из оставшихся вещей. Она нашла шесть туш баранов, лишь отчасти истраченных на пищу и брошенных в бегстве от смерти. Она сварила суп для матери и покормила немного ее. Заррин-Тадж все еще понемногу была

жива, боясь окончательно ожить, чтобы потом сразу не умереть. Вечером Джумаль глядела с высоты башни в пустыню: она ждала, что придет гость, бегущий где-то в песках. Но никто не шел, — по такыру катилась трава, исчезая отсюда дальше, где она снова может расти.

Садилось солнце и снова вставало. Время шло, чтобы мучение, томящееся в сердце каждого человека, стало привычным. Заррин-Тадж оправлялась и начинала ходить и существовать по-прежнему.

Когда им нечего стало есть, Заррин-Тадж пошла с дочерью через такыр, чтобы дойти до хивинского караванного пути. Однако, пройдя лишь половину такыра, Заррин-Тадж опустилась на глину и не могла дальше идти.

— Мама, давай с тобой умрем, — сказала Джумаль.

Она легла с матерью рядом и закрыла глаза в терпении.

— Ты тоже закрой глаза и не смотри на меня! — попросила Джумаль. — Так мы скорей умрем. Чего зря глядеть! Ведь нечего, мы все уж видели…

Джумаль прижала мать к себе и заметила, какая она стала высохшая, старая и маленькая

— меньше ее. Она попробовала ее пошевельнуть — Заррин-Тадж была легка, как сухая ветвь.

Джумаль встала и подняла свою мать. Она справлялась с нею и понесла вдаль по такыру, задумав умереть немного позже. Вечером Джумаль донесла Заррин-Тадж до песчаной границы такыра и легла с нею ночевать в теплое углубление.

Утром они увидели чужого человека, сидевшего около них. Он поздоровался с матерью и дочерью и вынул из своего мешка кусок баранины для угощения. Джумаль сразу узнала в нем пустынного гостя и обрадовалась ему. Гость не был туркменом, хотя и говорил на туркменском языке. Он имел одежду серого цвета, давно изношенную, и молодое, ясное лицо, привычное к горю и бедствиям.

— Ты кто? — спросила его Джумаль.

— Я австриец, Стефан Катигроб, — сказал бродячий гость, — а ты?

Джумаль никогда не слышала про австрийцев. Лишь два раза она видела, как живут люди в оседлых курганчах, и еще не знала, что есть на свете города, книги, война, леса и озера.

Пока Джумаль говорила, ела и смеялась с Катигробом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла.

Джумаль через некоторое время хотела кормить мать и позвала ее, но персиянка не ответила. Тогда Джумаль подошла и попробовала ее; она подняла на ней одежду и увидела грудь, *похожую* на два темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища, — это были остатки молочных сосудов, некогда выкормивших ее, а кожа матери провалилась меж ребер и сердце было незаметно: оно больше не билось. И вся грудь ее была так мала, что только немногое и сухое могло там находиться, — чувствовать что-либо счастливое старухе было уже нечем, ее силы могло хватить лишь для мучения. Такая грудь ничего уж не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но над ней самой можно было склониться и заплакать. Рабыня умерла.

Катигроб стоял в стороне и наблюдал, как дочь ласкает умершее тело своей матери, наполняясь думой и скорбью. Затем, когда Джумаль прошептала в ухо матери свою просьбу на небо о счастливой судьбе, Стефан Катигроб приблизился к умершей, чтобы поднять ее и нести хоронить. От Заррин-Тадж не исходило ни запаха, ни теплоты, — Катигроб обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Он сам зашикал и отвернулся… Где-то

была его родина, шла война, он убежал отовсюду и скрылся надолго, может быть, навсегда, в этой худой пустыне, давно рассыпавшей свои кости в прах и прах истратившей на ветер. Он, венский оптик, видит теперь одни миражи, исчезающие эфемеры света и жизни.

Катигроб опомнился от своей мысли. Перед ним в ожидании стояла Джумаль, выросшая в тоске, в голоде, рабстве, но живая, чистая и терпеливая. Австриец поднял ее к себе на руки и поцеловал в темные, доверчивые глаза.

Ночью Катигроб отнес покойную Заррин-Тадж далеко за пределы такыра и там закопал ее в *песчаную* глубину. Сверху он насыпал холм, но его мог скоро развеять ветер, поэтому австрийский солдат произвел шагомерную съемку местности, привязавшись к постоянной пограничной черте такыра. Он не хотел, чтобы человек, даже мертвый, был забыт. Съемку он записал себе в памятную книжку.

Джумаль уснула на прежнем месте, где умерла ее мать. Катигроб разбудил ее и повел жить в глиняную башню посреди такыра. Он понимал, что туркмены возвратятся туда не скоро — когда окончится одна война в Европе и, может быть, начнется другая, а к тому времени он умрет в

одиночестве.

На другой день Катигроб оставил Джумаль одну в башне с остатками еды из своей сумки, а сам пошел за сто верст на хивинскую караванную дорогу, где был колодец Боркан.

Он прожил там шесть дней; мимо него прошли два каравана купцов, затем проследовали пешком воры и дезертиры, скрывавшиеся к Каспийскому морю. Кому что нужно, тем работал Катигроб, получая в ответ баранину, рис, лук, спички и вино. Он чинил *обувь*, дорожную утварь, смазывал болячки верблюдам и ишакам, показывал фокусы и рассказывал сказки.

На девятый или десятый день он обычно возвращался к Джумаль на такыр с пищей и заработанным добром. Однажды он привел больного ишака, которого бросил караван, и Джумаль вылечила и воспитала его. В другой раз Катигроб принес девушке бусы из ракушек Аральского моря и поцеловал ее в губы. Джумаль не противилась его чувству, но сама была равнодушна и не понимала, за что можно любить человека. Она помнила умершую мать и других женщин своего племени — многие из них, когда умирал муж, смачивали водой яшмаки, чтобы иметь слезную влагу для сухих глаз.

8

Они пробыли вместе шесть лет, и такыр перед глиняной башней лежал по-прежнему без звука, без жизни, — пустой, как судьба Джумаль. Стефан Катигроб по-старому ходил время от времени на караванную дорогу, но караваны пропали, лишь изредка ему удавалось заработать полмешка риса или *тощую* овцу.

В одну серебряную ночь, когда Катигроба не было, Джумаль услышала далекие выстрелы. Она взяла кинжал, спички, немного риса, села на осла и поехала в ту сторону, где кто-то стрелял. Она ехала всю ночь и весь день до вечера, ей никто не встретился, осел устал в глухих горячих песках и остановился. Джумаль сошла с него и потянула за повод вперед, чтобы встретить человека или найти колодец.

Заночевав в неизвестном месте, наутро Джумаль снова повела своего осла вдаль и к вечеру дошла до маленького такыра, около которого был колодезь с блоком и бурдюком. Джумаль достала воды, но вода оказалась густой и зараженной, как гной, — в колодце лежал мертвый человек ногами вверх, и громадные, сальные мухи ползали по саксауловому срубу. Осел, истекавший пеной

жажды, отвернулся от бурдюка; тогда Джумаль отрезала подол от своей одежды и подожгла его, повернув осла таким образом, чтобы дым обдавал его морду и он не чувствовал бы вкуса воды. Осел начал пить и выпил три бурдюка, пока не опился и не умер от гнойной воды. Джумаль, зная, что завтра она тоже умрет, жалела лишь, что будет далеко лежать от матери.

Ночью Джумаль задремала, и дремота ее стала непроходящей, — она забыла, что живет, и делала что попало: то вставала и ходила, то снова ложилась, потом опять бежала, улыбалась и плакала и все время вспоминала что-то все более забываемое, уносящееся от нее в сумрак, пропадающее, как дальний вопль, и протягивала за ним руки.

Ночью ей представлялись тысячи людей, бегущих по такыру, выстрелы и крик. Она хватала кинжал и бежала за ними, пока не падала в слезах своего отчаяния и одиночества.

Однажды она проснулась спокойной. Было прохладно. Луна светила ей в лицо, кругом тихо говорили люди: Атах-баба, Ода-Кара и четверо незнакомых. За такыром, в песках, паслись оседланные лошади, горел маленький костер и котел с водой кипел над огнем.

Джумаль встала. Ей никто не обрадовался и

не удивился, что она еще цела, — наверное, у этих людей были свои неразлучные заботы. Но все же Ода-Кара дал Джумаль кусок чурека, и она разглядела ружья, лежащие около каждого человека. Ее спросили, видела она красных или нет, но Джумаль не знала, что это такое. Атах ей не поверил.

— Это ты отравляешь колодцы! — закричал он.

— Нет, — сказала Джумаль.

— Врешь, шпионка, — не поверил Атах-баба, — поганая грнак! Рабы все красные!

— Дайте мне попить, — попросила Джумаль. — У вас вода в котле паром уходит.

— Завтра напьешься, — сказал Атах-баба. — Эта вода солона для тебя.

Они стали пить чай и выпили всю воду из котла. Джумаль отвернулась от них и от злобы перестала хотеть пить этой воды.

Под утро все уснули, кроме Ода-Кары, который остался сторожить лошадей и оружие. Но, вспомнив, что Джумаль — проданная ему жена, Ода-Кара подполз к ней и лег рядом. Джумаль молча подпустила его, а потом, когда он крепко обнял ее и занял этим свои руки, Джумаль схватила его за бороду и воткнула ему в горло кинжал. Ода-Кара вместо крика только сумел прошептать

последнее слово и умер.

Джумаль свалила с себя мертвеца и приподнялась на локтях. Все пятеро спали, луна садилась в утреннее небо, кругом было просторно и чисто. Она решила, что, если ее мать-рабыня лежит мертвая где-то, пусть погибают в песках и все эти свободные и богатые.

Джумаль встала на ноги, пошла к лошадям и без предосторожности освободила от пут стреноженных степных коней. Одну же лошадь она повела за собой, собрала винтовки у спящих, связала их, чтобы они не расходились концами, и взяла с собою поперек седла. Ударив по лошади, Джумаль поехала долгою рысью в пески, свежая от утреннего времени и вспомнившая себя, точно напившись росы. Свободные лошади, не поенные давно, также бросились за нею и бежали не отставая, думая, что будет вода.

Спустя два или три часа она встретила красноармейский разъезд, который разоружил ее и велел дать сведения про басмаческую шайку Атах-бабы.

9

После того события Джумаль долго не была на такыре с глиняной башней — десять лет. Она

прожила все это время в Ашхабаде и Ташкенте и окончила сельскохозяйственный институт.

Джумаль Таджиева (она носила фамилию по имени матери) справлялась везде про австрийского военнопленного Катигроба, но о нем не было никаких сведений. Джумаль знала, что где-то есть близ Заунгусской впадины небольшой заповедник древних растений и там живет всего лишь один человек с винтовкой и двумя собаками. Там же, вероятно, находилась глиняная башня и большой такыр. Но выехать ей было некогда, и год за годом она откладывала поездку.

Одною истекшей весною Таджиевой поручили определить место для опытного садоводства в глубине Каракумов. Естественно, что садоводство лучше приурочить к такырной земле, чем к золовым минеральным пескам. Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персидское черное платье, покрылась белою тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала одна из Ашхабада. У нее была десятиверстная карта пустыни, и она соображала по ней, где может быть большой такыр. Но вперед она направилась в заповедник древних пустынных растений — она заинтересовалась этим как специалистка и жительница пустыни.

На пятый день скучного пути она неожиданно увидела синий купол башни с золотой змеей и вечный такыр, окружающий ее. Копыта лошади зазвенели по плотным плитам глины, как по мерзлоте; все так же было печально кругом, как будто время не миновало и сама Джумаль осталась юной и угрюмой, не видев городов и рек, не зная в мире ничего, кроме ветра, поющего над ее пустым сердцем.

Был полдень, майское солнце освещало всю песчаную, глинистую, великую и грустную родину Джумаль. Она подъехала к заброшенной башне, построенной когда-то ветхим, погибшим народом. Она сообразила: «Такыр велик, около него есть обильный колодец с пресной водой, я здесь поселюсь, и мы посадим сад, — здесь лежит моя бедная родина».

Джумаль вошла в башню. По-прежнему пусто и *неуютно* было нижнее помещение. На плитах пола лежала гадость каких-то людей и покоилась раздавленная фаланга. В углу находился скелет человека, покрытый остатками одежды, и кости его были вдавлены внутрь от убийства или посмертного надругательства. Джумаль наклонилась к скелету — кости его давно иссохли, свернутый череп глядел в стену, нескольких ре-

бер не хватало, и грудь была смята, точно ударом кувалды. В лохмотьях австрийской куртки она нашла карман, но никаких знакомых ей бумаг и памятной книжки там не оказалось. Лишь на стене у выхода осталась надпись химическим карандашом по-немецки: «Ты придешь ко мне, Джумаль, и мы *увидимся».*

— Я пришла к тебе, и мы встретились! — сказала Джумаль вслух одна в гулкой башне, под спудом ее высоты.

Выйдя из башни, она поехала по такыру кругом, чтобы снять с него глазомерный план для суждения о размерах будущего садоводства. Проехав несколько верст, она увидела в стороне, в песках, изгородь из колючей проволоки и направилась к ней. За изгородью росли редкие травинки, вдалеке стоял домик сторожа, а среди огороженного участка находились три русских креста над чьими-то могилами и один обычный самородный камень, поставленный вертикально. На камне имелась высеченная надпись латинскими буквами: «Старая Джумаль».

Джумаль сошла с лошади и опустилась на колени перед колючей проволокой, закрыв лицо персидским платком, она не знала, что ей нужно сделать иначе. Она вспомнила слова, которые

жалобно говорила про кого-то ее покойная мать: «И что это за плохое горе мое! Тот, кто *ушел*, назад никогда не вернется».

Отняв платок от лица, Джумаль разглядела древнее реликтовое растение — серый стебель, росший около камня матери, — она его узнала по рисунку, названию и еще по детской памяти, но значения его раньше не понимала. Следовательно, она доехала, куда хотела, — здесь и был заповедник растений, исчезающих с земли.

Возвращение

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности,

снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца — по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша —

дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу, и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к

родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение либо, как он сам выражался, простую подручную радость, — и тем выходил из своего уныния.

Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой,

хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином.

Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша… Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже… Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как… Так вы позволите…

— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть… Отошедший от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в

их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова

и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете… Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша! Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было…

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба.

Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он

без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской

одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец!

— Отец… Здравствуй, Петр Алексеевич!

— Здравствуй… Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел… Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали… Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем; у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так

стоял с нею не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами; обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, — кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, тер-

мометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь… Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней…

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать, и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего

все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна…

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят… Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке… Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и

самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому — ишь, во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли… А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает… Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть… К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу… Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите… У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали… Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему

больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша… Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их… Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко…

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни… Видишь — какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю…

— Там видно будет, Люба… Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо…

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить…

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие…

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ей го-

ловку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну…

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст! По старому-то всё получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина… Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар на поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать

радость своего возвращения всем сердцем, — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но по-

добрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел… Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.

— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой…

— Я выросла большая, — сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала…

— Ну, ешь так… Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет…

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой… Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец понедоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка…

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет…

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет…

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету… Ишь положение

какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя. А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами.

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть, — указал всем Пет-

рушка. — А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу, — покорно согласился отец.

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду, — пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать…

— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалей.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — про-

студиться может, — высказался Петрушка. — Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценялся, там есть подходящее…

— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно стало, осень во дворе.

Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты что балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

— А я через очки гляжу, я не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же — я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки, — забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петруш-

ка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и

он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро, — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил…

— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей… Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще… Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила…

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные…

— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон

Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах!»

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — серчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать твоих детей…

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша… Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю… А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Не важно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь… Они спрашивали у него: а почему? А он отвечал им: потому, что ты добрый…

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей! И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться? Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, — поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуй-

ста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил, то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь…

— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня… Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша…

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы, женщины, такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит — все мы такие? Я не такая… Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая,

страшная, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был… И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас… Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка? Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму произнес отец.

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша… Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя…

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети… Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула.

Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно…

— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный…

— Ну черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей… Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.

— Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое, — произнес отец. — Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно…

— Это правда, Алеша…

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла… Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась.

— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь! Где же твоя правда?

— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня… Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка…

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня!

Петрушка услышал, как отец застонал и как

потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — а стекол нету нигде».

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу… Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась.

— Мама! — позвала она. — Можно я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом. Петрушка сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо? — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой?

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие…

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю ты дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина…

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был… Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, а он хлеб режет, никого не

обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают…

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали… Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: чего у тебя один безрукий был, ты дура баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон ее хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в

лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинки на добавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то,

на работу ушла?

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок, — сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так, — сказал Петрушка и задумался. — Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем…

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадывать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно;

значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет

теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и

сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою

к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов;

Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

Одухотворенные люди
Рассказ о небольшом сражении под Севастополем

В дальней уральской деревне пели русские девушки, и одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы шли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему на шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого

бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но, когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его, — это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться, моряк был

убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него», — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легко, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга, и сила погибшего вошла в него. Он с криком ярости, изгоняющим страх и содрогание тела, ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в тесноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомнил — убил он его или нет, — и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному

русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим.

Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженным Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев, и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника красноФлотец Красносельский, видимо уже раненый, однако стерпевший до конца свою муку.

Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых — комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда, и он пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди — Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь; против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного далее нахо-

дилась высота, на которой теперь были немцы. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму. Кроме Севастополя, здесь уже не было советской земли, и здесь нужно теперь стоять, обороняя остаток родины и жизни.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности и в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал. Он миновал шоссейную насыпь; за насыпью лежали в водосточном кювете двое моряков, чего-то выжидая.

— Вы что же? — крикнул им Поликарпов.

— Мы сейчас, — отвечали ему два бойца.

— Чего вы — сейчас? — удивился комиссар. — А ну!.. Ваше подразделение уже достигло противника… Вперед! Марш, марш!

Один боец поднялся.

— Можно нам сказать, товарищ старший батальонный комиссар…

— Скорее! — приказал Поликарпов.

— Мы только за Россию будем драться, товарищ комиссар, за один русский народ, — проговорил боец, — а за другое мы не согласны…

— Не согласны? — спросил комиссар. — За что другое вы не согласны?.. Значит, русский народ должен оставить, бросить другие советские народы на погибель, чтоб их в могилу закопали немцы? Так, что ли? Вы не знаете России! Она умрет сама, но спасет всех... Вы наслушались какого-то изменника или сами изменники!

— Мы не только с этим не согласны, — разговаривал боец. — Мы и с другим не согласны...

— Идите в бой! — приказал Поликарпов.

— Умереть — успеется, — отозвался другой боец, не поднявшийся с земли. — Не за что нам умирать.

— Успеется умереть? — произнес комиссар. — Вы опоздали уже умереть!

Он поднял на них свой револьвер.

— Положите оружие!

Бойцы сделали резкое движение, желая, видимо, вскинуть винтовки на комиссара. Но Поликарпов упредил их в упор огнем из револьвера, сказав им на прощанье:

— Смерть врагам Советского Союза, смерть изменникам России!

Изменники остались мертвыми на земле, и Поликарпов не запомнил их лиц. Он побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга

присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вослед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле. Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью: он вспомнил Нефедова, павшего теперь вечной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек; он тайно от Поликарпова стал однажды донором, и кровь свою менял на спирт, уговорившись с медицинской сестрой. Но его отважное сердце и верность бойца любую его вину обращали в невинность. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный. Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых? — подумал Поликарпов. — Пугливо, безрасчетно бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хоро-

шо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед:

— За мной! Вперед — на злодеев, мать их…

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков: они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя. Поликарпов почувствовал удар ревущего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег вполоборота к своим людям, чтобы видеть — все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и

увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться, — стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную; опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо, — решил Поликарпов, — но нам пора вперед», — и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — И поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но ум его думал по-прежнему просто и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную оскол-

ком мины почти по плечо; эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни оставалось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя и как меч, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростной и удовлетворенной радости своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За Родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными, побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей-окопов противника и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще жи-

вой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одинцову.

— Тут-то что же! — согласился Одинцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре: столько всего.

— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько. Одинцов смотрел наружу.

— Они вон в том блиндаже остались, — сказал Одинцов. — Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогли Красносельскому, и тот пришел в память. Кроме ранения в щеку, у него оказалась рана в грудь навылет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла прочь. Цибулько с уменьем и осторожностью перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку, хотя наружные ранки на теле Красносельского уже вполне подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эваку пойдешь, иль так обойдешься, под огнем отдышишься?

— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрился, обозлел и выздоровел... Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бой входишь, — воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжко, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай! — крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. — А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть; стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский.

Одинцов проговорил:

— Ночью уберем его с поля… Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.

— Это точно! — произнес Цибулько. — Вперед, говорит, за Родину, за вас!.. За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

— Он кровью истек? — спросил Красносельский.

— Точно, — сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым заунывным светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха, чтобы выздороветь окончательно до утреннего боя. Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мысли и воображения. Он слушал

артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне; ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова, и вдовы есть ничего…

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек; там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подыматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала; ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготовляя красивый плат на одеяло…

В полночь в окоп пришли из блиндажа полит-

рук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до погибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле от поругания врагом, от сокрушения беспомощных костей человека огнем и танками. Чем еще можно выразить любовь к мертвому безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю на пункт снабжения, чтобы оттуда поскорее доставили боепитание.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры — четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный

грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы; был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра; она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. — Я тебе говорю: большую нужно, братскую. У меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть… Еще рой, еще, побольше и поглубже, — я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро

работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки.

— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо, — сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь, — опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них открошились.

— Они плохие, таких не бывает, — с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. — Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, — подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска

по погибшему дому отца. — Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!..»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать.

— Комиссар говорил, что мы для него — всё, что мы для него родина. И он тоже родина для нас. Не буду я его в землю закапывать!..

Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.

— Это неудобно, это совестно, — говорил Одинцову Цибулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Данил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернулись там по-детски и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до живой утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желаньем: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защитить добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа. А фашисту легко, ему кажется жизнь смутной, не то есть она, не то она ему снится, поэтому он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Все равно — правда есть, и она написана у нас в

книге, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон, в нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми, и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся человеке, — и этот человек сначала убивает всех живущих, а потом терзает насмерть самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца. Потом воображение, замена человеческого счастья, зародилось в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны: он окончит музыкальную школу при филармонии,

где он учился до войны, и станет музыкантом; он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни. Одинцов посмотрел на товарищей; спят Цибулько и Паршин; спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле, не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах…

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне.

— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец…

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул; он не очень хотел спать, но раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловища; когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать, и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков,

наладчиков, всех, кто воодушевляет боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь, — ответил Цибулько, — это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, — и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устра-

ивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, — эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям недоставало покоя; наконец, Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот — у него стала прибавляться сила, из чего появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей, особенной головой; он чувствовал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! — сказал тогда Цибулько. — Слышишь,

как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия!» Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая воочию разглядеть машины; он имел братское отношение ко всем машинам, которые где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; темные волосы под бескозыркой слиплись от старого дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной, — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, редко и мало пил вино, не предавался озорству молодости, — не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало, и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погребенным в

счастье своей любви: им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем свершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, — он бы должен свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив; одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, и не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды

сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что это он делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил многих своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что было странно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости, которой сопровождал он расточение своей жизни. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание без ущерба для своей души и здоровья; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем истинного человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а нарочно; ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального

брака. Паршин, конечно, радостно согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба; после свадьбы он просидел всю ночь у постели своей нарочитой жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб, и протянул ей руку на прощание. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им, и она задержала руку Паршина в своей руке: «Оставайтесь со мной!» — попросила она. «А надолго?» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревновать в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство существования зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и в зависимости от фантазии он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в Парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал нормальные недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством, и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживания опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, напряженное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь без следа смерти. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

У него была еще мечта — самому, лично, в рукопашную сразиться с последним гадом на свете. Он полагал, что последний гад есть Гитлер, и поскольку Гитлер по военному званию ефрейтор, а Паршин к концу войны тоже успеет дослужиться до звания старшины или ефрейтора, то это будет битва двух мировых ефрейторов. Все дезертиры войны соберутся тогда на то поле последнего сражения, и они будут глядеть на двух бойцов с захватывающим интересом. Так мечтал Паршин, потому что его голова никогда не могла быть пустой и не нуждалась в отдыхе.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от прохлады, но улыбающегося в неизвестном сновидении Паршина.

— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы родина, родное место, где могут рожаться люди…

Фильченко представлял себе родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой; поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки

веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его…

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, — чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел

за его настройку в работу.

Старший батальонный комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар. Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал. — Резервы подойдут позже, — сказал комиссар, — они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар. — Позади нас Севастополь, а впереди — вся наша большая вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские — до последнего человека, а

последний человек — до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал ему нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда есть великое оружие солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощание и уехал, забрав две старые, смененные винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил свое мнение Цибулько. — Целину можно легко поднять, и не уморишься!

— Щей не хватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршин.

— Обойдешься: сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский.

— Ишь ты! — засмеялся Паршин. — Он обо мне заботится... Ну ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из

бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают…

— Поеду вековать на Урал, — сразу согласился Паршин.

После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши — только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.

— Есть — таранить тирана! — крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

— Приготовиться! — приказал политрук. — По местам!

Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полынном поле и на

скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

— Николай, это что? — спросил у Фильченко Цибулько. — Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты…

— Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь, на испуг иль на хитрость рассчитывают, а всерьез они думать не могут…

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.

— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! — сказал Цибулько. — Вдруг они вещество такое изобрели — намазался им и пропал из поля зрения!..

Фильченко резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помирай от страха!

— Да это я так сказал, — произнес Цибулько. — Я подумал — может, тут новая техника какая-нибудь… Техника не виновата: она наука!

— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково, — сказал свое мнение Паршин.

— Без ответа помирать нельзя, — сказал Крас-

носельский. — Не приходится!

— Стоп! Не шуми! — приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе — на ту сторону.

Паршин засмеялся.

— Это овцы! — сказал он. — Это овечье стадо выходит к нам из окруженья…

— Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов.

— Тихо! — приказал политрук. — Внимание! Товарищ Цибулько: пулемет!

— Есть пулемет, товарищ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полын-

ном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса; их что-то беспокоило, и они спешили, семеня худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко — про ту, которая остановилась, и решил действовать:

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу! — откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель, — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул политрук. — Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через

павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с хода из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный, прицельный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы; они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам

дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко. — Вперед! — Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов. Когда овцы поредели, один немец приподнял свою голову с земли, но Красносельский схватил отсеченную овечью голову и одним ударом раздробил две головы — овцы и человека.

Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк, — сказал политрук. — Больше с овцами дрались.

— Какой это бой! — вздохнул Паршин. — Это ничто.

— Кури помалу, — разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били не спешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столько поражая, сколько прощупывая линии советской обороны; и немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:

— Ну что ж. Это их боевая разведка была. Бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

— Пустошь делают впереди себя, — понял Фильченко. — Значит, скоро будут танки.

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпахивались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты запылил у подножья, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной грязью и землей. «Надо уцелеть, — подумал он, — сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

— Вася! — крикнул Фильченко в сторону Ци-

булько. — Пулемет — по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин, — бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую — но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

— Точней огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко.

Цибулько приноровился, нащупал цель пулевой струею, с ощутимостью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся вполоборота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку: черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился живой огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, ощупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссейной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями

разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.

Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту.

— Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход; они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю — и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с хода запустили гра-

наты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться: когда они приподымались, Цибулько их бил точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что: они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали, как кроткие люди, и побежали вослед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда. Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелучил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на

земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса над полынным полем и над шоссейной дорогой низко пронеслись немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю пораненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить: день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После прохода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

— А я пищу доставил! — кротко и тактично произнес кок. — Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук!

— Разрешаю, — значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас, — поклонился кок. — Где прикажете накрыть стол под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!

— Когда же ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснил кок. — Вы же тут поспеваете овец заготовлять, о вас уж половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли — и то люди знают, ну — точно!

— Да откуда ж это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.

— А на фронте ж, как в деревне на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо — так, гляди, и забыли! — сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, уложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе, — а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

— Это ты что за кафе такое на войне устроил? — строго сказал Фильченко.

— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук, — объяснил кок Рубцов, — оно победе не помешает, нисколько — нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память

бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой, — отверг кок такое предположение. — А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь! — сказал Цибулько. — Не бреши!

— Так я брешу, Вася, малость, — сознался кок. — Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо на грудь схватить? — прохрипел Красносельский.

— Ну так, — сказал кок, — пусть орден, пусть будет медаль: я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов. — Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет право на две вещи сразу!

— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста, — пригласил кок, — у вас же во

рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед на врага.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может»; это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок высоко пойдет, — сказал Одинцов, — у него и талант, и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились; Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

— Фу-ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свое свойство — пить после пищи. — Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то…

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко. — Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходившие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно

прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас, — сказал Цибулько, сосчитав машины. — Ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно несерьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я — Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!..»

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей…

— И костями можно биться, — произнес Паршин. — Рванул из скелета — и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи! — говорил Фильченко. — Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно… Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе; они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное

в жизни — на то, что разрушает и что создает ее, — на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогала страх. Тела их наполнились силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, — отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей; если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее: лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг

силою в полбатальона.

Там, на флангах, ожесточился частый, спешащий стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.

На подходе к шоссейной насыпи ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву; он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка; теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссейную насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и

сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтоб из руки вышла боль, но боль не прошла и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтоб она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем, прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, клокочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк на покой.

Цибулько, занятый своим сосредоточенным вниманием, не слышал пулеметной стрельбы из этого танка; однако теперь он почувствовал, что

в теле его поселились мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь поранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь, и пусто и прохладно делается в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били с ходу для ужаса из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горючая жидкость влипла в броню и пошла огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на

человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накоплял добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед — низкий, упорный и мощный.

— Стой, стервец! — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.

Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил ее, и он закрыл глаза, полные живых слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сдувая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал

вослед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворотившись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была прочнее.

На шоссе горели танки, но новые свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бившего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не повреждены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего! — хрипло сказал Паршин. — Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать

и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил так народ, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и снял с себя винтовку.

Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам; он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегающих танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, под-

вязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход побитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже боялся; он боялся, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета, и он умрет, как глупая кроткая тварь, — на потешение врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машин по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже, и только из пушек, правя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов, там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въедающихся вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на

ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно сверзалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову; настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое, жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтоб его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и погибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно

переживет, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в немощи на землю по воле одного его сердца. И от него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, — и приник лицом к земле в последней любви и доверчивости.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин

взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

— Коля умер, — сказал Одинцов. — Нам тоже пора.

Пять свежих танков появились на шоссе и стали замедленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Данил! — тихо произнес Паршин.

— Юра! — ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться

немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно — через полынное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным, противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не могли. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше; одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько; он понимал, что скоро скончается, но пока еще был

живым. Он выполз на бровку шоссе, в стороне от места боя танков со своими товарищами, и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет, и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

Неодушевленный враг

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, — но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима, — во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой,

одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при самой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу.

Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во

тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно, — им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии, — значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека. Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне, — я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти.

Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то

соображал, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

— Вы свой автомат ищете? — спросил я у немца.

— Да, — ответил Вальц. — Где он?

— Не знаю, здесь темно, — сказал я, — и мы засыпаны землею.

Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов. Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению.

Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой, и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов.

Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спро-

сил я у него.

— Для войны с тобою, — сказал мне Вальц. — А где твоя винтовка?

— Фугасом вырвало из рук, — ответил я. — Давай биться врукопашную.

Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки.

Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда

это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня.

Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата, — от его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если б он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней, — и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки, — и поэтому химический мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца. — Зачем лежишь в нашей земле?

— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа, — с отчет-

ливой точностью и скоростью ответил Вальц.

— А мы где будем? — спросил я.

Вальц сейчас же ответил мне.

— Русский народ будет убит, — убежденно сказал он. — А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смирным будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет; а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно; в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха… Это я видел сам не однажды.

— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца.

И он с готовностью сообщил мне:

— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества!

— В чем же будет спасение человечества? —

спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил:

— Это знает один фюрер.

— А ты? — спросил я у лежачего человека.

— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир на тысячу лет.

Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.

Я спросил его еще:

— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Немец ответил:

— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру!

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно — что жить, что не жить, — сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал

убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.

Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище, и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем.

Артиллерийская пальба снаружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки. Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно, — только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец; я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему:

— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

— Я не знаю…

— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори, — нас обоих, может, убьет и завалит здесь, — я хочу знать!

Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли, ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

— Я не знаю, — повторил Вальц. — Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца. — Ты у меня в плену!

— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц. — Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.

— Говори, — приказал я немцу, — говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством фюрера Гитлера! —

с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц; но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром. В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, — на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.

— Это все Гитлер тебя напугал и научил, — сказал я противнику. — А какой же ты сам по себе?

Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.

— Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! — отрапортовал мне Рудольф Вальц.

— А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! — сказал я врагу. — И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

— Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликнул немец.

Я не согласился:

— Стало быть, ты что же, — ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!

— Не человек! — охотно согласился Вальц. — Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот, кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.

Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу. — Мне некогда тут быть с тобой!

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И

втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

— Ты зачем так нахально действуешь! — заявил я врагу. — Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену, — значит, ты не уйдешь, и не царапайся!

— Я обер-лейтенанта боюсь, — прошептал неприятель. — Пусти меня, пусти меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

— А если ты не убьешь русского?

— Убью, — говорит Вальц. — Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

— Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы

ты одной впереди не боялся, — сказал я Рудольфу Вальцу.

— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец. — Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! — вскричал Вальц.

Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

— Где, где ты будешь жить? — спросил я у врага. — Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.

— Долго, — сказал он. — Фюрер знает все, он все сосчитал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

— А если тебе одному она будет? — поставил я вопрос дурному врагу. — Тогда ты как обойдешься?

— Хайль Гитлер! — воскликнул Вальц. — Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям — хоть по сто граммов на один рот.

— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жить, — сказал лежачий немец.

— Дурак ты, идиот и холуй, — сообщил я неприятелю. — Ты и детей своих согласен обречь на голод и смерть ради Гитлера.

— Я вполне согласен, — охотно и четко сказал Рудольф Вальц. — Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.

— Ты совсем дурной, — сказал я немцу. — Неужели целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

— Да, — сказал Вальц, — он будет кружиться, потому что он будет бояться.

— Тебя, что ль? — спросил я врага.

— Меня, — уверенно ответил Вальц.

— Не будет он тебя бояться, — сказал я противнику. — Отчего ты такой мерзкий?

— Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А так как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне, — говорил мне Вальц. — Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая

мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен, и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу… Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты все равно никогда домой не вернешься…

Я молчал; потом я ответил:

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц. — Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь!

— Не будет нам смерти! — сказал я врагу, и с беспамятством ненависти, возродившей мощность моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках.

Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты

молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, — у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

Афродита

«Жива ли была его Афродита?» — с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты, — но к природе, к небу, к звездам и горизонту и к мертвым предметам. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу, — жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть об-

щее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра, и он хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую, тайную весть о судьбе своей жены Афродиты — о жизни ее или смерти.

Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смышленая, уживчивая и не должна потеряться без следа или умереть от голодной нужды среди своего же народа. Допустимо, конечно, несчастие на дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека, и Афродита должна быть живой на свете.

Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе однажды пережитое с неподвижностью вечного остановленного счастья… Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В по-

луденный час Фомин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон, Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой и так называемую «летучку», то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли емкости пустою пеной; в этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него; пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикою силой растущими черными

волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство его не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а другой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил как муж с женою двадцать лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их; а теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе у растений и у всех добрых тварей земли, и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека; он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год

находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фомин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных — с тем, чтобы эти письма были вручены адресату по нахождении его. За войну уже много таких писем, наверно, скопилось в справочном бюро — иные из них будут вручены, иные никогда, и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу с ней, но еще ни разу он не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников…

Теперь давно миновали те счастливые мирные годы. И они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему; после же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже испытал, будучи тружеником и воином.

Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды.

Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и срытые ударами огня поселения людей; это была пахота войны, где посевалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней, — трупы злодеев, и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти, — плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля.

Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были

рассечены очередями пуль и беспомощно повисли книзу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены немцами прочь, как материал для постройки обороны.

Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стушуется в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное большое любимое тело Афродиты, и его снедают трупные твари, оно истаивает в воде и воздухе, и его сушит и уносит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт.

Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу, поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент, искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской оби-

тели на опаленной земле. Тополь во дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, с истлевшей корой.

Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Онемевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы.

Фомин пошел в степь; там в двух верстах от города он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное; незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу и, равнодушные к человеку, покорно колебались под ветром… Зеленая плотина была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли.

Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья, она стояла раньше под окнами его квартиры; он сидел по вечерам на этой скамье, сначала один, а позже с Афродитой, и в этом, ныне погибшем доме они жили тогда вдвоем в одной комнате с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове, а мать вышла вторично замуж и уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким, но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешенных вечных тайн, мир, еще не устроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих-большевиков, — этот мир ожидал юношу, и знакомая родная земля, оголодалая, оголенная бедствиями Первой мировой войны, лежала перед ним.

Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир, и лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала,

чтобы продолжать задуманное еще четверть века тому назад.

Наверное, совсем иначе направилась бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни.

Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь — в то историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоин-

ство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами… Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу — и одинокое парусное рыбачье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светло-золотым небом; судно все более удалялось, белый парус его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и земли, а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представлялась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль мира и времени. Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травою; солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари — они были все разноцветные, каждый — иной и не похожий ни на кого: кто как мог, тот так сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем

снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека; он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества, и посредством героической работы, силою правильного понимания своего смысла на земле — рабочий народ исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал, он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами, но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце, — не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом.

Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики, были одушевлены тою же идеей создания нового мира, они, так же как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества, — ради того, чтобы началось наконец на земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надеж-

ды людей, чего они заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении…

По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил — сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды; но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное, и он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа.

Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе; это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце — не как службу, но как смысл своего существования, и он смотрел страстными глазами на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие; он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где

жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее — действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь крестьянские жилища от пожаров. Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через три года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо, а в последующие три-четыре года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле, — черепица была тогда его чувством и переживанием, она заменяла ему книгу и друга-человека; позже он понял, что никакой предмет не может заместить ему человека, но в молодости ему хватало одного воображения человека.

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы; бывает время, когда только воспоминание о

прошлом утешает живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа, и вначале, как многие его сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться: так верил тогда молодой человек Фомин.

И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей; он смирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно, расточить свою жизнь, и он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца, — тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем стало состоять его наслаждение, не яростное и измождающее, но кроткое, как тихое добро.

Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотоле в убогом виде, в разроз-

ненности и без общего ясного смысла.

В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий; затем его обязанности увеличились, и вскоре он был избран заместителем председателя поселкового совета, а по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром.

Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл колодцы в поселках с креплением из бетонных колец и замащивал дороги по всей округе из местной породы камня, чтоб всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу.

Но он уже тогда думал о более существенном, и даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастьем. Два года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в слободе электрической станции, с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость — район, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в

облегчение его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен измениться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, измождающего его до костей и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия…

Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поверженного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего.

Он построил тогда электрическую станцию. В клубе волполитпросвета был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электроустановки, и Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из трех баянов, и она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось.

Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало; потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ

вложил в постройку станции и электрической сети свой труд и свои сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда тридцать четыре крестьянских товарищества по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Ремейко; родители оставили ей небольшое девическое приданое, она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Ремейко, если еще жива на свете, то она уже пожилая женщина, а была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей, работавших с ним тогда, — крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием, изо всего своего уменья строили новый мир на земле. Их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной, благодатной работе; их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты.

Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители — крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях, настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них, и единолично дворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную, но надо было найти посильные и доступные для всех пути для того. Старый крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же:

«Иль мы не чувствуем, Назар Иванович, что советская власть нам рыск жизни дает: действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо, ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была: у матери в утробе лежишь — себя не помнишь, наружу вышел — гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в каземате, и света не видать, а помер — лежи смирно в гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было

тесное место, Назар Иванович, — утроба, каземат да могила — и одно беспамятство; и ведь каждый всем мешал! А теперь каждый всем в помощь — вот она где советская власть и кооперация!»

Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще; хотя — едва ли, уже много прошло времени…

Электрическая станция работала недолго; через семь дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за сорок верст от слободы; он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили туда о пожаре с верховым нарочным, и Фомин сразу поехал обратно.

На окраине слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сотлело в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин — вертикального двигателя и генератора. От жара из тела двигателя вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте, как потоки слез, подшипники и арматура; у генератора расплавились и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь.

Назар Фомин стоял тогда возле своих умерших

машин, глядевших на него слепыми отверстиями своих выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы, — надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как мала еще, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира, и как ее надо беречь.

Для Назара Фомина наступило печальное время; следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог

сразу понять Фомин — каким образом то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства. Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и его слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом — можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать еще вначале построенное не им.

Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда

вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением; вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отдалилась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым.

Крестьяне, строители и пайщики электростанции, сделали собрание. На собрании они выслушали слова Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию; в год или полтора можно сызнова все сработать своими руками, сказала Ремейко, а может быть, и гораздо скорее. «Что ты, девка, — ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто, — одно приданое в огне прожила, другое суешь туда же: так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках!»

Обсудив дело, сколько выдаст Госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство ссудой, сколько остается добавить из нажитого трудом, пайщики положили себе общей заботой построить станцию первоначально во второй

раз. «Электричество потухло, — сказал кустарь по бочарному делу Евтухов, — а мы и впредь будем жить неугасимо! А тебе, Назар Иванович, мы все в целости мерикандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу как оно было!» Евтухов любил и великие и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле; он и жил категорически и революционно и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминании Фомина.

И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти два года. За это время Афродита оставила Назара Фомина; она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афро-

диты он почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее ее верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил ее постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее, как прежде; он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание: пусть обстоятельства отняли у него жену и она физически удалилась от него, но ведь не обязательно близко владеть человеком и радоваться лишь возле него, — достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца; это, правда, труднее и мучительней, чем близкое, удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем как собственностью?.. Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная

мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий, он видел их несоответствие, но они равно жестоко разрушали его жизнь, и противостоял им один и тот же человек.

Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой, — ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно, и даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая доброе, обращает его целиком на свою потребность, и от доброго ничего не остается другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим.

После пожара, после утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин

неожиданно почувствовал свободную радость, не зависимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, встающее на жизненном пути; и тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди.

Но он тогда, вместе со своим поколением, находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа; и все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного

себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение, или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть своей печали от своих несчастий, и если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился. «Успокойся, — с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ, — ты успокойся! Чего ты ожидал другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире… Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций… Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подымемся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами, — что тебе все тепло от одной домашней печки да от жены, что ль! Ты сам умный — ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь, другое время теперь наступило!»

Фомин в первый раз услышал тогда слово «гвардия»... Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго мужа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не знать ни долга, ни обязанностей. Назар Фомин молча выслушал Афродиту; ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем — подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, бьющегося навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он, после двух с лишним лет разлуки, поцеловал у Афродиты руку, протянутую к нему.

Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или в унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и жестко вперед — в судьбу героев. И та же рука, что вела его жестко вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца.

— До свидания, Афродита! — вслух сказал На-

зар Фомин.

Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе, до сих пор еще таились следы ее ног в земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев, — здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала, и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела, — ведь в мире нет бесследного уничтожения.

— До свидания, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..

Фомин встал со скамьи, поглядел на город, низко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окончания своего существования. Втайне же

он имел в себе гордость солдата, который может исполнить любой труд и подвиг человека; и Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду…

Полк Фомина был расположен в лесу. Красноармейцы, устроившись на укромной земле, хозяйничали в своих вещевых мешках, наводя там порядок на досуге; мешок для бойца служит как бы домом и двором его, там хранятся все драгоценности солдата: и письма от родных, и пучок волос с головы дочери-ребенка, там же лежит запасная портянка, иголка, нитки, пустая жестянка — на то, если придется положить в нее что-нибудь, и прочее добро для всякой житейской надобности.

«Мои люди, — с отцовским удовлетворением подумал полковник Фомин, — русские солдаты».

Уже смеркалось на ночь. Фомин зашел в шалаш из лиственных ветвей, где жил его начальник штаба майор Лебеда. Майора не оказалось в его жилище; полковник в ожидании сел на пустой ящик, закурил и заслушался, что говорили его люди снаружи. Фомин узнал по голосу младшего сержанта Векличева. Он читал сейчас вслух письмо. Получая очередное письмо от невесты,

Векличев имел обыкновение читать его вслух в своем отделении и обсуждать публично. Он имел свойство гордиться своей любовью, но еще более он гордился тем, что есть один человек на свете, для которого он дороже и лучше всех на земле, и тот человек не переживет его смерти. Бойцы из отделения, где служил Векличев, уже привыкли к такому порядку и по получении почты сами просили Векличева прочитать им письмо вслух, садясь возле него ремонтировать что-либо из своей одежды и обуви, чтобы использовать время с двойной пользой. Векличев обычно охотно читал и предавался обсуждению письма. «За что ж такое она тебя любит так, Иван Акимович, скажи пожалуйста?» — каждый раз спрашивали его товарищи. — «Так зря ж любви не бывает, — объяснял обыкновенно Векличев. — Сердце у Клавдии Захарьевны чувствует меня правильно, понятно вам?»

Фомин все это уже знал и теперь он слушал очередное письмо Клавдии Захарьевны. — «Любимый хорьосенький мильосенький мой Иван Акимыч, — медленно, почти по буквам, читал Векличев. — Здравствуй от твоей дорогой Клавдии Захарьевны Пустоваловой из Завьяловского сельсовета колхоза Рассвет. Если бы кабы я мог-

ла бы увидеть бы тебя бы хоть на тую малую бы минуточку тогда бы я бы стала жить бы по нормальности счастливой бы жизнью, а то я временно несчастная».

— Чего она всегда тебе одинаково пишет, — упрекнул Векличева ефрейтор Ивченко. — Заладит одно: если бы да кабы, она бы да могла бы… Чего она у тебя такая некультурная?

— Если бы она бы семилетку полностью бы кончила, — кротко отвечал Векличев. — А то она ее не кончила, ей не пришлось… А мне что! Я ее уважаю не за высшее образование, я ее даром люблю. Это вам не химера!

— Правильно, Иван Акимыч, — согласно говорили другие голоса. — Это верно: душа не в букве. Пускай она тебе опять пишет — если бы да кабы мильосенький да хорьосенький, а мы и далее слушать будем!

Фомин понимал, что его бойцы и потешаются немного над Векличевым, и тут же уважают его за верность любви к невесте.

Был еще в полку боец Салтанов, родом татарин, — тот особо уважал Векличева. Салтанов сам любил одну женщину, свою жену Сарвар, и постоянно вспоминал о ней, надеясь на будущее неразлучное счастье с ней после войны, которое

будет длиться долго, до самой смерти. Жена писала Салтанову, что она имеет на него полное право, а немцы не имеют на него никакого права, поэтому Салтанов обязан убивать врагов, сам же после победы должен полностью и в целости возратиться домой к супруге. «Вот тоже офицерто! — с улыбкой подумал Фомин о Сарвар. — Ведь правильно соображает… Как мы все похожи, и люди мои на меня, и я на них. У меня Афродита, у них тоже свои Афродиты есть, и это тоже должно служить войне и помогать в бою… И наши временно несчастные Афродиты помогают нам, они являются для нас как бы старшими офицерами».

Фомин снова, как бывало у него в юности, почувствовал жизнь как просветление. Тайна родины была ясна ему; она открывается в локоне волос с головы дочери-ребенка, что хранит красноармеец у себя в вещевом мешке и носит за плечами тысячи верст, она в дружбе к товарищу, которого нельзя оставить в битве одного, она в печали по жене; вся тайна родины заключается в верности, оживляющей душу человека, в сердце солдата, проросшем своими корнями в глубину могил отцов и повторившемся в дыхании ребенка, в родственной связанности его на смерть с плотью и осмысленной судьбою своего народа.

Пришедший майор Лебеда принес приказ о выступлении; Фомину приказано было войти на усиление в стык двух уже дерущихся полков и с хода безостановочно сбивать противника и преследовать его на уничтожение.

Фомин испытал много боев, но каждый раз вся натура его трогалась тревожной радостью, когда он получал новое боевое задание. В этой войне, в сражениях за весь смысл жизни, принятый в сердце с юности, в битвах за Ленина и оборону человечества, ради продолжения его свободной героической судьбы, Назар Фомин чувствовал каждый бой с немцами как действие вечной истины, как торжество своего личного существования.

— В бой пойдем, майор! — сказал полковник начальнику штаба. — Ты был сегодня в батальоне Кузьмина? Там одна рота в прошлый раз, помнишь, — в операции у Пустого Озера, плохо шла и понесла потери; так не воюют — что это за смертники у нас.

— Я помню, — сказал Лебеда, — я это помню, товарищ полковник. Там новое пополнение есть — люди еще в огонь не вжились.

— В огонь не вжились. Так что они — в гибель хотят вживаться?

Позже Фомин ушел в подразделения полка. Фомин всегда создавал свои подразделения, как инженер строит сооружения: он начинал с опор и с главных узлов. Для того он с прилежным вниманием находил людей, в которых видел признаки воинского опыта и таланта, и тогда вокруг этих людей он начинал строить первичные формирования; ни одно отделение во взводе Фомин не оставлял без такого, хотя бы одного, наиболее разумного бойца, способного вдохновить своим безмолвным мужеством остальных и тем прочно связать вкруг себя все отделение.

Фомин знал по своему чувству и по наблюдению на других людях, что переживает человек на поле боя под огнем. Неумелый, неопытный и душевно не сложенный солдат больше борется со страхом, чем с неприятелем, инстинктивно заботясь о своей одинокой жизни, и оттого он может погибнуть. Высший же воин есть тот, который живет в бою не собою, но противником, вниманием к нему и уничтожением его, и этот воин переживет неприятеля.

Фомин посетил все свои батальоны, осматривая людей с бережливым вниманием и проверяя на месте боевое хозяйство полка. Полковник любил ходить один, без сопровождающих; при

надобности он зажигал карманный фонарь, обыкновенно же обходился без него, привыкнув глядеть в ночном сумраке. Под конец он зашел в землянку, оставшуюся от немцев. Там спали на нарах девять бойцов; дневальный, сидевший за столом у фонаря, вытянулся перед командиром, но полковник велел ему никого не будить и не беспокоиться. Фомин взял со стола фонарь и осветил лица спящих красноармейцев. Тут уже спал Векличев и рядом с ним лежал в глубоком сне Ахрем Абатуро, старослужащий красноармеец, сорока лет от роду. Абатуро с начала войны служил в полку, которым ныне командовал Фомин; по происхождению он был белорусский крестьянин, но еще в 1939 году оставил свой двор и пошел добровольцем в армию, когда началась финская кампания, и с тех пор он непрерывно трудится в боях и походах.

Полковник Фомин считал Ахрема Абатуро великим солдатом и сам пользовался его умением воевать, чтобы учить на жизни Абатуро других бойцов.

Фомин сейчас долго смотрел в лицо спящего красноармейца. Он еще не мог вполне понять всей тайной прелести этого грубого солдатского лица со шрамом от ранения на правой щеке. Что

было прекрасного в душе Абатуро? Отчего его внешние черты словно освещались внутренней спокойной радостью, существующей в глубине его сердца, и делались оттого одухотворенными и добрыми? Может быть, лишь потому, что этот воин честно исполняет свое жизненное назначение и оттого дух его непрерывно питается счастливым довольством…

— Отдыхайте, — сказал на прощанье Фомин всем своим спящим солдатам, — завтра с утра будем работать в огне…

Полк выступил еще затемно и утром один его батальон уже находился в сражении. Противник контратаковал нас, направив удар в тот стык, который был замкнут полком Фомина. Немцы думали о нас неподвижно: они всегда считали, что в местах смыкания частей фронт обязательно бывает слабее.

Контратака немцев затормозила решение главной задачи, поставленной Фомину: выбить противника из глубины его укрепленной обороны и затем преследовать остатки его живой силы на уничтожение, посадив подразделения пехоты на броню наших танков.

Фомину лишь к полудню удалось подойти к последней полосе немецких дзотов; старший

начальник приказал Фомину штурмовать эти дзоты, сколько их еще осталось после нашего артиллерийского огня.

Погода стала к тому времени вовсе плохая. Осенние облака, гонимые сырым ветром, влеклись почти по земле, и одиноко летели редкие листья с подорожных кустарников. Фомин стоял на своем наблюдательном пункте — в старой траншее на водоразделе, немцы находились на противоположном водоразделе и по пологому скату его, обращенному в нашу сторону, были расположены их дзоты и огневые точки; иные из них уже смешали в прах наши пушки, иные же еще жили и били частым огнем из тяжелых пулеметов по цепям нашей пехоты. Красноармейцы, накрываемые огнем, перебегали вперед лишь только после долгих пауз и лишь в точности рассмотрев ближнюю местность перед собой, чтобы найти в ней очередное укрытие; приникая к земле, они отдыхали, и земля защищала их.

Фомин считал сейчас про себя каждую секунду боя. Много раз пережитое и однако всякий раз новое чувство владело им: все, что происходило вне его — огонь, ветер, движение наших бойцов, — все значительное и ничтожное в этом мире, — теперь словно происходило внутри него

и поэтому глубоко, вещественно переживалось им; это всеобщее чувство происходящего, переживания всего и за всех в одном своем теле и сознании, питало его мысль и делало ее чуткой, быстрой и истинной; но это состояние непрерывного непосредственного ощущения всей видимой действительности измождало Назара Фомина, и сердце его работало мучительно, будто в кровавом поту.

Фомин ясно видел ход боя, но он сейчас более всего хотел увидеть и понять невидимое; именно — когда бой еще продолжается, может быть даже более шумно и внешне более ожесточенно, чем до того, но когда уже исход его решен. Фомин искал этого признака перелома сражения в нашу пользу; если же этого перелома не случится в ближайшие минуты, тогда Фомин будет обязан пустить в дело дополнительные силы, чтобы немедленно сломить противника.

Теперь у немцев работали четыре дзота; особенно же вреден был один дзот, бивший и по нашей пехоте, и по единственной дороге, идущей из нашего тыла.

Фомин знал, что параллельно видимому бою и одновременно с ним происходит невидимое соревнование духа двух борющихся противников.

И обычно бывает, что сторона, ослабевающая в этом соревновании, дает дрожание, являет признак гибели еще прежде окончания сражения. Дело военачальников уловить вовремя этот признак и использовать его для ускорения поражения противника. Но еще большее дело военачальника и дело всей родины — воспитать в солдатах великое неистощимое под огнем воодушевление. Этого нельзя создать искусственно, потому что народ питает свою душу из естественного источника своей истории и жизненной истины, открытой Лениным и Сталиным.

Бой происходил далее, но он еще не решался к своему окончанию, и немцы могли еще отбить цепи нашей пехоты.

Фомин наблюдал в стереотрубу осеннее поле в огнях стрельбы и решил пустить в дело еще одну роту, направив ее далеко с фланга. Правда, этого ему не хотелось делать; он желал сбить противника более экономно. Кроме того, там на фланге у немцев есть лес, — по ночным данным разведки в лесу было пусто, но с тех пор немцы могли в том лесу и приготовить что-либо, чтобы встретить нас.

Фомин решил выждать еще с полминуты. Он оставил стереотрубу, настроил бинокль и посмот-

рел через отсыпь траншеи. Он явственно увидел, что пятеро наших бойцов вдруг резко поднялись с земли, находясь уже вблизи от того дзота, что бил по полю и по дороге, и снова залегли обратно к земле. Трое из них двигались вольно, но двое словно пытались поднять с земли что-то тяжелое, похожее на тело человека; возможно, что они хотели унести раненого товарища, но зачем они тогда сделали несколько шагов в сторону немецкого дзота.

Фомин, еще не поняв этого действия, сообразил, что красноармейцы все же совершенно правильно думают, собираясь прежде всего блокировать главный дзот.

В следующий момент Фомин сначала услышал, а затем уяснил себе обстановку у того дзота. Он услышал чавкающий умолкающий звук очереди тяжелого немецкого пулемета и увидел тело в немецкой шинели, беспомощно шевелящееся от ударов пуль на огневой амбразуре дзота, чуть приподнятой на поверхности почвы. Теперь дзот вовсе онемел, а наши пехотинцы уже, видимо, освоили его за те секунды, когда был заглушён огонь живого врага посредством трупа врага.

Фомин понял это и нечаянно вскрикнул что-то в радости, не сумев ее сохранить в одном себе. К

нему подошел майор Лебеда.

— Ты видел? — спросил Фомин.

— Да, — сказал майор.

— Узнай, кто это сделал.

«Ах, Афродита, если бы ты могла видеть то же самое, ты была бы счастливой, что живешь на свете в нашем народе», — подумал Фомин.

Он понял точно, что произошло. Двое наших красноармейцев завалили немецким трупом огневое сечение дзота, а другие бойцы ворвались в тот момент в самый дзот.

И сразу стало тихо на поле боя; те немцы, что еще существовали, прекратили огонь, увидев происшедшее и ослабев духом насмерть. Мысль и мощное мужество красноармейца пресекло сражение наиболее экономно для победителя.

Майор Лебеда вскоре доложил полковнику Фомину, что дело у дзота совершено Ахремом Абатуро и Иваном Векличевым; причем Абатуро легко ранен в мякоть левой руки, шестой раз в жизни, а Векличев ранен в ногу.

Вечером того же дня Фомин, выбрав время, вызвал к себе Абатуро и поцеловал его. Векличев же находился в тот час в санбате на перевязке и не мог явиться.

— Немец тяжелый был, товарищ полковник, —

сообщил Абатуро обстоятельства дела, — мы его с Иваном метров пятьдесят до дзота по земле кантовали, оттого и затяжка вышла, а то бы мы давно их огонь завалили.

— А как твоя рука, Ахрем? — спросил Фомин.

— Кость здорова, товарищ полковник.

— Может, отдохнуть хочешь?

— Теперь уже ни к чему, товарищ полковник, с немцами надо отработаться.

— Смотри, Ахрем... Живи, Ахрем, до самой нашей последней победы.

— Спасибо вам, товарищ полковник, — сказал Абатуро. — Я теперь обязательно буду жить. Теперь почему не жить? Когда при деле живешь и справляешь его, то жить обязательно будешь... Солдат, товарищ полковник, пропадает тоже не от одного неприятеля, а то же самое по своей неисправности.

Через несколько дней Фомин написал большое письмо своей жене, о которой по-прежнему не было сведений, но он верил теперь еще более, чем прежде, что все сбудется как быть должно и он снова увидит свою Афродиту.